АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1980

СОДЕРЖАНИЕ

Климов Г. А. (Москва). К типологической реконструкции 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Домашнев А. И. (Ленинград). Западногерманские «языковые барьеры» 13
Маковский М. М. (Москва). Непрерывность и прерывность в развитии языка 25
Кононенко В. И. (Киев). К сопоставительному исследованию синтаксиса восточнославянских языков 39
Асфандияров И. У. (Ташкент). К вопросу об общих методах исследования двух разносистемных контактирующих языков 49
Максимов В. И. (Ленинград). Еще раз о грамматической теории и практике обучения языку 59

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Магометов А. А. (Тбилиси). К эволюции классной системы в дагестанских языках 70
Мурьянов М. Ф. (Москва). Семантическая эволюция словосочетания *насущный хлеб* 76
Костюченко Ю. П. (Ленинград). Замечания о «синкретизме» и значениях дательного падежа в индоевропейских языках 83
Гринбаум Н. С. (Ленинград). Древнегреческий литературный язык. Аттический период (VI—IV вв. до н. э.). 96
Вейлерт А. А. (Владимир). Измерение степени соответствия систем гласных немецкого литературного стандарта и островного диалекта 102
Панфилов В. С. (Ленинград). Актуальное членение предложений во вьетнамском языке 114

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Хушенова С. В. (Душанбе). Современное состояние и задачи изучения таджикской фразеологии 125

Рецензии

Кондрашов Н. А. (Москва). *J. Petr.* Klasikové marxismu-leninismu o jazyce 135
Исаев М. И. (Москва). *К. Х. Ханазаров.* Решение национально-языковой проблемы в СССР 138
Трубачев О. Н. (Москва). *В. П. Нерознак.* Палеобалканские языки . . 140
Дзендзелевский И. А. (Ужгород). *М. Г. Булахов.* Восточнославянские языковеды 145
Смолицкая Г. П., Хитрова В. И. (Москва). «Памятники русской письменности XV — XVI вв. Рязанский край» 152
Торсуева И. Г. (Москва). *Т. М. Николаева.* Фразовая интонация славянских языков. 154

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Аванесов Р. И. (Москва). Письмо в редакцию 158

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1980 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

КЛИМОВ Г. А.

К ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

В отличие от аналогичной проблемы генетического (сравнительно-исторического) языкознания вопросы экстраполяции в типологии по сей день, как известно, остаются на периферии интересов лингвистики. Не приходится поэтому считать парадоксальным то обстоятельство, что хотя более или менее эксплицитная постановка этой проблемы должна быть отнесена по крайней мере к первой трети текущего столетия, в подавляющем большинстве случаев до настоящего времени типологи продолжают довольствоваться методами восстановления ad hoc. В практике лингвистических исследований, по-видимому, не всегда даже присутствует отчетливое осознание различия между типологической и генетической реконструкцией. Нельзя, наконец, не упомянуть и такого представления о типологической реконструкции, согласно которому исследование приходит к установлению некоторой уже по существу внеязыковой абстракции [1].

Конечно, существуют все основания говорить на определенном уровне обобщения о единой лингвистической реконструкции, поскольку в конечном счете любой архетип строится с учетом всех сторон некоторых языковых данных. Однако, насколько правомерно говорить о сравнительно-исторической реконструкции, имея в виду генетический аспект изучаемого явления, в такой же степени правомерно говорить и о типологической реконструкции, имея в виду типологический аспект рассмотрения того же явления. Должно быть очевидным, что, насколько первая необходима для построения материальной стороны архетипа, настолько вторая необходима для выявления его функционального содержания (так, если сравнительно-историческая реконструкция приводит к протоиндоевропейскому падежному экспоненту *-s//Ø*, то его адекватная функциональная характеристика, предполагающая выбор между значениями именительного, эргативного и активного падежей, невозможна вне рассуждений типологического порядка). Тем более правомерно говорить о типологической реконструкции, учитывая ее возможную отдачу глоттогоническим построениям.

Не будет преувеличением сказать, что чаще всего соображения типологического порядка выступают в ходе реконструкции фактически лишь в роли некоторого вспомогательного средства в рамках компаративистического в своей основе исследования (ср., например, ныне уже достаточно прочно зарекомендовавший себя прием верификации сравнительно-исторической реконструкции посредством сопоставления полученного архетипа с реализуемыми в языковой действительности типологическими закономерностями [2]). И если обратиться к факторам, тормозившим в течение продолжительного времени разработку самой методики типологической экс-

[1] Ср.: H. Seiler, Das Universalien-Konzept, «Linguistic workshop», I, München, 1973.

[2] Ср.: R. Jakobson, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics, в кн.: R. Jakobson, Selected writings, I, 's-Gravenhage, 1962; O. Szemerényi, The new look of Indo-European. Reconstruction and typology, «Phonetica», 17, 2, 1967.

траполяции, то в первую очередь здесь придется назвать широко распространенное еще в совсем недавнем прошлом отождествление типологического подхода к языку с его любым структурным рассмотрением (в частности, контрастивным, характерологическим, универсалогическим и т. п.). Поэтому естественно, что лишь с утверждением типологии как вполне самостоятельной лингвистической дисциплины и, в частности, с признанием в правах ее диахронической разновидности, со всей настоятельностью встают задачи совершенствования ее собственных «алгоритмов» реконструкции.

Нельзя сказать, чтобы необходимость внимания к проблеме типологической реконструкции не ощущалась в современном языкознании. Так, например, Х. Бирнбаум подчеркивает, что «...лингвистическая реконструкция не просто одна из центральных задач генетического языкознания, но и что, в более широком смысле, это также предмет, с которым приходится иметь дело и с точки зрения языковой типологии» [3]. Последнее тем более очевидно на фоне того немаловажного обстоятельства, что в теоретической лингвистике уже сформулирована и проблема диахронического коррелята типологической реконструкции — предсказуемости типологических преобразований [4]. Не приходится недооценивать важности разработки соответствующих процедур хотя бы уже в силу того, что гипотетическое воссоздание структурных состояний, пройденных некогда современными языками, способно сыграть определенную роль в освещении проблем глоттогонического цикла, что обусловливается большой временно́й глубиной достижимых в рамках типологического исследования архетипов.

Между тем, методика типологической реконструкции по существу еще не служила объектом специального рассмотрения. Как известно, обсуждение вопросов лингвистической реконструкции до последнего времени стихийно связывалось исключительно с кругом методических проблем генетической (сравнительно-исторического) языкознания [5]. Даже в самых недавних публикациях по типологии эта методика всецело остается за пределами исследования.

Такое положение имеет, конечно, известные объективные основания. Одно из них можно, по-видимому, усмотреть в односторонней ограниченности опоры реконструкционной процедуры в типологии на языковую материю. В этой связи достаточно напомнить, что если генетическая реконструкция одновременно опирается как на фонетическую, так и на семантическую данность лингвистических фактов, то типологическая, как правило, может базироваться раздельно либо только на первой (при построении архетипов фонологического уровня), либо только на второй (при построении архетипов содержательных уровней).

Естественным следствием несовершенства применявшейся в целом ряде исследований методики оказывается неубедительность большинства историко-типологических построений прошлого. Так, в отдельных случаях бросается в глаза отсутствие сколько-нибудь определенной исторической перспективы предпринимаемой реконструкции. Например, такие типоло-

[3] H. Birnbaum, Linguistic reconstruction: its potentials and limitations in new perspective, «Journ. of Indo-European studies», 2, 1976, стр. 20.

[4] См.: H. Birnbaum, On reconstruction and prediction. Two correlates of diachrony in genetic and typological linguistics, «Folia linguistica», II, 1—2, 1969; ср. также: G. Altmann, W. Lehfeldt, Allgemeine Sprachtypologie. Prinzipien und Meßverfahren, München, 1973, стр. 54—55.

[5] Ср., например: H. M. Hoenigswald, Language change and linguistic reconstruction, Chicago—London, 1965; J. Lyons, Introduction to theoretical linguistics, Cambridge, 1971, стр. 31—33; G. Jucquois, La reconstruction linguistique. Application à l'Indo-européen, Louvain, 1976.

гически разнородные черты, как многоклассное разбиение субстантивов, противопоставление глаголов действия и состояния, несформированность залоговых оппозиций в транзитивном глаголе, неразвитость глагольной морфологической категории времени, функционирование именных форм двойственного и тройственного чисел и т. п., в истории множества языков признаются архаическими явлениями безотносительно к разделяющему эти языки подчас весьма значительному типологическому расстоянию. В ряде других случаев налицо более или менее очевидная тенденция к выведению исторически засвидетельствованного языкового состояния непосредственно из некоторого аморфного (как оно представлено в некоторых языковых семьях Западной Африки) или даже так называемого доглагольного [6]. Если учесть, однако, что это состояние, как правило, оказывается развитым эргативным или номинативным, то станет очевидным, что тем самым игнорировалась ожидаемая последовательность этапов формирования грамматического строя языка. Наконец, даже в тех исследованиях, авторы которых стремились к соблюдению историко-лингвистической перспективы, неразработанность методики типологической реконструкции не позволяла добиться подлинного успеха. Кажется весьма показательным, например, что из общего набора языковых типов, постулировавшихся в рамках контенсивно-типологической классификации советскими языковедами 30—40-х годов, в обиход современной науки вошли лишь номинативный и эргативный, представленные на лингвистической карте мира живыми языками, и, наоборот, не выдержали испытания временем в той или иной степени реконструировавшиеся инкорпорирующий, посессивный и др.

К чему сводилась во многом интуитивная в прошлом методика типологической реконструкции? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо заметить, что во многих случаях типология вообще избегала сколько-нибудь самостоятельной процедуры реконструкции и по существу непосредственно обращалась к тем архетипам, которые предоставлялись в ее распоряжение сравнительно-историческими исследованиями в готовом виде. Некоторой предельной разновидностью такого подхода пользовался в свое время еще Ж. ван Гиннекен, когда посредством сопоставления показаний сравнительных грамматик различных языковых семей он пытался не только восстановить так называемые доисторические структурные типы языка, но и вскрыть глубоко сходные, по его мнению, закономерности в исторической последовательности этих типов [7]. Естественно, однако, что при этом с неизбежностью возникала сложная проблема отбора типологически релевантных явлений, без сколько-нибудь удовлетворительного решения которой исследование легко сбивалось на ту или иную разновидность сопоставительного анализа языков (впрочем, следует учесть, что в работе Ж. ван Гиннекена рассматриваются преимущественно вопросы глоттогонической проблематики, на решение которых сравнительные грамматики едва ли способны пролить достаточный свет).

В условиях неразработанности общепринятой классификационной схемы языковых типов методика типологической реконструкции, как правило, охватывала к тому же факты не всего соответствующего типологического класса языков (что было бы естественным ожидать по аналогии с обычной соотнесенностью сравнительно-исторической реконструкции с пра-

---

[6] Ср.: I. H. Danismend, Étude sur le langage mimée de l'homme primitif et sur les verbes sans conjugaison, Istanbul, 1936; W. Entwistle, Pre-grammar?, «Archivum linguisticum», 1—2, 1949.

[7] J. Van-Ginneken, La reconstruction typologique des langues archaiques de l'Humanité, Amsterdam, 1939; ср. также: H. V. Velten, Sur l'évolution du genre, des cas et des parties du discours, BSLP, 33, 2, 1932.

языковой моделью целостной генетической семьи языков), а лишь материал единичных языков, позволявший усматривать в них наряду с чертами профилирующего типа признаки типологически отличного структурного компонента.

Один из наиболее ранних примеров типологической в своей основе процедуры восстановления встречается в известных публикациях К. Уленбека, впервые (если отвлечься от отдельных догадок А. Ф. Потта) спроецировавшего в прошлое индоевропейских языков некоторое дономинативное состояние [8]. При этом структурные соотношения, характерные для языков активной типологии (ср. распределение глагольного словаря на классы глаголов действия и состояния, оппозицию активного и «пассивного» падежей в парадигме именного склонения), он восстанавливал здесь, согласно его же формулировке, по аналогии с «чуждыми по происхождению языками». Внутренним с точки зрения сравнительной грамматики индоевропейских языков стимулом к этому (но отнюдь не соответствующим доказательством) послужили лишь известные формальные соотношения, прослеживаемые в сфере именной морфологии (совпадение формы номинатива и аккузатива субстантивов среднего рода с формой аккузатива субстантивов мужского и женского родов), из которых, однако, еще не вытекала необходимость принятия предложенной К. Уленбеком реконструкции.

Представляется, что значительно более серьезную, хотя и опять-таки не вполне эксплицитную, постановку и попытку решения проблемы типологической реконструкции можно увидеть в целом ряде работ советских лингвистов 30—40-х годов. Если попытаться коротко охарактеризовать пользовавшуюся в них наибольшей популярностью процедуру, то ее следует определить как своего рода внутреннюю реконструкцию некоторого предшествовавшего структурного состояния конкретного языка, основанную на анализе определенной совокупности несистемных с точки зрения профилирующего в нем структурного типа явлений и результаты которой признавались репрезентативными для истории всего соответствующего типологического класса языков. Как известно, именно таким образом И. И. Мещанинов восстанавливал так называемую посессивную фазу ныне эргативных в своей основе абхазского и алеутского языков [9]. Аналогичным образом поступали в тот же период советские германисты в их стремлении обнаружить дономинативные (как предполагалось — эргативные) характеристики древнейшего протоиндоевропейского состояния на материале некоторых остаточных явлений, прослеживаемых в таких германских языках, как готский и древнеисландский [10]. Таковой же по своему содержанию была и процедура восстановления доэргативной фазы в истории австралийского языка аранта, использованная около двенадцати лет тому назад С. Д. Кацнельсоном [11].

---

[8] H. C. Uhlenbeck, Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen, IF, XII, 1901; его же, Zur Casuslehre, ZfvS, XXXIX, 1906.

[9] Ср.: И. И. Мещанинов, Новое учение о языке. Стадиальная типология, Л., 1936, стр. 62—74, 165—168; его же, Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения, Л., 1940, стр. 127—134, 144—152; его же, Притяжательное спряжение в унанганском (алеутском) и абхазском языках, сб. «Язык и мышление», IX, М.— Л., 1940.

[10] М. М. Гухман, Происхождение строя готского глагола, М.— Л., 1940, стр. 132—153; С. Д. Кацнельсон, К генезису номинативного предложения, М.— Л., 1936, стр. 93—103; его же, Историко-грамматические исследования, I — Из истории атрибутивных отношений, М.— Л., 1949.

[11] С. Д. Кацнельсон, К происхождению эргативной конструкции, в кн.: «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 33—41.

Вместе с тем, позднее появились и прецеденты обращения к той разновидности типологической реконструкции, которую естественно квалифицировать в качестве сравнительной, поскольку она опирается на перекрестные свидетельства ряда языков, принадлежащих к определенному типологическому классу, таким образом, что при реконструкции каждого структурного явления учитываются показания некоторой совокупности языков. Именно последнюю разновидность применял, в частности, автор настоящей статьи в своих попытках сформулировать рабочие гипотезы о генезисе эргативного и активного строя [12].

Тем не менее, до последнего времени все еще, по-видимому, не достигнуто полной ясности в вопросе взаимного разграничения генетической и типологической реконструкции, вследствие чего принципиально тождественная процедура может иногда по-разному квалифицироваться различными авторами. Для иллюстрации встречающихся при этом трудностей адекватной квалификации реконструкции (обусловленных нередким конфликтом между степенью генетической и типологической вероятности получаемых архетипов) достаточно привести следующий пример. В серии работ Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, посвященных пересмотру модели общеиндоевропейского консонантизма, критерии типологического порядка не только используются для верификации соответствующей схемы, выработанной в рамках компаративистического исследования, но и непосредственно ложатся в основу предлагаемого авторами альтернативного решения вопроса (квалификация осложняется тем, однако, что последнее решение допустимо, хотя и с меньшей степенью вероятности, и с точки зрения компаративистики) [13].

Решение вопроса о том, с какой из реконструкций имеет дело исследователь, зависит, как можно думать, от самой сущности используемой процедуры. По-видимому, если в рассматриваемом конкретном случае решающая роль в получении архетипа отводится определенной типологической закономерности, то независимо от его дальнейшего учета в сравнительной грамматике или за ее пределами реконструкция носит типологический характер. И, напротив, если в конкретном случае решающими оказываются соображения компаративистического порядка, то имеем дело с генетической реконструкцией. Подобный подход наиболее отчетливым образом проявляется в индоевропейском сравнительном языкознании, представители которого нередко подчеркивают типологические основания получаемых ими архетипов. Так, например, именно посредством типологически ориентированной процедуры В. Я. Плоткин, исходя из известной точки зрения о принадлежности древнейшего протоиндоевропейского состояния к изолирующему типу, воссоздает гипотетическую картину динамики индоевропейской фонологической системы, опираясь на показания фонологических систем реальных языков корнеизолирующего строя, засвидетельствованных в Юго-Восточной Азии [14]. В то же время К. Уоткинс, затрагивая проблему исторического формирования глагольной словоизменительной парадигмы в индоевропейских языках, утверждает, что при этом, «вероятно, единственные гипотезы, которые заслуживали бы внимания, будут основываться на чисто типологических соображениях» [15].

---

[12] См.: Г. А. Климов, Очерк общей теории эргативности, М., 1973, стр. 204—258; его же, Типология языков активного строя, М., 1977, стр. 264—303.

[13] Ср.: Т. В. Гамкрелидзе, Лингвистическая типология и индоевропейская реконструкция, ИАН СЛЯ, 1977, 3.

[14] См.: В. Я. Плоткин, Типологическая реконструкция динамики индоевропейской фонологической системы, ИАН СЛЯ, 1978, 5.

[15] C. Watkins, Indogermanische Grammatik, III — Formenlehre (ч. I — Geschichte der indogermanischen Verbalflexion), Heidelberg, 1969, стр. 117.

Наиболее общую предпосылку преодоления неразработанности в лингвистике проблемы типологической экстраполяции следует, как представляется, усматривать в более глубоком внедрении в ведущиеся историко-типологические исследования принципа системного подхода к языку с учетом иерархической зависимости одних структурных явлений от других. Непосредственным основанием такой экстраполяции должно послужить определение общих и частных тенденций структурных изменений в языках мира (отсюда, по-видимому, и квалификация типологической реконструкции у Дж. Бонфанте как «метода языковой эволюции» [16]). И здесь в первую очередь возникает задача накопления в типологии максимально широкой совокупности диахронических констант (термин, принадлежащий М. М. Гухман), являющихся, согласно Е. Куриловичу, главным ключом к решению вопросов реконструкции. К настоящему времени уже выявлена некоторая сумма типовых и вместе с тем носящих, по всей вероятности, необратимый характер процессов структурных преобразований. Ср., например, такие, по выражению Е. Куриловича, «панхронические» преобразования, как способ действия/вид > время (в частности: дезидератив > будущее время), глагол состояния > перфект > неопределенное прошедшее, класс > род, версия > залог, активный падеж > номинатив, собирательность > множественность и др. [17]. Необходимо, однако, специально исследовать всю выявленную в литературе совокупность подобных процессов с точки зрения их предполагаемой необратимости. «Многие из этих гипотетических констант,— замечает М. М. Гухман,— нуждаются в дополнительной проверке на материале разных языков, поскольку их языковая база является нередко слишком узкой. Некоторые из них явно основываются на дедуктивных построениях и поэтому при проверке лишены обязательности. Что же касается набора этих констант, то он в значительной степени случаен. В какой-то степени здесь наблюдаются те же недостатки, что и в исследованиях по универсалиям. По-видимому, системный подход к выделению диахронических констант — дело будущего, но только он даст прочную базу структурной исторической типологии» [18]. Нетрудно заметить, что последнее высказывание обозначает пропаганду идеи системной реконструкции, уже получившей широкое признание в компаративистике, и в сфере типологии.

В этих условиях должно быть понятным, что для надежности опоры типологической реконструкции на подобные закономерности предстоит сделать еще немало. Достаточно в последней связи заметить, что обращение при этом даже к таким очень широко засвидетельствованным процессам, как преобразование морфологической категории способа действия (Aktionsart'a) в категорию времени или трансформация противопоставления центробежной и нецентробежной версий активного глагола в оппозицию форм активного и пассивного залога транзитивного глагола, остается как будто не во всех случаях одинаково надежным (не исключено, что иногда при этом придется считаться и с факторами ареального порядка).

Поэтому особенно важным представляется максимально исчерпывающее выявление импликативных отношений, существующих между разноуровневыми фактами языковой структуры. Набор таких зависимостей,

[16] См.: G. Bonfante, On reconstruction and linguistic method (I), «Word», I, 1, 1945, стр. 85.

[17] Е. Курилович, О методах внутренней реконструкции, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 432; Б. А. Серебренников, Вероятностные обоснования в компаративистике, М., 1974, стр. 196 и сл.

[18] М. М. Гухман, О содержании и задачах исторической типологии, «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания (11—16 ноября 1974 г.). Тезисы докладов и сообщений пленарных заседаний», М., 1974, стр. 44.

обычно аккумулируемый в понятии языкового типа, способен продемонстрировать типологическую совместимость или, наоборот, несовместимость тех или иных структурных явлений, без учета чего не может обойтись типологическая реконструкция. Так, например, если специфический структурный комплекс эргативного строя может быть в настоящее время представлен в составе профилирующего распределения глагольного словаря по классам «транзитивных» и «интранзитивных» (или, по-видимому, точнее — агентивных и фактитивных), синтаксической корреляции эргативной и абсолютной конструкций предложения, оппозиции эргативного и абсолютного падежей в именном склонении или эргативной и абсолютной серий личных показателей в глагольном спряжении, то в номинативных языках, обнаруживающих отдельные пережитки эргативности, существует, по всей вероятности, возможность восстановить для определенного хронологического уровня весь типологический комплекс последней. Аналогичным образом для прошлого тех языков эргативной и номинативной типологии, в которых сохраняются некоторые пережитки активности, имеется возможность реконструировать активное состояние, характеризующееся принципиально иным набором структурных признаков-координат.

Адекватность типологической реконструкции останется недостижимым идеалом без строгого учета иерархических отношений, характеризующих разноуровневые факты языка. Следует учитывать, что логическая зависимость одних структурных явлений от других должна, по всей вероятности, означать и их историческую производность. Наиболее общие принципы, которыми при этом целесообразно руководствоваться в исследовательской практике, заключаются в признании тезиса о первичности лексического перед грамматическим (такое соотношение закономерно отражает принципиально различную глубину лексической и грамматической абстракции в языке), а также тезиса о подчиненном положении морфологии по отношению к синтаксису.

В свете некоторых новых результатов, полученных контенсивно-типологическими исследованиями, выявляются дальнейшие точки опоры реконструкции. В частности, после обнаружения наибольшей консервативности явлений морфологического уровня по отношению к синтаксическому и, особенно, лексическому (ср. широко распространенное в современном языкознании понимание морфологических средств как некоторой транспозиции лексических и синтаксических), возникает возможность поисков пережитков пройденного типологического состояния прежде всего в сфере тех явлений морфологической системы языка, которые оказываются в противоречии с типологическими нормами, уже отчетливо реализуемыми на более высоких уровнях языковой структуры (как известно, это обстоятельство довольно широко учитывается практикой реконструкции в современной компаративистике). Немаловажную роль играет для адекватной типологической реконструкции выявление в пределах отдельных уровней языка индуцирующих элементов, по которым в его истории происходит выравнивание других элементов.

Достоверность типологической реконструкции существенно возрастет, если в типологии, подобно тому, как это уже давно было реализовано в генетическом языкознании, будет, наконец, четко осознан относительный, а не абсолютный характер структурных инноваций и архаизмов в конкретных языках. Целесообразно напомнить в этой связи, что еще в отечественных публикациях 20-х годов было подчеркнуто, что внешняя хронология письменных памятников языка не совпадает с внутренней хронологией последнего, вследствие чего древнеписьменные свидетельства могут отражать типологически более продвинутые факты, чем современные язы-

ки. Согласно этому наблюдению, находящемуся в соответствии с более общим положением о преимущественной значимости для лингвистической науки относительной, а не абсолютной хронологии, должно быть естественным, что элемент, являющийся в одном структурном контексте инновацией, в другом может оказаться архаизмом. Так, например, едва ли возможно согласиться с утверждением, согласно которому развитие прономинальной системы всегда идет в направлении нейтрализации имевшегося противопоставления инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица мн. числа, поскольку на определенном этапе языковой эволюции эта оппозиция, напротив, должна была сформироваться на базе общего способа обозначения (как выявляется эмпирически, такое противопоставление наиболее характерно для представителей активного строя). Трудно принять и восходящее по крайней мере еще к В. Вундту мнение, согласно которому двухчленная лексико-грамматическая классификация субстантивов, известная из многих языков, должна во всех случаях трактоваться как архаизм [19]. Ср. также рост удельного веса поверхностно-морфологических проявлений глубинной оппозиции одушевленности ~ неодушевленности, наблюдаемый в некоторых языках классной типологии (например, в языках банту [20]) при его постепенном ослаблении в активных и, особенно, эргативных и номинативных языках. Более того, даже сравнительно-типологические исследования родственных языков показывают, что стадиально однопорядковые явления складываются в них в разное время (в частности, факты, которые дают о себе знать в готском языке еще в IV в., во фризском проявляются в XVI, а в исландском — лишь в XIX—XX вв. [21]). Приходится, однако, учитывать некоторые трудности, возникающие на пути типологической реконструкции в виду неоднократно констатировавшихся в истории ряда языков случаев так называемой регенерации казалось бы одних и тех же явлений (едва ли, впрочем, можно преувеличивать их роль, пока они остаются очень поверхностно изученными).

Обращаясь к самим критериям определения архаичности или инновации того или иного явления на фоне структурного типа конкретных языков, необходимо подчеркнуть, что они должны носить качественный, а не количественный характер. Например, при реконструкции типологически релевантных черт глагольного и именного словоизменения принципиально важна содержательная сторона соответствующих морфологических категорий, а не их число. Тем более целесообразно подчеркнуть в этом отношении некоторую специфику понятий архаизма и инновации в генетическом и типологическом языкознании. Если в первом они устанавливаются по отношению к реконструируемой праязыковой точке отсчета, то во втором они определяются по отношению к эталону реконструируемого языкового типа.

Тем не менее, складывается впечатление, что в целом существует значительно более глубокая процедурная аналогия между методикой генетической и типологической реконструкции, чем это может представляться. В частности, некоторые ранее отмечавшиеся между ними различия должны быть, по-видимому, признаны иллюзорными. Так, высказывалось

---

[19] Ср.: W. Wundt, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte, I — Die Sprache, 2, 2. Aufl., Leipzig, 1904, стр. 19 и сл.

[20] См.: П. С. Кузнецов, Об именной классификации и системе согласований в языке суахили, «Языки зарубежного Востока», 1, М., 1935, стр. 63; Д. А. Ольдерогге, Определение времени и пространства в языках банту (локативные классы), сб. «Памяти В. Г. Богораза (1865—1936)», М.— Л., 1937, стр. 368.

[21] См.: «Историко-типологическая морфология германских языков. Фономорфология, парадигматика, категория имени», М., 1977, стр. 6.

мнение, что если первая принципиально ограничена плоскостью эпохи «распада праязыка», то вторая в принципе безгранична на оси лингвистического времени. Необходимо учитывать, однако, что подобно тому, как типологическое исследование способно прослеживать в истории некоторого числа структурно однотипных языков целый ряд типологически различных напластований, генетическое исследование прослеживает праязыковые модели различной глубины (например, для романских языков могут быть названы по крайней мере такие праязыковые плоскости, как общероманская, общеиталийская, общеиндоевропейская). Такой параллелизм обеих реконструкционных процедур связан в конечном счете с принципиально открытым характером генетической и типологической классификаций, заставляющим с привлечением в них новых единиц сравнения видоизменять получаемые архетипы. Только конкретный языковый материал, вовлеченный в рассмотрение, накладывает в обоих случаях свои ограничения на возможность увидеть в истории языков максимальное число определенных напластований. Именно в этом плане представляется справедливым и для историко-типологических штудий известный тезис Е. Куриловича о невозможности реконструировать ad infinitum и необходимости довольствоваться восстановлением лишь тех этапов, которые, так или иначе граничат с самой исторической реальностью [22] (как иногда полагают, противное означало бы пренебрежение к самой гносеологической сущности процедуры реконструкции, призванной приводить к объяснению реально засвидетельствованных языковых фактов [23]).

Нельзя, наконец, не отметить серьезного различия перспектив реконструкции, существующего между обеими разновидностями типологических исследований — формальной и контенсивной (т. е. ориентированной на передаваемое содержание).

В настоящее время большего эффекта типологическая реконструкция способна, по-видимому, достичь в рамках контенсивно-типологических исследований. Это объясняется, конечно, не только очень большой временнóй глубиной достижимых в их русле архетипов, что обусловливается чрезвычайно медленными темпами контенсивно-типологических преобразований в языках по сравнению с большинством формально-типологических (ср. в последней связи то обстоятельство, что отчетливо наблюдаемый ныне процесс номинативизации картвельских языков, вероятно, давал о себе знать еще в общекартвельском состоянии [24]). Весьма существенным представляется и то, что именно содержательная типология оперирует комплексами разноуровневых (лексических, синтаксических, морфологических, а также морфонологических) признаков-координат, обусловленных определенными неязыковыми стимулами. Известно, что по преимуществу именно в ее сфере получает свое применение понятие блока взаимосвязанных процессов, характеризующихся единой направленностью структурных изменений. И именно в этой отрасли типологии исследование встречается с преобразованиями, происходящими в строгой последовательности от высших уровней к низшим: изменения в принципах организации именной и глагольной лексики влекут за собой соответствующую трансформацию синтаксического строя, что в свою очередь приводит к перестройке

---

[22] См.: J. Kuryłowicz, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg, 1964, стр. 58.

[23] Ср.: Э. А. Макаев, Общая теория сравнительного языкознания, М., 1977, стр. 88.

[24] Так, по мнению американского картвелиста Г. Аронсона, уже древнегрузинский язык обнаруживает перевес номинативных черт над неноминативными [ср.: H. I. Aronson, Grammatical subject in old Georgian, «Bedi Kartlisa» («Revue de karvélologie»), XXXIV, Paris, 1976].

обслуживающей последний морфологической системы (по-видимому, не случайно то обстоятельство, что в языках с так называемой парциальной эргативностью исследователи, как правило, отмечают более последовательное проведение ее принципов в морфологии, чем в синтаксисе, который иногда даже признается всецело номинативным). Напротив, опыты реконструкции в области формальной типологии наталкиваются, как свидетельствует практика, на такие трудности, пути преодоления которых в настоящее время едва ли возможно предугадать (это связано с менее отчетливой системной связанностью обычно рассматриваемых ею фактов).

В настоящей статье затронуты (к тому же по необходимости очень бегло) лишь наиболее общие вопросы типологической реконструкции. Ее задача — привлечь внимание к методической стороне несколько интенсифицировавшихся в последнее время историко-типологических исследований. Должно быть очевидным, что без совершенствования своего метода последние еще долго не будут внушать к себе достаточного доверия.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ДОМАШНЕВ А. И.

ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЕ «ЯЗЫКОВЫЕ БАРЬЕРЫ»

(Актуальные проблемы социолингвистики в ФРГ)

Социолингвистические штудии в ФРГ нередко начинаются реминисценциями по поводу того, что включение общественных факторов в исследовательскую практику немецкого языкознания наблюдалось и в прошлом. Одни, например, Х. Яхнов, припоминают в связи с этим В. Гумбольдта, который еще в начале XIX в. (1820 г.) указывал, что язык «не является свободным продуктом отдельного человека, но принадлежит всей нации», и считал, что, с одной стороны, культура, идеология и склад ума этнической группы отражаются в языке, с другой стороны, язык действует на мыслительный процесс и поступки говорящих. «Ранний теоретический интерес во взаимоотношениях между языком и человеческим обществом,— заключает Х. Яхнов,— к сожалению, не нашел продолжения» [1]. Другие, в частности, И. Радтке, напротив, считают, что этот интерес проявлялся и в начале нашего века, что нашло свое отражение в попытках интерпретации самого понятия науки о языке. В связи с этим он упоминает Ф. Вреде, который еще в 1903 г. подчеркивал, что по назначению и сути своей языкознание является общественной наукой и распадается на две составные части — индивидуальную лингвистику, которая, как отмечает И. Радтке, может быть соотнесена с понятием «системной» или «знаковой лингвистики», и социальную лингвистику [2]. В целом немецкое языкознание конца XIX и начала XX вв. характеризовалось определенным интересом к социально-языковым связям в работах по истории языка (Г. Пауль), а также при исследовании особенностей немецких диалектов, условных и профессиональных языков, т. е. в рамках работ по территориальной и социальной дифференциации языка. В этот же период наблюдался интерес к проблемам взаимодействия языка и цивилизации, языка и национального своеобразия (К. Фосслер), к социологическим вопросам семантических изменений в языке (Л. Шпитцер). К 30-м годам в этом плане особенно выдвигаются неогумбольдтианцы (Л. Вайсгербер и др.), которые подчеркивают социально-культурный аспект языка, считая язык специфическим для каждого общества средством познания действитель-

---

[1] Х. Яхнов, Развитие и проблемы социолингвистики в ФРГ, сб. «Социально-лингвистические исследования», М., 1976, стр. 218.

[2] I. Radtke, Soziologische Untersuchungen sprachlicher Variation und ihre Folgerungen für den Sprachunterricht, «Beiträge zu den Sommerkursen 1975. Goethe-Institut München», München, стр. 199.

ности [3]. «Однако,— подчеркивает Х. Яхнов,— все попытки исследовать язык во взаимоотношениях с социальной областью его функционирования не приводили к развитию систематической теории социоязыковых отношений и к разработке надежных эмпирических методов для проверки теоретических постулатов» [4].

Последующий период времени ознаменовался в западном языкознании поляризацией и обострением борьбы двух основных направлений лингвистических исследований. Получивший в ходе ее перевес постсоссюрианский структурализм и, прежде всего, теория генеративной трансформационной грамматики предельно ограничили сферу предмета лингвистики и, моделируя некое абстрактное, идеализированное понятие языка, исключили из рассмотрения любые социальные и психические факторы, детерминирующие, как известно, реальную речевую коммуникацию. В своих худших образцах такой подход был сформулирован Н. Хомским в его квази-аскетическом постулате об «идеальном говорящем — слушающем», пребывающем «в абсолютно гомогенном языковом коллективе» [5]. Было очевидно, что с помощью подобной фикции Хомский, как иронически заметил Г. Глинц [6], «слишком удобно устроился» в языкознании, но это никак не способствовало развитию научной теории.

Как и в других странах, в ФРГ в конце 60-х — начале 70-х годов стали заметны усилия преодолеть кризисное положение и описать язык «более адекватным образом, т. е. описать его гетерогенность, а прежде всего — представить условия его коммуникативного применения (performance)» [7]. Однако современная социолингвистика развивалась не только как здоровая реакция на притязания так называемой «чистой лингвистики», построения которой не соответствовали реальным вещам и отношениям, бытующим в реальных языках. «По мере того,— замечает Х. Яхнов,— как язык и речь исследовались в аспекте отражения ими социальной неоднородности, обусловленности их использования определенными социальными ситуациями,— становилось ясным и другое: обратное влияние языка и речевого поведения на социальные системы» [8]. Развивая эти соображения, Х. Яхнов подчеркивал, что лингвисты в ФРГ обратили внимание на роль языка при распределении отрицательных или положительных ценностей социальной жизни. Из этого общественно-политического интереса к языку возникло желание не только описать и объяснить функционирование языка в обществе, но и попытаться внести изменения в данную языковую ситуацию. Таким образом, заключает Х. Яхнов, «интерес к социоязыковым явлениям и критическая оценка этих явлений нередко связаны с принципиальным скептицизмом к данному обществу в сочетании, однако, с желанием эмансипировать общество» [9]. Как видим, развитие социальной лингвистики в ФРГ оказалось неразрывно связанным с процессами осознания социальных проблем, требующих положительного решения,— как с помощью лингвистики, так и без ее помощи. В целом такая ориентация интересов языкознания способствовала сокращению его «отдаленности» от «общественной действительности» и соответствовала духу времени, так как в ФРГ «в последние годы в возрастающей степени ста-

[3] Ср.: L. Weisgerber, Die tragenden Pfeiler der Spracherkenntnis, «Wirkendes Wort. Sammelband I — Sprachwissenschaft», Düsseldorf, 1962.

[4] Х. Яхнов, указ. соч., стр. 219.

[5] N. Chomsky, Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt-am-Main, 1969, стр. 13.

[6] H. Glinz, Linguistik und Gesellschaft. Neue Grammatiktheorien und ihre Anwendung auf das heutige Deutsch («Schriften des Instituts für deutsche Sprache», 20), Düsseldorf, 1972, стр. 212.

[7] Х. Яхнов, указ. соч., стр. 219.

[8] Х. Яхнов, указ. соч., стр. 220.

[9] Там же.

вился во всех общественных науках вопрос о практическом использовании научных результатов и их общественной пользе» [10]. Однако, предупреждают другие, современная социальная лингвистика как научная дисциплина может выжить и развиваться, а не повторять судьбы традиционного языкознания, которое, «по крайней мере в Германии» (имеется в виду ФРГ.— *Д. А.*), еще не так давно «влачило жалкое существование в тени философских факультетов», если будет пользоваться во всех своих сферах самыми точными научными методами [11]. Это условие становится особенно непреложным, подчеркивает З. Кангисер, если мы хотим говорить о социолингвистике не как об очередном «модном взгляде» (modische Attitüde), а как о надежде на то, что с ее помощью мы можем найти «теоретически значимые» и «практически релевантные» решения различных практических проблем, возникающих в связи с многообразными отношениями между языком и обществом [12]. Основанием для подобных надежд в отношении социолингвистики является, по его мнению, то обстоятельство, что ей «поразительно быстро» удалось «встряхнуть рвы» между «математически сформулированной теорией языка» и языковой практикой. Правда, эти «рвы» еще полностью «не перепаханы», и задачей социолингвистики не является простое преодоление разрыва, образовавшегося в языкознании между «математически сконструированными моделями языка» и «лингвистической эмпирией». Речь идет о том, чтобы в рамках самой социальной лингвистики были разработаны модели, обладающие объяснительной силой, с помощью которых можно было бы приступить к эмпирическим исследованиям, гарантирующим практическую релевантность. В настоящее время такой социолингвистики, которая обладала бы систематическим единством своей теории и практики, еще нет и следует принимать в расчет «риск неудачи» (das Risiko des Scheiterns). «Кредит,— предупреждает З. Кангисер в терминах банковских операций,— предоставленный социолингвистике, остается под вопросом» [13]. Иными словами, оказанное социолингвистике доверие может не оправдаться. Однако, как говорится, лучше потерпеть неудачу, чем вовсе не предпринимать попытки. Очевидно, поэтому, а также под влиянием различных общественно-прагматических стимулов, обусловленных конкретным положением дел в области языкового планирования и языкового строительства в современном западногерманском обществе, в языкознании ФРГ обозначилось сильное возрастание соответствующей проблематики научных исследований, а сама лингвистика выдвинулась на передний край интереса смежных общественных наук (философии, социологии, психологии и др.).

Независимо от того, насколько развивающаяся социолингвистика в ФРГ будет соответствовать тем максимальным требованиям, которые ей заранее предъявляют, многие лингвисты сходятся в том, что сама наука о языке уже не может возвратиться к ее прежнему состоянию. «Редукция лингвистики в ФРГ,— говорит Х. Яхнов,— до „досоциолингвистического“ уровня сегодня немыслима» [14]. Нет указаний также на то, что социолингвистическая проблематика разделит судьбу многих других тем и направлений в дискуссиях и исследовательских программах языкознания, наталкивавшихся, как отмечают И. Радтке и У. Кнооп, на препятствия, подобно волнам, каждому гребню которых соответствовал свой «бум». Результатом таких циклов были противоречивые концепции, построения и постулаты, которые затем оставались лежать в виде «куч гальки» (Geröll-

[10] Там же.

[11] S. Kanngießer, Bemerkungen zur Soziolinguistik, сб. «Gegenwartssprache und Gesellschaft», Düsseldorf, 1972, стр. 82.

[12] Там же.

[13] Там же, стр. 83.

[14] Х. Яхнов, указ. соч., стр. 229.

haufen) на «берегу» лингвистики [15]. Социолингвистика не является очередным модным увлечением и не связана с временными конъюнктурными задачами. Напротив, Г. Глинц, например, настаивает на том, чтобы языкознание, будучи социальной наукой, рассматривало социолингвистику не в качестве побочной «специальной дисциплины» (Spezialfach), а как «ядро», и это положение должно найти отражение в методологии науки о языке [16]. Можно предположить, говорит Х. Яхнов, что «лингвистика будет становиться все больше социальной наукой, если она хочет удовлетворить требования адекватности объектам своего исследования» [17].

Развитие современной социальной лингвистики в Западной Европе связывают, как известно, с работами английского социолога Б. Бернстайна, изучавшего, начиная с 1958 г., язык детей. Обобщения, которые при этом последовали, касались таких важных вопросов, как язык и его структура, классы и социальные группировки общества, обучение и воспитание. Б. Бернстайн исходит из тезиса о том, что современный английский литературный («культурный») язык распадается на две подсистемы — стандартный, нормированный язык (formal language) и общий, обиходный (public language), которые он называет кодами (codes). Эта дихотомия кодов известна, главным образом, под названиями «разработанный код» (elaborated code), который соответствует понятию нормированного языка (formal language), и так называемый «ограниченный код» (restricted code), соотносимый с общим, обиходным языком (public language) [18]. Такое деление языка было соотнесено с делением общества на «низший класс» — с ним Бернстайн идентифицирует рабочих (working class),— в распоряжении которого находится только «ограниченный код», и на «средний класс» (middle class), владеющий обоими — как «ограниченным», так и «разработанным» — кодами. Из этого следует, что представители «среднего класса» располагают широким языковым диапазоном и могут избирательно относиться к языковым средствам в зависимости от конкретной ситуации. Одним словом, представители этого слоя общества могут делать то, что в терминологии информатики называется переключением кодов (code switching). Носитель «ограниченного кода» не располагает такой возможностью, а его речевой уровень оказывается недостаточным, чтобы соответствовать условиям общения с лицами более высокого социального положения и принимать участие в беседах на определенные, например, абстрактные, отвлеченные, темы. Особенно затруднено общение с различными бюрократическими инстанциями. Создается положение, при котором носитель «ограниченного кода» только в кругу себе подобных имеет беспрепятственное речевое общение, а за его пределами наталкивается на трудности, которые в целом мешают любому его социальному продвижению [19]. Наиболее тяжелым по своим последствиям оказывается то обстоятельство, что поколения таких групп в данном обществе обречены на «самовоспроизводство». Психологи утверждают, что у ребенка, воспитывающегося в такой языковой среде, это положение отрицательно сказывается на развитии его духовных и познавательных способностей, поскольку речь, основанная на «ограниченном коде», по присущему ей характеру не направлена на расширение и дифференциацию «содержания знания»

[15] I. Radtke, U. Knoop, Angewandte Dialektologie, «Muttersprache», 4, 1976, стр. 296.

[16] H. Glinz, указ. соч., стр. 212.

[17] Х. Яхнов, указ. соч., стр. 229.

[18] B. Bernstein, Social class, linguistic codes and grammatical elements, «Language and speech», 5, 1962; его же, Elaborated and restricted codes: their origins and some consequences, «The ethnography of communication. American anthropologist. Special publication», 66, 6, pt. 2, 1964, стр. 55—69.

[19] См. об этом: I. Radtke, указ. соч., стр. 201.

(Wissensbestände) и на усвоение, «тренировку» (Einüben) необходимых для этих целей «мыслительных и учебно-познавательных процессов» (Denk- und Lernprozesse), а по своей формальной структуре оказывается малопригодной для таких задач [20]. Отрицательное развитие начинается с того, что мать ребенка, владея только речевыми образцами «ограниченного кода», может реагировать лишь недостаточно полно и, тем самым, тормозяще на его любопытство и познавательное отношение. Со временем, когда ребенок сам начинает говорить по неосознаваемым правилам этого ограниченного регистра языка, он «врастает в ткань специфических отношений своей субкультуры» и перенимает ее ориентации и мотивации. Все эти «тормозящие» факторы могут далее еще больше закрепиться, когда ребенок попадает в школу. Учебный процесс здесь должен осуществляться на стандартном (литературном) языке, а, следовательно, мышление и речь определяются другим языковым регистром — «разработанным кодом» «среднего класса». Возникающая диспропорция приводит ребенка из «низшего класса» к серии новых осложнений и неудач, связанных с уровнем школьных требований [21].

В плане лингвистической характеристики различия между «разработанным» и «ограниченным» кодами могут быть кратко сведены к следующему: 1) носитель «разработанного кода» использует чаще сложные структуры предложений, чем носитель «ограниченного кода» (принцип синтаксической комплексности); 2) носитель «ограниченного кода» чаще использует простые структуры предложений, чем первый; 3) носитель «разработанного кода» использует больше различных союзов и чаще расширяет состав именных и глагольных групп за счет различных прилагательных и наречий, чем носитель «ограниченного кода». В лексическом плане носитель «разработанного кода» использует более богатый и дифференцированный словарь, чем носитель «ограниченного кода», речь которого содержит лексику главным образом конкретных, непереносных значений [22].

Таким образом, носитель «разработанного кода» владеет качественными и количественными результатами речи носителя «ограниченного кода», перекрывая их уровнем собственного «кода», но не наоборот [23]. Примерно к этим основным положениям и выводам можно свести концепцию Б. Бернстайна, которая вызвала самые оживленные дискуссии среди лингвистов, социологов и психологов в различных странах. Поскольку в этой теории сделана попытка показать, что «объективно» «ограниченный код» уступает «разработанному», она стала известна среди специалистов под названием «гипотеза недостаточности» (Defizithypothese) [24].

В ФРГ концепцию Б. Бернстайна впервые использовал У. Эверман [25], который ее определенным образом дополнил, ориентируясь на местные условия, хотя в целом, как замечает по этому поводу И. Радтке, она может рассматриваться вполне «репрезентативной для западных капиталистических стран» [26]. Подобно Б. Бернстайну, У. Эверман сосредоточил свое

---

[20] Ср. подобную точку зрения, основанную на выводах Б. Бернстайна, в работе: P. Schönbach, Zur Problematik der Sprachbarrierenforschung: Perspektiven eines Sozialpsychologen, «Gegenwartssprache und Gesellschaft», Düsseldorf, 1972, стр. 71—72.

[21] P. Schönbach, указ. соч., стр. 72.

[22] Ср.: W. König, Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte, München, 1978, стр. 137.

[23] I. Radtke, указ. соч., стр. 202.

[24] Там же.

[25] U. Oevermann, Bibliographie zur Soziolinguistik, сб. «Begabung und Lernen», Stuttgart, 1969; его же, Schichtenspezifische Formen des Sprachverhaltens und ihr Einfluß auf die kognitiven Prozesse, там же.

[26] I. Radtke, указ. соч., стр. 201.

внимание на развитии речи ребенка и влиянии фактора социального происхождения на качество речевого акта. Такой акцент представляется вполне объяснимым, так как, по мнению этих авторов, образующиеся на основе усвоенного «ограниченного кода» преграды на пути развития способности языкового выражения позднее уже не могут быть устранены. Вывод, который следовал из признания этого обстоятельства, состоял, в частности, в том, чтобы внести изменения в практику школьного обучения родному языку и создать условия для оказания действенной помощи в преодолении языковой недостаточности [27]. Предложенная дидактическая мера получила известность среди специалистов под названием «компенсаторное преподавание языка» («kompensatorischer Sprachunterricht»).

Новаторский характер работы У. Эвермана для ФРГ («Pionierarbeit», по выражению З. Гроссе [28]) неоспорим. Он впервые как бы заставил теорию Б. Бернстайна заговорить немецким языком. Однако полный каталог вопросов, суждений и оценок по этому поводу, известный нам сегодня, оформился только после того, как данная концепция претерпела значительную модификацию в разработках У. Лабова (США) и в этом измененном виде получила своеобразную немецкую адаптацию благодаря У. Аммону, а также В. Клайну и Д. Вундерлиху, издавшим специальную книгу, в которой, помимо них, выступили такие авторы, как К. Элих, Ф. Мюллер, Д. Виле [29].

В работах на эту тему У. Лабов исходит из тезиса о том, что общество — носитель данного языка — располагает возможностью социально значащего выбора альтернативных способов говорения об одной и той же вещи. Это утверждение должно, по его мнению, являться главным тезисом социолингвистики [30]. Изучение различных способов выражения может быть относительно второстепенным делом в сельском обществе и диалектная география в этом случае порой выглядит «как мания коллекционирования или безвредное увлечение». Но различие способов выражения «может вырасти в одну из важнейших проблем в обществах, характеризующихся конфликтом между социальными группами, особенно когда подавляемые группы начинают приобретать экономическую или политическую силу». «С точки зрения доминирующей группы,— саркастически замечает У. Лабов [31],— социолингвистические исследования в таких обществах представляют собой нечто вроде благотворительной деятельности, имеющей целью доказать ущербность языка несчастных бедняков и помочь им подняться до уровня образованных и процветающих сограждан» [32]. У. Лабов напоминает, что в «Соединенных Штатах была предпринята энергичная атака против поднимающегося цветного пролетариата в связи с ростом его политической активности» [33], в которой участвовали и представители «крайне правого крыла» американской общественной науки. Так, А. Йенсен, опираясь на их поддержку, заявил, что усилия, направленные к повышению образованности негритянского населения,

---

[27] См. об этом, в частности: S. Große, Soziologische Beobachtungen am Abendgymnasium, сб. «Sprache und Gesellschaft. Schriften des Instituts für deutsche Sprache», 13, Düsseldorf, 1971, стр. 152—153.

[28] Там же, стр. 152.

[29] W. Klein, D. Wunderlich, Aspekte der Soziolinguistik, Frankfurt-am-Main, 1971; U. Ammon, Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule, Weinheim, 1972; его же, Probleme der Soziolinguistik, «Germanistische Arbeitshefte», 15, Tübingen, 1973, и др. его работы.

[30] Ср.: У. Лабов, Единство социолингвистики, сб. «Социально-лингвистические исследования», М., 1976, стр. 21.

[31] Там же, стр. 24.

[32] У. Лабов имеет в виду работу: M. Deutsch, J. Katz, A. Jensen, Social class: race und psychological development, New York, 1968.

[33] Там же.

могут достичь лишь ограниченных успехов[34]. При этом он использует евгеническую концепцию, утверждающую неполноценность большей части «цветного пролетариата», его неспособность к свободному концептуальному мышлению и ограниченность его возможностей ассоциативным мышлением. В дидактическом плане это сводилось к выводу, что «обучение этой группы должно базироваться на методе механического запоминания, причем предлагается использовать ее членов на работах, которые допустимы с точки зрения их якобы более низких интеллектуальных способностей»[35]. Применительно к условиям школы дискриминация негритянских детей в отношении их интеллектуальных возможностей находится в прямой связи с нападками на их язык как «не подходящий для логического мышления»[36]. Однако, заключает У. Лабов, выводы, подобно тем, которые делает А. Йенсен, не могли принадлежать человеку, способному к лингвистическому анализу, так как лингвистам хорошо известно, что все диалекты в равной степени могут быть использованы для выражения логического мышления и что все люди, независимо от того, на каком языке они говорят, способны к свободному концептуальному мышлению[37]. Свои взгляды У. Лабов изложил перед американским лингвистическим обществом в 1971 г., которое приняло разработанный У. Лабовым проект в качестве своей резолюции[38]. Главные выводы, существенные для социолингвистических построений в отношении английского языка, здесь сводятся к тому, что нестандартные диалекты английского языка, на которых говорят семьи «низших классов» (ср. так называемый «ограниченный код» Б. Бернстайна) во внутренних городах США, являются вполне сформировавшимися языками, наделенными грамматической структурой, во всех отношениях достаточной для логического мышления. Любые противоположные заявления «основаны на ложной интерпретации поверхностных различий между этими диалектами и стандартным английским языком»[39].

При таком подходе дихотомия Б. Бернстайна, соотносимая с социальным делением общества на «низший» и «средний» классы, приобретает принципиально иную интерпретацию. Прежде всего следует подчеркнуть, что намеченные Б. Бернстайном «коды» («ограниченный» и «разработанный») выделялись им внутри самого стандартного языка и не охватывали всю структуру и реальные формы, в которых бытует язык нации. На самом деле, однако, следовало видеть, что характер «недостаточности» этого «кода», в сравнении с «разработанным», определяется не тем, что представители «низшего класса» говорят простыми, а не сложными предложениями, и, следовательно, реже употребляются сочинительные и подчинительные союзы, а также владеют более бедным запасом слов и т. д., а тем, что актуально они пользуются иной формой существования данного языка — диалектом (городским диалектом, полудиалектом), который от имени этого «низшего класса» единственно и вступает в те или иные отношения с литературным (стандартным) языком, и которому, очевидно, следовало, исходя из сути отношений, установленных Б. Бернстайном, имплицировать свойства «ограниченности», приписываемые «ограниченному коду». Таким образом, если перевести положения У. Лабова в плоскость

---

[34] Имеется в виду работа А. Йенсена: A. Jensen, How much can we boost IQ and scholastic achievement?, «Harvard educational review», 39, 1969.

[35] У. Лабов, указ. соч., стр. 24.

[36] Здесь У. Лабов указывает на К. Берайтера и С. Энгельмана как на авторов подобного заключения, сделанного в их работе: C. Bereiter, S. Engelmann, Teaching disadvantaged children in the preschool (Englewood Cliffs, 1966).

[37] У. Лабов, указ. соч., стр. 25.

[38] Текст резолюции опубликован в качестве приложения к цитируемой статье У. Лабова (см. сб. «Социально-лингвистические исследования», стр. 26—27).

[39] Там же, стр. 27.

концепции Б. Бернстайна, то прежде всего следует заменить содержание понятия «кодов» и говорить не о дихотомии, существующей якобы внутри стандартного языка (по Б. Бернстайну), а о дихотомии между стандартным языком и диалектом. Исходя из оценок У. Лабова в отношении диалекта, не следует, со всей очевидностью, принимать и самые названия «кодов» («ограниченный» и «разработанный»), которые, если еще и остаются в употреблении сторонниками позиции У. Лабова, то только потому, что позволяют сохранять внешнее единство предмета дискуссии со своими противниками. В этих условиях концепции Б. Бернстайна, известной, как отмечалось выше, под названием «гипотезы недостаточности» (Defizithypothese), оказалась противопоставленной иная концепция, связываемая с именем У. Лабова и получившая название «концепция дифференциации» языка (Differenz-Konzeption) [40], или, иными словами, концепция социально-языковой дифференциации. Как и гипотеза Б. Бернстайна, концепция У. Лабова исходит из признания принципиальных различий языковых и социальных структур и их взаимной обусловленности, но утверждает функциональную равноценность этих «регистров» [41] языка (т. е. «кодов», по Бернстайну) в реализации коммуникативных потребностей как тех, так и других социальных групп общества. Именно в рамках такого общего содержания в ФРГ развернулась острая дискуссия, общим названием которой стало определение «языковые барьеры» («Sprachbarrieren»), захватившая широкие круги лингвистов, социологов, психологов и учителей. Дело в том, что дихотомия «литературный язык — диалект», структурно-субстанциональная дробность диалектного уровня национального языка и порожденная этим фактором сложность иерархии и территориальная пестрота различных переходных форм языка («Umgangssprachen») между диалектом и литературным языком — все это составляет наиболее характерную черту языковой действительности ФРГ. При этом диалект не представляет собой затухающего свидетельства исторического прошлого языка, а является актуальным социально-функциональным типом немецкой языковой системы. Так, согласно данным опроса, проведенного в 1966 году Институтом демоскопии (в Алленсбахе), 57% опрошенных показали, что они могут говорить на диалекте, 12% знают его частично и только 31% ответили, что не могут пользоваться диалектом. Эти цифры соответствуют средним данным по стране, так как, если в северных землях (Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония) и в земле Северный Рейн-Вестфалия число лиц, владеющих диалектом, составляет 46%, то в Баварии, являющейся крупнейшей землей ФРГ, эта цифра составляет 71% [42]. Правда, такие данные ничего не говорят о том, какой процент этих лиц владеет и литературным языком («разработанный код»), но свидетельствуют о распространенности диалекта. Таким образом, при любой отрицательной оценочной интерпретации диалекта как элемента языковой дихотомии («ограниченный код») в сферу соответствующих импликаций в отношении лиц, причастных к этой форме языка, втягивается значительная доля всего населения страны, что, как это легко понять, делает столь сильным общественный резонанс вокруг обсуждаемых вопросов.

В кругах специалистов наибольшую поддержку получила «концепция дифференциации» (по Лабову), так как многим она представляется

---

[40] См.: I. Radtke, указ. соч., стр. 202.

[41] П. Шенбах предлагает употреблять вместо термина «код» «регистр», поскольку первый обычно используется в системе знаковых элементов языка, см.: P. Schönbach, указ. соч., стр. 74.

[42] Эти данные приводятся по кн.: W. König, Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte, стр. 134.

попыткой непредвзятого толкования социально типизированных языковых различий, поскольку не разделяет дискриминационной оценки в отношении языка «низших классов» [43].

При всей многоаспектности проблемы «языковых барьеров» дискуссия на эту тему сосредоточилась на вопросах взаимосвязи языковой компетенции учащихся и школьного обучения. Данные успеваемости учащихся показали, что дети из «низшего класса» общества имеют более скромные успехи, чем их сверстники из «среднего класса». Причины этого положения следует искать в так называемой «первичной социализации» ребенка, т. е. в семье, поскольку дети из «низшего класса» не имеют должных условий для своего развития (недостаток жилья, занятость родителей, их усталость после рабочего дня и неготовность к общению с детьми, к проверке домашних заданий и т. д.). Вследствие этого при их «вторичной социализации» (период школьного обучения) они оказываются в менее благоприятном положении, чем дети из «среднего класса». Поскольку содержание учебных предметов (математика, история, литература, язык) и их преподавание ориентировано на литературный язык (язык «среднего класса»), то дети представителей «среднего класса» с самого начала оказываются в более выгодных условиях, что еще более усугубляет положение детей из «низшего класса» [44]. Учитывая политический момент, когда, как подметил И. Радтке [45], различные политические партии выдвигали требование «социальных реформ» в стране, официальные инстанции, ведающие образованием, относительно быстро реагировали на вывод социолингвистики о социальном неравенстве детей из «низшего класса», вследствие чего они лишены равных шансов с другими в школе. В этих условиях была подхвачена упомянутая идея о «компенсаторном преподавании языка», чтобы таким путем подтянуть языковой уровень этих учащихся до уровня языка «среднего класса» («разработанный код»). Между тем следует заметить, что предложение о «компенсаторном преподавании» вытекало из сущности «гипотезы недостаточности» (по Бернстайну) как средстве подключения к «развернутому коду» языка «среднего класса». Но поскольку «концепция дифференциации» языка указывала на эквивалентность характера обоих «кодов», менялось отношение ее сторонников к оценке задач и самой целесообразности программы «компенсаторного преподавания». Так, З. Егер, выступавший в 1971 г. от имени созданной в рамках лингвистики и лингводидактики специальной «рабочей группы» [«Arbeitsgruppe „Kompensatorischer Sprachunterricht (Sprachbarrieren)“»] на конференции по проблемам коммуникации, отметил [46], что первое заседание группы происходило «под знаком растерянности» присутствующих и определялось «гетерогенностью» ее состава. В то время, как одна часть группы намеревалась обсуждать научные основы компенсаторного преподавания языка, другая считала необходимым подвергнуть анализу задачу такого обучения в целом. Отсутствие общности представления относительно задач и ожидаемого результата работы группы подчеркнули вопросы, которые были поставлены в ходе заседания: Как можно устранить языковые барьеры? Может ли лингвистика описать эти «барьеры»? Являются ли «языковые барьеры» барьерами взаимопонимания? Не базируется ли их существование на социальной предвзятости? Какие последствия имеет недифференцированное языковое употребление для развития когнитивных способностей? В связи с подобным характером вопросов

[43] I. Radtke, указ. соч., стр. 203.
[44] Там же.
[45] Там же.
[46] См. об этом: S. Jäger, Arbeitsbericht der Gruppe «Kompensatorischer Sprachunterricht (Sprachbarrieren)», сб. «Gegenwartssprache und Gesellschaft», стр. 115—117.

определились по-разному и цели «компенсаторного обучения языку». Они были сформулированы следующим образом: 1) нивелировка по отношению языка преподавания к языку «среднего класса», т. е. преподавание предметов на литературном (стандартном) языке; 2) предоставление возможности для всех «кодов» (т. е. «регистров языка», по Шенбаху), присущих языковому коллективу, участвовать в качестве средства обучения, что обеспечивает оптимальный выбор при многообразии ситуаций языкового употребления; 3) опережающее планирование развития речи учащихся посредством «неконсервативного расширения однотипной грамматики», т. е. создание грамматики, которая бы не исходила из приспосабливания к грамматикам других подсистем (Subsprachen). Следует заметить, что здесь имеется в виду разработка такой грамматики, которая бы не опиралась только на структуру стандартного языка (язык «среднего класса») [47]. По поводу последнего предложения участники заседания высказали сомнение в том, что разработка такой грамматики вообще возможна, и назвали это предложение утопическим. Не было высказано общего мнения и по остальным тезисам «компенсаторного обучения».

В целом дискуссия о «языковых барьерах» и целях «компенсаторного обучения языку» подняла не только вопросы языковой ситуации в ФРГ, но и вскрыла причины этого положения. Так, У. Аммон, на которого ссылается Х. Яхнов, требует от социолингвистики обоснования данных состояния языка теорией эволюции общества, в рамках которой уровень общественного развития мотивируется соответствующим способом производства. Лишь это, по У. Аммону, обеспечивает познание исследуемых предметов и только теоретическое познание причин и нестабильности социоязыковых ситуаций открывает глаза на возможности принципиального изменения в этой области. При этом У. Аммон, К. Элих, Ф. Мюллер, Д. Виле и другие «социолингвисты историко-материалистического направления» (Х. Яхнов) в ФРГ критикуют различные буржуазные социолингвистические концепции, в том числе английские и американские, которые, хотя и точно описывают социоязыковые ситуации, не могут объяснить причины их возникновения и изменения [48]. Представители этого направления в социолингвистике ФРГ не поддерживают и официозных идей в отношении задач «компенсаторного обучения», направленных на языковое нивелирование, поскольку, имея в виду социальные проблемы общества в целом, они подчеркивают, что нельзя принимать язык за причинный фактор социально-экономического неравенства. Нет также доказательств тому, что языковые нормы средних слоев общества превосходят нормы языка низшего класса. «Компенсаторное обучение» может, по их мнению, способствовать индивидуальному успеху отдельных учащихся, но оно не способно решить проблему «необходимой коллективной эмансипации низшего класса» [49]. «Марксистская социолингвистическая критика,— подчеркивает Х. Яхнов,— требует, вместо компенсаторной адаптации более низших слоев к коду средних слоев, осознания самостоятельной ценности кодов более низких слоев как положительного средства солидаризации» [50]. Подобная демократическая позиция, отстаивающая в условиях языковой действительности данного общества самостоятельную

---

[47] В одном из своих писем автору этих строк З. Егер в марте 1973 г. писал, что он занимается разработкой «социально-нейтральной» (schichten-neutral) грамматики, [поскольку практикуемая в школах оценка речи учащихся, в особенности детей рабочих, путем наложения критериев грамматики, ориентированной на средние социальные слои (например, грамматики «Дудена»), приводит к искажающим выводам.

[48] См.: Х. Яхнов, указ. соч., стр. 224.

[49] I. Radtke, указ. соч., стр. 204.

[50] Х. Яхнов, указ. соч., стр. 229.

духовную ценность формы языка, характерной для «низшего класса», не была обойдена вниманием со стороны буржуазной лингвистической критики. Так, Э.-Г. Гайль по этому поводу нравоучительно заметил, что бессмысленно «запрещать» тем слоям, которые говорят на обиходном языке, пользоваться литературным языком только для того, чтобы эти группы не растеряли своего «пролетарского классового сознания и не деградировали до приспешников господствующего класса» [51]. Этому автору просто не понять, что речь идет не о запрещении простым людям пользоваться литературным языком в целях сохранения своей классовой солидарности, а о социальных условиях самого общества, порождающего социальное неравенство и не обеспечивающего одинаковых возможностей всем его членам. Благотворительными мерами здесь не поможешь, и только изменение существующих условий может привести и к изменениям в языковой ситуации в обществе. Только так следует понимать тех, кого пытается наставлять Э.-Г. Гайль. Что касается официальных кругов, определяющих политику в области образования, то их отношение к дискуссии определялось принципом не допускать «слишком больших изменений» [52]. Их насторожили, в конечном счете, даже те предложения о «компенсаторном обучении», целью которых является адаптация «низших слоев» к языку среднего класса, только потому, что они были ошибочно восприняты ими как требования «реформы». «Реформы в области образования — это реформы политические»,— подчеркивает Г. Хельмерс (H. Helmers). «Поэтому,— продолжает он с сарказмом,— в отношении дискуссии по вопросам политики образования действуют правила политической стратегии и тактики. К ним с давних пор относится и правило не допускать критических выводов (Erkenntnis) о существующей практике. Только таким образом можно покончить с недовольством как движущей силой (Motor) в борьбе против социальной несправедливости, только таким путем можно умело направить политические силы, потенциально стремящиеся к изменениям, на реставрацию старых моделей, не дав им и опомниться» [53].

Дискуссия о «языковых барьерах» не привела, да и, естественно, не могла привести к изменению условий и причин, в которых сложилась языковая ситуация в ФРГ, ставшая ее предметом. Она не привела и к сколь-нибудь заметным изменениям в области системы школьного обучения и языкового воспитания. Но в ходе дискуссии было указано на необходимость как первого, так и второго, и в этом состоял ее главный научный и общественно-полезный итог. Будучи лингвистической и лингводидактической кампанией, она вовлекла в свой круг значительные силы специалистов других смежных наук и стала заметным событием в общественно-политической жизни страны.

Говоря о попытках описать диалект и литературный язык терминологически как «ограниченный» и «разработанный» «коды», соответствующие «низшему» и «среднему» классам, представляется необходимым подчеркнуть, что современное капиталистическое общество уже более не характеризуется изоморфизмом между социальными группами и конкретными типами языка. В зависимости от условий общения носители литературного языка могут широко пользоваться диалектом, и плотность такой диглоссии определяется не только социальными, но и географическими факторами, что видно из данных, приведенных выше (стр. 20) о распространенности диалекта на севере ФРГ, в среднем по стране и в Баварии. Главное,

[51] E.-G. Geyl, Sprache als Brücke und Schranke. Über die sogenannten Sprachbarrieren, «Muttersprache», 1, 1974, стр. 5.

[52] I. Radtke, U. Knoop, указ. соч., стр. 297.

[53] Цитируется по работе И. Радтке и У. Кноопа (см.: I. Radtke, U. Knoop, указ. соч., стр. 297).

однако, заключается в том, что не следует вообще рассматривать литературный язык только как язык среднего и высшего классов, как это делает Б. Бернстайн. Литературный язык является высшим продуктом языкового развития нации, и дело в общественных отношениях с их социальными противоречиями, дело в общественном устройстве ФРГ, из-за которого «значительная часть населения с самого начала исключена из круга носителей литературного языка» [54], а социальная база литературного языка оказывается ограниченной преимущественно социально привилегированными слоями общества.

Дискуссия явилась также первым серьезным испытанием для самой еще только складывающейся науки социологического изучения языка — социолингвистики как области знания, изучающей «структуру языка и языковые изменения на основании данных, полученных при исследовании повседневного употребления языка» [55].

В этот же период происходил процесс выявления актуальных задач и направлений социолингвистики, вытекающих из конкретных социоязыковых отношений в ФРГ. Так, попытка перенести в местные условия теорию «кодов» по Б. Бернстайну привела к осознанию того факта, что элементами языковой дихотомии, находящимися в отношениях «ограниченного» и «разработанного» «кодов», являются не различительное качество внутри литературного (стандартного) языка, а социально-функциональные подсистемы немецкого языка (диалект и литературный язык). Оценочные импликации «ограниченного кода» стали соотноситься с социальным и функциональным статусом современных немецких диалектов, что привело к новым импульсам в самой науке о диалектах, помогло ей перестать «быть золушкой» (Aschenputteldasein) [56] в языкознании и способствовало определению ее важного направления в качестве социальной диалектологии [57].

В заключение необходимо подчеркнуть, что одним из фундаментальных выводов относительно становления социолингвистической теории в ФРГ является, по нашему убеждению, то, что построение строгой научной концепции оказалось возможным благодаря обращению к марксистской теории общества, после чего сегодня ее не пытаются всерьез опровергать или хотя бы игнорировать. Более того, как отмечает Х. Яхнов, с возникновением марксистской социолингвистики в ФРГ связан «новый интерес к теоретико-языковым представлениям марксистских классиков» [58].

---

[54] H. Langner, Sprachschichten und soziale Schichten (Zu einigen Problemen des Einflusses sozialer Faktoren auf den Sprachgebrauch), «Zeitschrift für Phonetik und Kommunikationsforschung», 27, 1—3, Berlin, 1974, стр. 98.

[55] У. Лабов, указ. соч., стр. 8.

[56] I. Radtke, U. Knoop, указ. соч., стр. 307.

[57] См. прежде всего упомянутые в этой статье и другие работы У. Аммона.

[58] Х. Яхнов, указ. соч., стр. 225.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

МАКОВСКИЙ М. М.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПРЕРЫВНОСТЬ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА

(Лексико-семантическое исследование)

При изучении синхронических особенностей языковых элементов и исследовании закономерностей их изменения и эволюции особое значение приобретает установление лингвистического тождества, различия, соотношения, противопоставления. Именно на основе этих понятий, в определении которых, к сожалению, пока нет единства мнений, строится сопоставительный и контрастивный анализ языка, а также лингвистическая реконструкция на всех языковых уровнях [1].

Представители натуралистического направления в языкознании и младограмматики оставили в наследство современной лингвистике механистический подход к языковому сопоставлению, ориентирующийся в основном на внешние показатели, не учитывающий природу, специфику и своеобразие сравниваемых объектов и возможности сопоставимости в каждом отдельном случае. Каждая языковая единица, в соответствии с атомистической традицией, обычно рассматривается как самодовлеющая сущность, своего рода Ding an sich, все причинно-следственные связи которой якобы заключены в ней самой, причем особо подчеркивается незыблемость формальной стороны сопоставляемых единиц, что стоит в явном противоречии с реальными языковыми фактами (ср., например, явление вариативности). Все это неизбежно приводит исследователей к поверхностным выводам или просто к иллюзиям: разные стороны одного и того же явления нередко предстают как неодинаковые сущности, тогда как различные по своей природе феномены кажутся разными гранями одного и того же явления. В этой связи еще Аристотель справедливо подчеркивал: «Знать, что *есть*, и знать, *почему* есть,— это различное знание, прежде всего в пределах одной и той же науки, и в этой науке — двояким образом: во-первых, когда силлогизм получается не через неопосредствованные [посылки] (ибо в этом случае не берется первая причина, а знать, почему нечто есть, можно, зная первую причину); во-вторых, когда силлогизм хотя и получается через неопосредствованные [посылки], однако не через причину, а через более известный из переставляемых друг с другом [терминов]» [2].

Исследователи обычно молчаливо исходят из так называемой о д н о р о д н о с т и [3] («гомологии») сопоставляемых языковых элементов и яв-

[1] Ср.: W. S. A l l e n, Relationship in comparative linguistics, «Transactions of the Philological society», London, 1953.

[2] См.: А р и с т о т е л ь, Соч. в четырех томах, 2, М., 1978, стр. 280. О различных возможностях объяснения языковых явлений см.: R. J. J e f f e r s, On the notion «explanation» in historical linguistics, «Historical linguistics», II, ed. by J. Anderson, Ch. Jones, Amsterdam, 1973; сб. «Explaining linguistic phenomena», ed. by D. Cohen, New York, 1976; сб. «Assessing linguistics arguments», ed. by J. R. Wirth, New York, 1976; сб. «Testing linguistics hypotheses», ed. by D. Cohen, J. R. Wirth, New York, 1976.

[3] Ср.: W. K r o g m a n n, Zur Annahme sprachlicher Homologie, «Zeitschrift für deutsche Wortforschung», XIX, 1—2, 1963.

лений и преемственности любых единиц в языке на всех уровнях. Поскольку, однако, «однородность» и «преемственность» в большинстве случаев остаются недоказанными, все дальнейшие сопоставления и выводы делаются исключительно на основе petitio principii.

Важно учитывать, что многие семантические преобразования, даже внешне сходные изменения, происходящие на разных этапах существования языка или в близкородственных языках, имеют неодинаковый лингвистический смысл — они возникают на основе неодинаковых свойств (комбинаций свойств) и сами обладают различными свойствами. В ряде случаев то, что называют «изменениями» значения, в действительности оказывается либо внутрисистемными, либо межсистемными перемещениями на определенном временно́м срезе существования языка, т. е. мы имеем здесь дело не с диахроническими, а с чисто синхроническими преобразованиями, отражающими различные возможности комбинаторики, допустимые или недопустимые в рамках определенной системы или подсистемы (диалектика свободы и необходимости [4]).

Разного рода «терапевтические» (по терминологии Ж. Жильерона) процессы, вступающие в действие при любых нарушениях равновесия языковых систем и подсистем [5], нередко имеют следствием изменение формы лексем или приобретение лексемами значений, не являющихся исконными или преемственными. Чисто онтологически такие значения или формальные изменения ничем не оправданы: они обусловлены исключительно необходимостью определенных комбинаторных перемещений внутри того или иного лексико-семантического континуума: синонимический ряд, например, во многих случаях предстает как чисто комбинаторное явление. Важно также иметь в виду, что заменяемость или даже взаимозаменяемость языковых элементов никак не равносильна их генетическому родству, причем отнюдь не любую форму или значение можно признать соответствием тех, которые они заменили. Так, ни одно значение английского слова *blunt* [«тупой»; «(наличные) деньги»] не является исконным: речь идет о позднейших наслоениях, возникших в связи с контаминациями в глоссах, а не о семантических соответствиях или омонимах. В слове *blunt* мы имеем дело с и.-е. корнем **bhel* «освещать, блестеть, мерцать, появляться», который представлен в англ. диалектн. *blinter* «shine, twinkle», нем. *blinzen* (то же). В поздних германско-латинских глоссах этот корень соответствовал лат. *ostendere*, которое контаминировалось с *obtendere* (замена *s* на *b* — частое явление в глоссах) и с *obtundere* (ср. контаминацию синонимичных двум последним словам лат. *habere* и *hebere*). Английское слово *gyve* (обычно pl. *gyves*) в среднеанглийском имело вид *give*. Происхождение этого слова остается неясным. В этой связи отметим, что латинское соответствие ср.-англ. *give* — *dare* — в глоссах контаминировалось с *darra*, *darrus. i. q. dardus. iaculus*, а последнее глоссировалось *schießschlang*, *schlang*. Одновременно с этим лат. *donum* (*gabe*, *gab*) в глоссах Дифенбаха контаминировалось с *donus* (<*dominus*), синоним которого (*vernaculus. knecht*) контаминировался с *vermiculus*. Здесь перед нами так называемые «паразитические» значения слов (Bastardbedeutung). Появление нового значения у слова или утрата старого сами по себе ничего не говорят о семантической эволюции. Таким образом, реализация соответствий осуществляется не стихийно, не в виде неотвра-

[4] Ср.: J. Jarvis, Necessity and meaning, Columbia University dissertation, 1958—1959; W. P. Alston, How does one tell whether a word has one, several or many senses, сб. «Semantics», ed. by D. D. Steinberg and L. A. Jakobovits, Cambridge, 1971.

[5] Ср.: М. М. Маковский, Принцип равновесия в лексике и семантике, «Ин. яз. в шк.», 1972, 3; Ср. также: A. Thérive, Clinique du langage, Paris, 1956.

тимой необходимости, а в зависимости от условий той или иной языковой среды, причем здесь в равной мере возможно действие как внутрилингвистических, так и экстралингвистических факторов. Те или иные языковые единицы могут выступать как соответствия друг другу в пределах одной подсистемы, но утрачивать свойство соответствия в другой подсистеме того же языка или иметь несколько вариантных реализаций, представленных одновременно или последовательно. Свойство соответствия языковых единиц никак нельзя признать имманентным, панхроническим, раз и навсегда данным: в результате тех или иных комбинаторных преобразований сущность и характер соответствия одних и тех же единиц могут претерпеть глубокие качественные и количественные изменения; неодинаково это свойство и во времени.

Отношение (соотношение) обычно понимается как линейная, одноплоскостная, однонаправленная, единичная связь, как расстояние между двумя точками, тогда как в языке в действительности обнаруживается целая сеть одновременно действующих соотношений и связей, разнородных и разноплоскостных. Совершенно неправомерно и само отождествление понятий отношения и связи или понимание системы как замкнутой цепи, все звенья которой взаимосвязаны, а изменение одного звена неизбежно ведет к преобразованию других. Наследие представителей натуралистического направления и младограмматиков особенно ярко обнаруживается при рассмотрении понятия лингвистического закона[6]. Закон развития в языке, согласно общераспространенному мнению, основанному фактически на перенесении характеристик органических объектов на язык[7], понимается как протекающий в виде прямой линии, или цепочки, непрерывный во времени процесс[8], в результате которого качественно или количественно новое состояние всегда является непосредственным результатом, следствием или продолжением старого и связано с ним генетически: подобно тому, как из зерна неизбежно вырастает стебель, определенный звук или значение, согласно рассматриваемой теории, неотвратимо обусловлены тем или иным предыдущим состоянием.

Такое упрощенное, одностороннее, метафизическое понимание закономерности — не случайно. В истории домарксистской науки, в том числе и языкознании, понятие преемственности постоянно отделялось и рассматривалось отдельно от категории прерывности. Греческие философы, например Зенон из Элеи и Аристотель, в своих апориях сводят преемственность к «чистой непрерывности», к плоскому эволюционизму или круговороту и рассматривают ее как воспроизведение относительно неизменных форм. То же понимание сохранилось в схоластической философии средневековья, в учении Лейбница и Локка[9]. С другой стороны, ряд ученых недооценивает и даже отрицает преемственность, гипертрофируя изменения, различия в системе при переходе ее к новым состояниям. В этой связи следует указать на атомистику Демокрита и Эпикура, Бэкона, Гассенди, на так называемую «теорию катаклизмов» и т. д. В равной мере и в языкознании любому внешнему изменению часто неправомерно

[6] Ср.: A. Kovacs, Linguistic structures and linguistic laws, Budapest, 1971.

[7] Ср.: R. D. Masters, Genes, language and evolution, «Semiotica», 4, 1970.

[8] Ср.: H. B. Rosén, Les successivités, «Mélanges Marcel Cohen», The Hague—Paris, 1970; «Kontinuität — Diskontinuität in den Geisteswissenschaften», hrsg. von H. Trümpy, Darmstadt, 1973; R. Anttila, Dynamic fields and linguistic structures, «Die Sprache», XXIII, 1, 1977; R. Lass, «Centers of gravity» in linguistic evolution, там же; J. E. Dupont, La chaînon sémantique ternaire, «Bulletin de la Commission royale de toponymie et de dialectologie», XXV, 1951; XXVII, 1953; XXVIII, 1954.

[9] Ср. обстоятельную критику этого направления в языкознании в кн.: Р. А. Будагов, Что такое развитие и совершенствование языка?, М., 1977.

приписывают статус эволюции, но, с другой стороны, соотносят элементы и процессы, либо непосредственно не связанные, либо вообще не имеющие между собой ничего общего. Впервые диалектическая связь указанных категорий была обнаружена только марксистской диалектикой. В. И. Ленин ставил вопрос: «Чем отличается диалектический переход от недиалектического?» и отвечал: «Скачком. Противоречивостью. Перерывом постепенности. Единством (тождеством) бытия и небытия» [10].

Нет сомнения в том, что язык по самой своей природе как социальное явление не может представлять замкнутую систему и включать в себя сплошные зависимости, противопоставления, связи и соотношения. Язык непрерывен, поскольку непрерывно существование его носителей, жизнь общества; однако именно социальная природа языка неизменно обусловливает его прерывность как незыблемую предпосылку общей непрерывности языковой традиции. В этом состоит одна из основных (но нередко игнорируемых) особенностей диалектики существования и развития языка. «Движение есть сущность времени и пространства. Два основных понятия выражают эту сущность: (бесконечная) непрерывность (Kontinuität) и „пунктуальность" (= отрицание непрерывности, *прерывность*). Движение есть единство непрерывности (времени и пространства) и прерывности (времени и пространства)». В связи с этим понятно, что «ни непрерывность, ни точечность сами по себе нельзя полагать в качестве... сущности» [11].

Языковая система, реально существующая на том или ином этапе развития языка, предстает как целое, составляющие которого тесно связаны и взаимопроникают друг в друга. В то же время отдельные компоненты этой же системы — слова и значения — характеризуются определенной дискретностью, которая отражается, в частности, уже в самом факте их существования как элементов системы: единица и непрерывность — противоположности. Отдельные слова в языке обычно обладают одним или несколькими индивидуальными признаками и одновременно подчиняются (или не подчиняются/частично подчиняются) общесистемным закономерностям. В пределах единой языковой системы объединяются элементы, различные по своему происхождению и времени вхождения в язык, т. е. представлен как бы сплав дискретного в непрерывном. Дискретность языковых элементов выражается также в их неаддитивности, т. е. в том факте, что сумма частей в языке обычно не соответствует цельной форме, признаку, процессу, а целое не всегда разлагается на одинаковые (качественно и количественно) составляющие. Наконец, языку, как известно, свойственна асимметричность на всех уровнях. Так, в ряде случаев языковое значение может существовать только при разложении его в пределах нескольких сосуществующих в системе лексем, а определенная лексема мыслима лишь при условии реализации в ней одного или нескольких из определенного набора значений. Именно поэтому в языке часто возникают противоречия между семемной и лексемной комбинаторикой языковых элементов: совместимые значения нередко связываются с несовместимыми лексемами, а в совместимых словах реализуются несовместимые значения. В этой связи наличие определенного набора синонимов, омонимов и многозначных слов в языке никак нельзя признать случайным. Следует, наконец, учитывать, что языковой континуум на всем своем протяжении качественно и количественно неоднороден: качественная непрерывность, в частности, может сочетаться с количественной прерывностью, а количественная непрерывность — с качественной прерывностью.

[10] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 256.
[11] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 231.

Прерывность и непрерывность — объективные диалектические категории, характеризующие не только строение и существование языка в целом и его отдельных компонентов (внутриязыковых континуумов), но и различные процессы и формы языкового развития. Прерывность (дискретность) основывается на делимости объекта, процесса, на относительно самостоятельном существовании его составляющих в рамках целого. Непрерывность отражает органическое единство, взаимосвязь и взаимообусловленность тех же составляющих [12]. Хотя специальных работ, посвященных проблеме непрерывности и прерывности в языке, до сих пор нет [13], лингвистам приходится на каждом шагу сталкиваться с этой проблемой: к сожалению, недиалектическое, одностороннее осмысление этого вопроса приводило только к недоразумениям и концепциям, искажающим языковую реальность, например, к положению «порождающей» грамматики о «безграничном» генерировании предложений на основе ограниченного языкового инвентаря или к мнению о невозможности системного рассмотрения лексики и семантики в связи с «безграничным» инвентарем» последних [14].

В настоящей статье на основе анализа фактического материала будет сделана попытка показать один из важных (но обычно не учитываемых) факторов прерывности в языке — возникновение мнимых слов и значений в результате ошибок и контаминаций в древних рукописях [15].

1. Латинская лемма *facinus* глоссируется следующим образом: *mistat*, *meynath*, *sunde*. *ding o*. *tat die den andern schadt*; ср. *facinorosus*. *vol boßheit* (Diefenbach, стр. 222). Если, с одной стороны, принять во внимание синонимы *facinus* — *perior*. *wirser* (также *arger*, *boser*); *desolatio*. *wosten* (Diefenbach, стр. 176, ср. destruere. worsteren, vorstern, также *v'-*, *zu-brechen*), а, с другой стороны, тот факт, что лат. *facinare* варьируется с *farcire* (Diefenbach, стр. 222), становится вполне очевидной контаминация указанной леммы *facinus* с *farcina*, *farcimen* (последние передаются лат. *carnes diuise*, *secate*, *minute*: Diefenbach, стр. 225), причем ср.-нем. глоссы *facinus* и их синонимы — *wirser*, *worsteren* — ошибочно приняли значение уравниваемых с этой леммой лат. *farcina*, *farcimen* (чередование форм с *r* и без *r* — распространенное явление в глоссах. Ср. Diefenbach, стр. 249: fuca — furca; Diefenbach; стр. 160: cruralia — curalia и др.). Интересно франц. арготич. *farcir* «subir»; «tromper». Так появилось весьма распространенное немецкое слово (по происхождению мнимое) *Wurst* «колбаса», являющееся ныне единственной лексемой для выражения указанного понятия и засвидетельствованное только в немецком ареале. В этой

---

[12] Об общефилософском понимании категорий прерывности и непрерывности см.: М. Ахундов, Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени, М., 1974; A. Grinbaum, A consistent conception of the extended linear continuum as an aggregated unextended element, «Philosophy of science», XIX, 4, 1952; E. V. Huntington, The continuum, Cambridge (Mass.), 1917; H. Weyl, Das Kontinuum, Leipzig, 1918; L. E. Brouwer, Die Struktur des Kontinuums, Berlin, 1930.

[13] Насколько нам известно, единственной работой, посвященной разбираемому вопросу, является статья: J. E. Peterson, The discrete and continuous in the symbolization of language, «Studies presented to J. Whatmough», 's-Gravenhage, 1957, но и эта статья посвящена не изучению объективных языковых закономерностей, а формализации языка.

[14] Ср. критику этих концепций соответственно: H. Weydt, Unendlicher Gebrauch von endlichen Mitteln. Missverständnisse um ein linguistisches Theorem, «Poetica», 5, 1972; М. М. Маковский, Теория лексической аттракции, М., 1971; H. Spang-Hanssen, Fini et infini dans le vocabulaire, «Langages», 6, 1967.

[15] Рассмотрение интересных фактов, свидетельствующих о возможности прерывности в фонологии, содержится в статье: J. Gilliéron, Mirages phonétiques, в его кн.: «Études de géographie linguistique», Paris, 1912. К сожалению, эта статья осталась почти незамеченной. О грамматической прерывности ср.: E. Agricola, Fakultative sprachliche Formen, PBB, 79, Tübingen, 1957.

связи интересна идиома *Es ist mir Wurst* «это мне безразлично» (ср. амер. сленг: *I should fret*; *I should worry and get a wrinkle*), где *Wurst* фактически выступает в своем истинном значении «неудача, провал, беда», которое «заслоняется» мнимым значением «колбаса». Буквально это выражение означает «Эка беда!». Таким образом, здесь можно наблюдать определенную энантиосемию (ср. англ. диалектн. *worsely well* «pretty well»). Любопытно также встречаемое в швабском диалекте немецкого языка выражение *Es geht* (*das mal*) *um die Wurst* «Es geht um die Entscheidung». В этой связи следует, с одной стороны, принять во внимание нем. арготич. *Wurst* «Felleisen der wandernden Handwerkburschen» (Wolf, стр. 346), а с другой — лат. *decidere. abvallen* (ср. совр. англ. *decide*, франц. *decider* и др.). Понимание нем. *Wurst* как «Gemengsel» и его связь с глаголом *wirren* (и.-е. **wer*) или как «Drehung, Walze» и связь со словами *werden*, *Wirtel* и др. (и.-е. **u̯ert* «drehen», основная форма **u̯rt-s-ti*), как это считает Ф. Клуге и другие исследователи, представляются в свете приведенных данных несостоятельными.

2. Латинская лемма *sinus* (Diefenbach, стр. 537), наряду с *schoß* и *wyk*, передается ср.-нем. *bosem*, *pusem*. При этом *sinus* уравнивается с *gremium*, а это последнее контаминируется с *cremium* (Diefenbach, стр. 156), которое глоссируется *cade*, *die geschmelszet is*, *grieb*, *gribe*, *griffen* (gremium также глоссируется griffen), *gebrant oppher*. В этой связи следует обратить внимание на то обстоятельство, что указанная латинская лемма *sinus* уравнивается с латинской же леммой *businus*. В свою очередь, лат. *businus* (Diefenbach, стр. 85), варьируемое с *bursinus*, уравнивается, с одной стороны, с *candela*, с другой — с *sinus*. Если учесть, что в глоссах *i* очень часто заменяется на *t* (и наоборот), становится вполне ясным, что перед нами латинское слово *bustum*, транскрибированное в виде *businus* и затем уравненное со своим осколком *sinus*, воспринятым как самостоятельное слово *sinus* «грудь, лоно». Ср. *bostar*, *bostum. i locus ubi corpora hominum mortuorum cremantur sim* (*r* в рукописях часто заменяется на *n*, а *m* на *ni*). Таким образом, нем. *Busen*, англ. *bosom* и др. предстают как мнимые слова. Ср. нем. диалектн. (вестфальск.) *Bausem* «Rauchfang».

Отметим, что указанная лемма *gremium* глоссируется и через *gern*, *geren* (ср. нем. *Granne* «Borste, Stachel», др.-франц. grenon «Bart», брет. *grann* «Augenbraue», нем. диалектн. *Grunen* «Bart», исп. granata «метла»). В свою очередь *cremium* уравнивается с *cremeum* и переводится *surculus*, *racemus. sproyß*. Интересно, что лемма *cremium*, уравниваемая с *gremium* (последняя глоссируется ср.-нем. *busem*, *besem*), одновременно уравнивается и с *crinea*, а это последнее передается через ср.-нем. *spach*, *spacha* (ср. O. Schade, Altdeutsches Wörterbuch, II, стр. 846: *spahha*, *spacha* «Reisbüschel oder Bündel»). Отметим, что лат. *scopa*, также передаваемое через *besam. besseme*, генетически соотносится с лат. *scopio* «стебель, черенок». Наконец, важно учесть, что лемма *sinus*, наряду с *busan*, *besem*, *bosam*, уравнивается с лат. *palpebra. bran*, *ogbrau* (ср. Diefenbach, стр. 407). Таким образом, англ. *besom*, нем. *Besen* «метла» и др., а также нем. *Bürste* [16], как и разобранное выше англ. *bosom*, нем. *Busen* «грудь», обусловлены ошибкой глоссатора и восходят к одному и тому же латинскому *bustum*, подвергшемуся двойной контаминации. Естественно, что в свете изложенного нет оснований связывать нем. *Busen* с и. е. **bhou*, **bhu-* «schwellen», а *Besen* — с и.-е. **bheidh* «binden», как это обычно делается (Kluge, s. v.).

3. Контаминация латинских лемм *securis. byel. peyl. byeln* (Diefenbach, стр. 523), совр. нем. *Beil* с *securus. sicher*, *seger* (Diefenbach, стр. 524) привела

[16] Ср. формы: *bursinis* и *bustum*.

к возникновению мнимого слова: нем. *billig*, др.-англ. *bilwit* «mitis, simplex», а также нем. диалектных слов с полярным значением: *Bilwis* «Kobold, Hexe», бавар. *Bilwez* «Ausdruck des Unwillens». Ср. Diefenbach, 488: *rectus. recht, schlecht*; 535: *simpliciter. schlechtledig.*

4. Контаминация латинских лемм *porca i. spatium inter suos sulcos sim ein bethe, pett lanndes, rein* (Diefenbach, 447), с одной стороны, и *porcus* «свинья» — с другой, привела к тому, что германские слова, первоначально обозначающие «возвышенность», «насыпь», стали употребляться со значением «свинья». Ср. Diefenbach, 132: *collis. kleyne hoge. ein klein berg* и др.-англ. *berg*, совр. англ. диалектн. *barge* «свинья»; нем. диалектн. *Barg, Berg, Barch* «свинья»; англ. hog «свинья»; Ср. также Diefenbach, 447; *porca. moyg, mock*, но др.-англ. *mugg, muga* «acervus», эльзас.-нем. диалектн. *Muger* «Haufe» (также бавар.— *Mauchen, Moger* «zusammengescharrtes Gut», шваб. *Mauke* «heimlich angesammelter Vorrat von Obst, Nüssen»).

5. Весьма спорным остается происхождение немецкого слова *Buhle* [ср.-н.-нем. *bole*, ср.-нидерл. *boel(e)*], ср. норв. диалектн. *boe*, зап.-фламанд. *boe*, совр. в.-нем. *bua, bue, pui* «Freund, Geselle, Gemahl»; «Bruder», позднее «Geliebter, Liebhaber». Я. Гримм приводит санскр. *bala, balaka* «puer, parvulus», ирл. *balach* «a lad, a fellow», но признает, что эти слова не имеют ничего общего с разбираемой лексемой (ср. ZfdWf 2, 278). При ближайшем рассмотрении оказывается, что и здесь причиной возникновения слова явилась контаминация, вернее, несколько параллельных контаминаций. Латинская лемма *veruex* передается ср.-нем. *schaitel* (Diefenbach, 615); уравниваемое с *veruex* лат. *vertex* передает *hohe, nol, hnol. de humulo. der hopf, tolder.* Ср. синоним *veruex, vertex* в указанном значении — *collis. hobel. bohel. buhel* (Diefenbach, 132, ср. Schade, 89: *buhil, puol, buol*). При этом *veruex. schaitel*, несомненно, контаминировалось с *veruex. verna. vernaculas* и их глоссами — *knecht, mayt, meyt, eyn schon knecht*, но также *heimisch, eigen, schlecht* (Diefenbach, 613). Синоним этого последнего значения — scortor (Diefenbach, стр. 520), наряду со ср.-нем. *gailer, gogler*, глоссируется *boue* (ср. *scortari. unkuscheit dun, hurerey triben, bosheit don*). С другой стороны, синоним вульг.-лат. *scortor* — *ganeo* — глоссируется не только через ср.-нем. *hurer, ruffion, lodderboeff*, но и *bueb* (ср. совр. нем. *Bube*). Лемма *ganeo* имеет вариант *graneo*, который несомненно, контаминировался с *graneum. schaitel. hohe* (Diefenbach, стр. 268). Таким образом, налицо контаминация ср.-нем. buchel, bohel, buol «холм» со словами, имеющими значение «развратник», и явно ошибочное использование слов *buhel, bohel, buol* с этим последним значением. Именно поэтому нем. *Buhle* — мнимое слово. Чередование же отрицательных и положительных значений в этом слове, т. е. энантиосемия слов, обозначающих «плохой» — «хороший», засвидетельствована материалом ряда языков. В свете сказанного становятся понятными и такие образования, как англ. сленг *bully* «excellent» и швейц.-нем. диалектн. *bullig* «schönartig, prächtig».

6. Латинская лемма *cala* (Diefenbach, 88), передавалась, как и ее вариант *luteus* (Diefenbach, стр. 340), не только через ср.-нем. *drech, horig, leimig*, но и *flissig*. С этим последним можно сравнить швейц.-нем. *Fliess* «Löschpapier» (Staub — Tobler, I, 1212), *Flasch* (1219) «weiche Strassenkot», *Flosch* «Jauchkasten» (1221), англ. сленг *flash* «low immorality». В связи с частой заменой *l* на *r* в глоссах (ср. Diefenbach, стр. 127: *cliton. criton*; *holioglapha. holographa*; *gradiatores. gladiatore*; *obsculatio. obscuratio*) можно полагать, что одним из графических вариантов лат. *cala* было *cara, caro* (Diefenbach, стр. 102: *caro, carnis, fleisc, fleiß*. Ср. Diefenbach, стр. 100: *carca. mist*). Так возникли мнимые слова: нем. *Fleisch*, англ. *flesh*, др.-в.-нем. *fleisc* (в глоссах также *fleiß*), др.-англ. *flaesc* (*flaec*), др.-исл. *flesk(i)*

(только в значении «шпиг»). Однако одновременно с этим лат. *caro* контаминировалось и с лат. *cura*, передаваемым, наряду с синонимичными лат. *contentio*, *dissenti*, и др.-в.-нем., ср.-в.-нем. *vliz* (ср. совр. нем. *Fleiß*), др.-сакс., др.-англ. flit, ср. также совр. англ. диалектн. *flite*, дат. *flid*, швед. *flit*, нидерл. *vlijt* (относительно взаимной замены гласных в глоссах ср. Diefenbach, стр. 90: *calta*, *culta*; Diefenbach, стр. 163: *cura. sorge*, *surge*, *sarge*): заслуживает внимания, например, тот факт, что наряду с переводом вульг.-лат. *carnium*, *carminum* через *fleiß*, *flaisc* (Diefenbach, стр. 102), вульг.-лат. *carni*(*ula*), *carmula* передаются через *urluge*, *urloge* «Krieg» (Diefenbach, стр. 102), ср. вульг. лат. *cura. vecht. stryt* (вместо *strid*). *die uff den wapen vechten* (Diefenbach, стр. 163). Интересно, что вульг.-лат. *cornu* (Diefenbach, стр. 152), наряду с закономерной передачей его ср.-нем. *horn*, глоссируется также *stride*, *anfechtunge*, а также уравнивается с *exercitus*. Это последнее, как известно, во множественном числе имело значение «хлопоты, мученья, му́ки», ср. *exercitus*, *exertitatus* «беспокойный» (ср. Diefenbach, стр. 163: *cura. sorge*). Здесь, видимо, произошла контаминация *cornu* с формой *carnis* (от *caro*), которая в свою очередь контаминировалась с *cura* и значение которого приняло *cornu*. Контаминации *caro* и *cura*, видимо, способствовало и наличие германской лексемы: др.-англ. *cara*, др.-в.-нем. *chara*, гот., др.-сакс. *kara*, форма которой совпадала с лат. *caro*, а значение — с лат. *cura*. Контаминация нем. *flüssig* и *fleißig* обнаруживается в следующей глоссе: Diefenbach, стр. 465 — *propensius. extensius. solerter. l. callide. magis amplum. i. abundatior.* ***ernstlech***. *fleßigklich. uberflussiger*, *vleyssigklicher*, *breiter ł witer. uβgestrecht.* Результат смешения латинских лемм *cura* и *caro* нашел яркое отражение в том факте, что созвучное им лат. *sura* (относительно возможности замены *s*>*c* ср. такие глоссы, как *carex. sarex*; *carectum*, *sarectum*; *silex. cilex*; *simus. cimus*) после семантической контаминации совместило значения обоих этих слов: собственное значение *sura* отражено в ср.-нем. глоссах *wade*, *dat kute ant beyn* (это значение соответствует значению слова *caro*), а приобретенное после контаминации значение отражается в ср.-нем. глоссе к тому же слову *britt*, *brütte* (ср. Schade, Altdeutsches Wörterbuch, 88: *brutt* «Terror», *brutten*, *prutten* «erschrecken — это значение является принадлежностью слова *cura*). Ср. смешение *sura* и *cura* в глоссе (Diefenbach, стр. 154): *coura. wade.* Весьма любопытно, что отголоски рассматриваемого смешения значений лат. *caro* и *cura* в глоссах дают о себе знать и поныне. В современном немецком жаргоне (Rotwelsch) слово, обозначающее мясо, а именно *Boser* (*Bauser*, *Busse*), одновременно имеет и значение «Angst» (ср. глагол *bausen* «sich fürchten, ängstigen) [17]. Слово же *Fleischmann* в арго означает «Auffänger, Hatschier, einer, der Diebe aufsucht und verfolgt (Wolf, стр. 101), т. е. по своей семантике является точной копией лат. *curator*. Таким образом, как *Fleisch*, так и *Fleiß* по своему происхождению — мнимые лексемы, возникшие в результате контаминации при глоссировании, но закрепленные в языке в различном графическом и фонетическом оформлении (первоначально они совпадали). Неудивительно, что языковые соответствия этих слов установить до сих пор не удалось, а их происхождение в соответствующих этимологических словарях считается неизвестным.

7. Весьма спорным и неопределенным остается до сих пор происхождение нем. *Farbe* ср.-нем. *var* (*varwer*), др.-в.-нем. *faro* (*farawer*), для которого обычно восстанавливается гипотетический корень **pork-цó *perk̂-*, **prek̂-* «gesprenkelt, bunt», но не приводятся никакие индоевропейские соответствия. Обратимся, однако, к фактическому материалу.

[17] См.: S. Wolf, Wörterbuch des Rotwelschen, Mannheim, 1956, стр. 46—47. 61.

Вульг.-лат. лемма *verti-(-bulum, -gulum)* уравнивается, с одной стороны, с *alabrum*, а, с другой — с *texale* (Diefenbach, стр. 614), и глоссируется ср.-нем. *werbel*, как и однокоренное с ним слово *vertex* (*i. vortex*), глоссируемое *circularis reuolutio. werbe* (Diefenbach, стр. 629). Аналогично и синоним указанных слов — *alabrum* (Diefenbach, стр. 20) — передается через ср.-нем. *werf*, а еще один синоним — *orbiculus* — уравнивается с лат. *cincinnus*, *cintinus* (Diefenbach, стр. 119—120).В глоссарии Дифенбаха находим следующие графические варианты лат. *cint-*, *cinc-*, *tinc-ł. tinct- iare* (119); *tint-*, *cinc-iare* (стр. 584). Если обратиться теперь к леммам *tinctio*, *tintor* (от глагола *tingere* — Diefenbach, стр. 584), можно обнаружить, что в результате контаминации с приведенной леммой *cincinnus*, *cintinus* лемма *tinctio*, *tintor* также стала глоссироваться ср.-нем. *werbe*, *werbunge*, *farbe*, что явилось первой ошибкой в цепочке других. При этом *tinctio*, *tintor* глоссируются также ср.-нем. формой webunge, что объясняется контаминацией указанных лемм с *texale*, которое выступает в качестве варианта к *verti-* (*-bulum*, *-gulum*). В свою очередь *texale* (Diefenbach, стр. 582) уравнивается с *textoris*, *textorium*, передаваемыми ср.-нем. *webe-*, *weber-* (*hus*). Следующей ошибкой явилась контаминация варианта леммы *cincta-* с *cinct—orium* (от глагола *cingere*), который передается через *zusammenrucken*, *zusammendrucken*. Ср. Diefenbach, стр. 76; *color. pigmentum. varwe.* ***cingulus regalis.*** Именно в связи с этим уже мнимое слово *werbe*, *farbe* с мнимым значением «краска» приобрело еще одно мнимое значение: ср. совр. швед. диалектн. *färg* «bryckning, pressning», *fergja* «trycka samman, sammanpressa» (J. E. Rietz, Svenskt dialektlexikon, Lund, 1962, 177), совр. англ. диалектн. *farra*, *farrow*, *verra* «(of a cow) not with calf; not yielding milk», зап.-фламанд. *varwe-* (*verwe-*, *varre-*, *verre-koe* «a cow that has ceased to be capable of producing offspring» (De Bo). Отметим также, что лемма *verti-* (*-bulum*, *-gulum*) ошибочно переводится также через ср.-нем. *schur-stange*, *stock*, что обусловило появление еще третьего мнимого слова — совр. швед. диалектн. *färg* «stänger, hvarmed nafvern på tak fasthålles; ryggträ eller brädkuf på en kroppås» (Rietz, 177).

Показательно использование глагола *färben* в немецком жаргоне в значении «lügen» (ср. русск. вульг. *загнуть* в смысле «сказать неправду»). Ср. также нем. арго Färber «Kamerad» (ср. происхождение англ. *boy*, ВЯ, 1977, 3, стр. 69—70).

8. Вульг.-лат. леммы *mancus*, глоссировавшиеся ср.-нем. *handtloser*, *hanlos* (Diefenbach, стр. 346) и *manus. hant* (Diefenbach, стр. 348), несомненно, контаминировались с леммой *mancor* (Diefenbach, стр. 346), а эта последняя варьировалась с *rancor* и передавалась ср.-нем. *garst*, *gerstigneit*, *sure*. В связи с этим становится понятным возникновение мнимого др.-в.-нем. *hantig*, *hantag*, *handeg* «acer, mordax, asper, saevus», бавар-нем. диалектн. *handig* «Bitter» (Schmeller, I, 1127), шваб.-нем. диалектн. *handig* «stark gesalzen, herb» (Fischer, III, 1120), эльзас.-нем. диалектн. *hannig*, «versalzen» (Martin — Lienhart, I, 341), совр. англ. диалектн. в сочетании *handed-square* «salt-maling term; squares of salt such as are commonly hawked about the streets» (EDD, III, 47).

9. Вульг.-лат. лемма *docere*, несомненно, контаминировалась с *decere* (ср. Diefenbach, стр. 188; *doca*, *deca*). Первая из этих лемм передавалась ср.-нем. *leren* (Diefenbach, стр. 188), вторая же — *zimen*, *zemen*, *temen*, *zimlich* (Diefenbach, 167). При этом *decere* контаминировалось с *desere* (*degere*). *armlich*, *armilich* (Diefenbach, стр. 170). Таким образом, в результате контаминации лемм *docere*, *decere* и *desere* контаминировались значения ср.-нем. лексем *zimen*, *zuomen*, *tomen* и *leren*, каждая из которых, кроме своих основных значений, приобрела теперь мнимое значение «лишенный ч.-л., пустой». Так возникли семантически мнимые образования:

совр. нем. *leer*; др.-нем. *zuomig*, др.-англ. *tom*, др.-сакс. *tom*, др.-исл. *tomr* (из *zimen*, *zuomen*, *temen* «tauglich, tüchtig») в значении «пустой», ср. совр. англ. диалектн. *toom*, *tume* «empty» (EDD, IV, стр. 189); шваб.-нем. диалектн. *zumpfelen* «den Abtritt leeren»; *Zumfeler* «Kloakenreiniger» (Fischer, VI, 1336—37).

10. В глоссарии Дифенбаха *pharias* передается через ср.-нем. *slang*. В германских средневековых рукописях, однако, slanc, slang соответствовало лат. *exilis*, *gracilis*, *idoneus*, *solutus* (Schade, стр. 818), ср. также Diefenbach, стр. 267: *gracilis*. *(ge)schlang*. Первые три из латинских лемм, как и их синоним *habilis*, в глоссарии Дифенбаха уравниваются со ср.-нем. *dogich*, *dogchech* (Diefenbach, стр. 216), *toglich*, *teglich* (Diefenbach, стр. 272), *tuglich* (Diefenbach, стр. 284), последняя (solutus — Diefenbach, стр. 541) переводится *entledigen*, *ofgelost* и уравнивается с *solitus*, *consuetus*. *sorghafft* и *solitarius*. *einlich*, *all* — *ein*, синонимы которых переводятся следующим образом — *secretus*. *absunderung*; *absconditus*. *behut*, *verborgen*, *tougen*. Ср. с этим последним др.-англ. *degol*, совр. нем. диалектн. taugenlich, daugenlich «heimlich». В результате контаминации лемм *exilis* (*gracilis*, *idoneus*), передаваемых через *dogich*, *toglich* и др., *solutus* (*solitarius*, *absconditus* и др.), глоссируемых *tougen*, *dougen*, *dogen*, с леммой *pharias*, варьируемой с *varius*, *farius*, др.-англ. слово *déagan* (*déage*, *déah*) ошибочно приобрело значение лат. *farius*. Ср. совр. англ. *dye* «краска, красить». Отметим также, что, учитывая глоссу *solutus*. *afgelost*, можно полагать, что в результате указанной контаминации возникло и мнимое англ. *die* «игральная кость», «жребий» (ср. совр. нем. *Los* «жребий»).

11. Др.-в.-нем. *magus* (др.-исл. *mogr*) «filius», синомичное др.-в.-нем. *sibbo*, *sippo*, ср.-в.-нем. *sippe*, безусловно, контаминировалось в глоссах с лат. *magis* (Diefenbach, стр. 342), которое уравнивается с лат. *mina*. *mellic vat* (Diefenbach, 361), *pinsa* (Diefenbach, 436) и, наконец, *ascia*, *assia* (Diefenbach, 53). Последнее же переводится, наряду с *doliarius*, также и др.-в.-нем. *durchschlag*, *dorchschlak*, т. е. ошибочно выступает в качестве синонима лат. *cribrium*. Понятно, что и др.-в.-нем. *sibbo*, *sippe*, «consanguines», уравниваясь с *ascia*, *assia*. *durchschlag*, могло выступать в значении «cribrium». Так возникло мнимое слово нем. *Siebe* «сито», англ. *sieve*, др.-англ. *sife*, нидерл. *zeef* (ср. Diefenbach, стр. 157; *cribrum*. *sipp*, *sib*, *seff*, *syff*). Интересно в связи с этим, что лат. *ascia*, *assia* при заимствовании в германские языки дало семантически ошибочное образование со значением «filia, puella»: ср. первый элемент в норвежском парном слове *aske-ladd* или совр. англ. *lass*, диалектн. *lash* [*l* в этом слове представляет собой часто встречаемое в глоссах *ł* (*vel*), ошибочно соединенное с др.-англ. *asce* «зола, горящий уголь» (см. об этом более подробно ВЯ, 1977, 3, стр. 63); интересно в этой связи образование с подвижным формативом: англ. *blaze* «пламя», англ. диалектн. *gloze* (то же), но англ. сленг *blowze*, *bloss* «девушка», ср. англ. диалектн. *aize* «горящие угли», *easel* «искра», *oss* «рвение, стремление». Важно также указать на безусловную контаминацию лат. *asca* и *assaia* «bolting-cloth» (Latham, Revised medieval Latin word—list, 33, 416).

С другой стороны, *cribrum*, контаминируясь с *asca*, *ascia*, было заимствовано в германские языки с ошибочным значением: ср. англ. *crib*, др.-англ. *cribb*, др.-сакс. *kribbia*, нидерл. *kribb*, *kribbe*, нем. *Krippe* (др.-в.-нем. *kripia*, *krippa*, ср.-нем. *krebe*).

12. Др.-в.-нем. *hiwen*, *hien* имели значение «heiraten», а *hiwo* означало «Gatte, Hausgenosse» (O. Schade, стр. 304), ср. гот. *heiwa—frauja*, др.-англ. *hiwan*, *higan*, др.-сакс. *hiwa* «жена», исл. *hjun*, литов. *sievas* (ср. также н.-нем. диалектн. *Hisch* «Leute aus einem Haus», *huwen* «heiraten»). Нет, однако, сомнения в том, что эти слова могли выступать в своем наиболее

конкретном значении, о чем свидетельствует и фактический материал: ср. др.-англ. *higð* «exertion»: Gl. Abbos Clericorum Decus, 360 (ZfdA, XXXI) — *acutis hisibus. miðscearpum higðum*; швед. диал. *hiva* «slanga, kasta» (Rietz, стр. 357), совр. англ. диалектн. *hig* «a fit of passion», швейц.-нем. диалектн. *heijen* «werfen» (Staub—Tobler, II, стр. 1106), баварск. *geheien* «werfen, *schmeißen*» (Schmeller, I, стр. 1025—1027), шваб. *geheien* (Fischer, III, стр. 192). О подобном семантическом развитии свидетельствуют такие случаи, как франц. *foutre* «coire», но также «werfen, stossen»; нидерл. диалектн. *sjerren*, *sjarren* «coire, stuprare», но также «smijten, slaan, plagen, bedriegen», швейц. serten «futuere», но также «plagen, hauen» (Staub — Tobler, VII, 1335). Приведенный материал, таким образом, не оставляет сомнения в том, что разбираемый германский корень соответствовал лат. *futuere*, *futare*. Однако эта последняя лексема в глоссах контаминируется с *fucare* (ср. Diefenbach, стр. 254: *futare. fucare*; *futire. fucio. begyssen*, *gyssen. klappen. snacken*). Именно этой контаминацией можно объяснить возникновение мнимых слов: др.-англ. *hiw*, *hiew* «color, form», совр. англ. *hue*, ср.-англ. *hew*, *hewe*, др.-исл. *hy* (то же), швед. *hy*, гот. *hiwi* «form, appearance». Следует, однако, указать и на другую параллельную контаминацию. Латинская лемма *colossus* контаминируется с *colorus*, *coloratus*, глоссируемыми, как и *colossus*, лат. *statua* и ср.-в.-нем. *bilde* (ср. color. varbe. gestalt — Diefenbach, стр. 133). В свою очередь *colorus*, *coloris* контаминируются с *colonus* (Diefenbach, стр. 391). Лемма же *colonus* (Diefenbach, стр. 133), как и ее синоним *mansus*, переводится через ср.-нем. *houe* (один из вариантов *hof*). Именно эта германская форма и стала выступать с ошибочным значением «краска». Ср. *pigmentum. color. haui* (Diefenbach, стр. 76).

13. Латинская лемма *porca*, имеющая варианты *parca*, *porea*, передается через *braicke*, *rein*. Леммы же *crema-* (*sculus*), crima (-culum) — Diefenbach, стр. 156—157, как и их синоним *fractina* (Diefenbach, стр. 245), передаются также *brake*, *breche*, *prech*, *hohel*. Кроме того, *fractorio* уравнивается с *asca* (стр. 245). Не подлежит сомнению, таким образом, что ср.-нем. глоссы, относящиеся к лемме *porea* — в частности, *rein* — уравнивались со ср.-нем. глоссами *crimina*, *cremena*, *crumena* [с этими последними леммами контаминировались *creme* (*-sculus*), *crima* (*-culum*)]. Следовательно, *rein* (глосса к *porca*) уравнивались и с *zuber* (глосса к *crumena*). Слово же *zuber* в глоссах часто записывалось в виде *suber*, т. е. внешне совпадало со ср.-нем. *suber* «чистый». Значение этого последнего глосса *rein* (*porca*) ошибочно и получило: так возникло мнимое немецкое слово *rein* (гот. *hrains*, др.-в.-нем. *rein*, *hrein*, др.-сакс. *hreni*, др.-фриз. *rene*, др.-исл. *hreinn*). В этой связи весьма показательно, что уже позднедревненемецкое *rina* передает лат. *olla*, а в современных немецких диалектах очень распространено слово *Rein* «Schüssel» (ср. «Deutsche Worforschung in europäischen Bezügen», III, 389). С другой стороны, др.-в.-нем. (ср.-нем.) *sciri*, *scir* (Schade, s. v.) «чистый» ошибочно приобрело значение «сосуд»; ср. совр. нем. *Geschirr*. Как уже говорилось, синоним *crema* (*-sculus*), *crima* (*-culum*)—*fractorio* — уравнивается с *asca*. Лат. *asca* в глоссах контаминировалось с *assaia* (синонимом *cribrum*) и переводилось *durch-slag* (Diefenbach, стр. 53). Вот почему в современных швейцарских и рейнско-немецких диалектах *rein* до сих пор означает «fein gemahlen, gesiebt». На этом ошибочном значении, однако, никак нельзя строить этимологию слова *rein*, как это обычно делается (ср. O. Gaupp, Zur Geschichte des Wortes *rein*, Tübingen, 1920; Kluge, s. v.; Feist s. v.).

Мы уже отмечали, что лемма *porca* варьировалась с *parca*, *porea*. Эта последняя, безусловно, контаминировалась с *purus*, ошибочной глоссой которого стало *rein*, которое, как мы говорили, могло означать еще и

«сосуд». Ср. у Дифенбаха *olla*, *parua* (Diefenbach, стр. 395). Кстати, лат. *paruus*, *parua* обычно переводятся в глоссах др.-в.-нем., ср.-в.-нем. *kleyn*, *klene*, др.-англ. *claene*, совр. англ. *clean*. Однако, как показывают приведенные факты, здесь речь не может идти о семантическом переходе «маленький» > «чистый» — скорее этот «переход» обусловлен контаминацией глосс (*parua*~*purua*~*porua*). Ср. Latham, стр. 386: *puralea. porale* «boundary of a forest», Diefenbach, 428: *parua. peroa. porcus*. Нем. *klein*, англ. *clean*, также, видимо, являются семантически мнимыми словами. Ср. совр. англ. диалектн. *clean* «the placenta of a cow, a sheep» (EDD, s. v.), нем. арго *Kluns* «vulva canina» (ср. нем. Klunze «Riß»). С другой стороны, ср. глоссу у Дифенбаха (стр. 414): *paruus. kleyne. klene*, но также *voge* (с точки зрения семантики ср. авест. nafa «navel» → «family»; санскр. *nābhe* «navel» → «relationship»). Лемма *porca* могла контаминироваться с *orca* (последняя варьируется с *urceus*), которое в свою очередь синонимично *crumena*, *olla*. Лемма же *urceus* контаминировалась, с одной стороны, с лат. *uteris*, а с другой — с др.-в.-нем. *urchen*, др.-англ. *eorcnan* «чистый», «светлый, неподдельный». Ср. также др.-англ. *sphaera. spera. clyne*; *spera*, *sphaera. ring. schile* (Diefenbach, s. v.), но *pera*, *dische* (ср. *discus*, *schußel. kloße* — Diefenbach, s. v.). Следует, наконец, отметить, что *klein*, как и *rein*, контаминировалось с *asca* (=*assaia*), ср. нидерл. *klens* «ситечко, цедилка».

14. Вульг.-лат. лемма *veretrum* (Diefenbach, 612), безусловно, контаминировалась с леммой *verutum. dard. lange geschoß* (Diefenbach, 615), а эта последняя смешивалась с *vertebrum*, чередовавшейся с *texale* (Diefenbach, 614). Лемма же *texale. textoris. textorium* передается ср.-нем. *webe*, *wepp*, *wupp*. Именно эти глоссы и явились прототипом мнимого слова — др.-англ. *waepen* (выступавшего, в частности, со значением «membrum virile»), др.-сакс. *wāpan*, др.-исл. *vāpn*, швед. *vapen*, дат. *vaaben*, нидерл. *wapen*, англ. *weapon*, нем. *Waffe*. Любопытно, что лемма *tela* (Diefenbach, 575) глоссируется также *weppe*, *wepp*, *weeb*. Можно с большой долей вероятности полагать, что лат. *tela* «оружие» контаминировалось с сокращенной формой от *texale* — *tela* и, соответственно, со ср.-нем. глоссами последней. Приводимое Ван Виндекенсом тохар. *yepe* «нож» является тюркским заимствованием [18]: ср. сев.-уйг. диалектн. (таранчи): *jabduk* «Ausrüstung, Geräte, Waffen» (Räsänen, s. v.).

15. Латинская лемма *arena*, передаваемая ср.-нем. *grütze* (ср. ср.-н.-нем. *grütte*, *gōrte*, др.-англ. *grytt*, совр.-англ. *grit*, нидерл. *gort*), варьируется писцом с *area* (Diefenbach, 47). Эта последняя лемма переводится ср.-нем. *houe*, *houwe* (от ср.-нем. *hof*, *hoff*). Однако тот же графический вариант (*houwe*) в глоссах является переводом лат. леммы *sarculus*, с которой, следовательно, контаминируется и *arena* и ср.-нем. глоссы последнего (*grütze*, *grit*). Действительно, синонимы *sarculus* — *verriculus* (Diefenbach, 63), *traha* (Diefenbach, 592) — передаются через ср.-нем. *reche*, а другой синоним — *rastrum* (Diefenbach, 485) — также переводится *reche*, но еще и *gritsele*. Таким образом, ср.-нем. лексемы *grütze*, н.-нем. *grütte* «песок» в результате контаминации приобрели ошибочное значение «решетка», а также «борона, грабли». В этом значении указанная лексема является мнимым словом, дожившим до наших дней и широко представленным в ряде германских языков. Ср. совр. нем. *Gatter*, *Gitter* «решетка», совр. англ. *grate*, *grid* «решетка» (в глоссах формы *gatter*, *geter*, *gegitter* варьируются, ср. также вариацию *a*, *e*, *i* в глоссах Дифенбаха: *sarra. serra. siren* — стр. 530, ср. также P. Lessiak, ZfdA, 53, стр. 111). В свете сказанного мнимыми следует признать и такие слова, как англ. *gad* «копье, остроконечный предмет» (ср. Diefenbach, стр. 512: *sarculus. gett-isarn*, *ged-*

[18] См.: A. van Windekens, Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes, I, Louvain, 1976, стр. 596—597.

isarn), нем. *jäten* «полоть» (ранее *gäten*, *geten*), нем. *Grat* «ребро, острый край», нем. *Gerte* «прут» (ср. контаминацию *sarculus* с *surculus*. *sproß riß*. *zwig* — Diefenbach, 568). Все эти «слова» в свою очередь контаминировались с лат. *crata*, которые в вульг.-лат. приобрело также значение «решетка». Интересно, что *gitter* в ср.-нем. могло также иметь значение «Zaun, Umfriedigung», т. е. именно те значения, которые имеют лат. *area* и его синонимы — *colonia*, *mansus*. Ср. совр. англ. диалектн. *grith* «a habitation, asylum, sanctuary», *grist* «размер, объем, обхват». Интересно, что контаминируется и синоним *arena—sabulum*, который переводится *arena*. *habitatio*. *wonung* (Diefenbach, 634). Лемма *arena* варьируется не только с *area*, но и с *arca*, *arc-uare*, которые переводятся ср.-нем. *krum* (*machen*), точно так же, как и *sarculus*. *krum*. Лемма *sabulum*, кроме того, варьируется с *sagulum* (Diefenbach, 506), которое, несомненно, контаминировалось не только с *sagena*, но и с *sagillum*, имевшим варианты *sargillum*, *sarculum* (Diefenbach, 507: *sagillum*, *sagulum*, *sargulum inst. fabri. ferreum. schurysern*. Ср. *traha i. verriculum*, *egt ł zugegarn ł asc hamo*, но *tragula genus teli*. Ср. также *verriculus*. *nauis piscatoris*. *zugigarn*. *zunecze*. *reche*. Интересен следующий средненемецкий hapax legomenon, калькирующий несвойственное немецкому значение латинской леммы и, следовательно, представляющий собой мнимое слово: *jederich* «mating of deer» (D. Dalby, Lexicon of mediaeval German hunt, 1968, s. v.). Ср. лат. *arena* «бой». Ср. др.-англ. *grētan* «attack; copulate». В свете этих данных приводимое Ван Виндекенсом тох. A *krāt* «provoquer, défier (?)» вряд ли можно признать соотносимым с указанным германским словом. Подобным же образом и англ. *look* нельзя соотнести с тох. A *läk* «to see», др.-корнийск. *lagat*, бретонск. *lagad* «eye», поскольку происхождение значения этого английского слова, видимо, связано с контаминацией латинских лемм *videre* (*videō*) и *viduare* (*viduo*), последняя из которых глоссировалась *lucan*.

Любопытна еще одна контаминация. Синоним *area* и *areola* — *mansus*, кроме *hoef*, *ein kauling*, *huene lants*, ошибочно глоссируется также *morgen* (видимо, в результате контаминации *areola* с *aurora*). Именно поэтому совр. англ. *dawn* «рассвет» не имеет, видимо, отношения к др.-англ. *dagian* и его следует признать мнимым: оно представляет собой лексему *awn* (<*wan*, *won*, *waning*, *woning*), слившуюся либо с осколком определенного артикля или другого слова, которое глоссатор не смог уместить в предыдущей строке, либо с подвижным формативом. Ср., с одной стороны, совр. англ. *awning* «навес», совр. англ. диалектн. *bawn* «enclosure for cattle», а с другой, англ. диалектн. awn «bristle of corn or grass».

16. Латинские леммы *sarra* (Diefenbach, 513), *serra*, чередующиеся с *siren* (Diefenbach, 530), переводятся через *saga*, *sege*. Это последнее слово, несомненно, контаминировалось с лат. *sagum*. *deck*. *duch*, *doch*, а также с *sagana*, *sagena*, которые, как и их синоним *tragula* (Diefenbach, 592), передавались *wade*, *watt*. В связи с этим и созвучная *sarra*, *serra*, *siren* лемма, а именно *sura* (Diefenbach, 568) стала, наряду с *diech*, *dyche* (ср. выше глоссу *duch*, *doch* к *sagum*), передаваться через *wade* [ср. вариант *sura* — *coura* (Diefenbach, 154), который передается *diche*, *deych*, *dihe*, а также *wade*]. Ср. замену *r* > *g* (и обратно) в глоссах: Diefenbach, 110 — *cerex*, *corex*, *ceges*, *sages*. Ср.-нем. *wade* «невод» в результате контаминации лат. лемм *sarra*, *serra*, *siren*, *sura* приобрело ошибочное значение «икра ноги».

17. Латинская лемма *descus*, *disca*, *desca*, *dusca* (Diefenbach, 185) передается ср.-нем. *pal*, которое, несомненно, контаминировалось с *pales* (*phales*). *i. domus pauperis*. *armes-haußе* (Diefenbach, 223); ср. *fala*. *domus ubi imagines venduntur*. *porta civitatis* (Diefenbach, 223). Ср. франц. заимствование discus>dais «ouvrage en bois ou tenture dressés au-dessus d'un autel, d'un trône; petite voûte abritant les statues des portails» (Lexis.

Larousse de la langue française», 1977, стр. 465). Ср. также *pallacium. vorhange*; *palatium. vortuch an eim altar* (Diefenbach, 407). С другой стороны, *pal* контаминировалось с *pales* (*pallex*, *fallax*, *pellex*) *i.adulter* (Diefenbach, 407). Приведенные факты, видимо, дают возможность объяснить происхождение совр. англ. *pal* «парень, товарищ» (ранее «сорванец, негодяй»). Ср. *palluca. balg. kebsweib* (Diefenbach, s. v.). Интересно, что *discus* передается через *motzen*, *mutz*, а синоним *pellex* — *meretrix* (Diefenbach, 357) — также переводится через *metz*. Показательна также контаминация *palatium* (*palacium*) *herren hus. pun. saal* с *fallacium* (Diefenbach, 406). Интересно, что *palacium* уравнивается с *solarium*, а последнее с *solacium*, в связи с чем следует обратить внимание на глоссу *solacis. unkeuschiger* (Diefenbach, 540). Так лат. *discus*, *dusca* (и его германская форма *tisch*) приобрело значение *fallax. trugenhaftig. betruglich* (Diefenbach, 224), в связи с чем возникло мнимое нем. *täuschen* (ср. *fallere. tuschen* — Diefenbach, 224). Ср. совр. англ. сленг *dish* «to ruin, to cheat». Ср., с другой стороны, глоссу *palix. motus. bewegung* (Diefenbach, 406) и современное немецкое мнимое слово *tauschen*. Интересно, что *discus* в глоссах уравнивается с *mappa*, а последнее с *matta*, синонимом которого является *tega* (Diefenbach, 351). Лемма же *tega*, *tegella*, безусловно, контаминировалась с *teges*, *tegena. hurnhauß* и *tegna*, *tegnula. untruwe*, *betrug*, *loeßheit* (Diefenbach, 575). Несомненна контаминация лемм *scropha*, *scrophus. sweyn lose. loß* и *scrupus* (*scropulus*). *losus. grien. zwyfel. argwon* (Diefenbach, 521), ср. scropha, scrophula. wider-gend, особенно если учесть, что синонимичное последнему *fallax*, контаминируемое с discus, также глоссируется *loeß*. Ср. в этой связи, с одной стороны, *discus. wurfel. bolis*, а с другой — *ballire. zwifeln* (Diefenbach, 67). Кроме того, не подлежит сомнению и контаминация *verres. eber* (Diefenbach, 613), с одной стороны, и *verox. lesterlicher schalck o. sunder*. Отметим, что в средневековой латыни синоним *verres* — *porcus* означал не только «свинья», но и «vagina», «pellex». Так возникло мнимое нем. диалектн. *Tausch* «свинья» (ср. *scropha. tausch*).

18. Др.-в.-нем. *truhting*, *truhtinc* глоссируется через *sodalis*, *sponsalis*, *paranymphus*, синоним которых *amiculus* (от *amicus*) безусловно контаминировался с *amiculum* (от *amicio*). Именно этим можно объяснить возникновение семантически мнимого слова в средневерхненемецком: *druch*, *drauch*, *trauch* «a snare, a trap, a noose» (D. Dalby, Lexicon of mediaeval German hunt, 1968, стр. 45). Ср. Ahd. Gl. III, 276: *decipula. ualla druch*; *laqueus. ualla druch*. Ср. нем. *Schlinge* «западня» (из др.-в.-нем. *slingan* «to wind, to entwine»).

Диалектика пронизывает все ярусы и все уровни языка, является не только основным принципом его структурной организации и движущей силой его развития, но одновременно и объективным критерием исследования языка, вне которого его природа, сущность и закономерности неизменно упрощаются или искажаются. Такие типичные ошибки конкретного языкового анализа, как сопоставление несопоставимых элементов и явлений и отделение друг от друга непосредственно связанных феноменов, смешение порядковости и иерархии сопоставляемых единиц и игнорирование промежуточных звеньев, рассмотрение единого в качестве отдельного, а отдельного как единого [19], можно преодолеть только в том случае, если принимать во внимание объективные диалектические связи в языке и, в частности, один из важнейших принципов диалектики, который гласит: «Неверно, будто конечное просто нейтрализует („neutralisiert") бесконечное и *vice versa*. На деле мы имеем *процесс*» [20].

[19] См.: R. Jakobson, Parts and wholes in language, «Parts and wholes», New York 1963; L. Jost, Sprache als Werk und wirkende Kraft, Bern, 1960.

[20] См.: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 182.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

КОНОНЕНКО В. И.

К СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ СИНТАКСИСА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Традиционным для отечественного языкознания является параллельное изучение синтаксического строя восточнославянских языков (русского, украинского и белорусского) либо в сравнительно-историческом, либо в синхронно-сопоставительном аспекте; описание синтаксиса одного из близкородственных языков обычно сопровождается более или менее обширными экскурсами в область двух других языков, позволяющими идентифицировать и специфицировать факты каждого языка [1]. С научной проблематикой сравнительно-сопоставительных исследований сближаются теории межъязыковых контактов, взаимодействия синтаксических систем близкородственных языков в процессе их развития и функционирования в условиях национально-русского билингвизма [2]. Сопоставительная характеристика синтаксиса современных восточнославянских языков прочно опирается на сравнительно-исторические изыскания, устанавливающие генетическую общность грамматического строя трех языков [3], их практически непрерывные связи, преобладание черт сходства над чертами дифференциации на всех этапах развития [4]; этот вывод опирается на известное положение о незначительных различиях в структуре предложения индоевропейских языков в целом и славянских в частности, хотя и подверженной изменениям, однако сохраняющей в течение длительного периода общую основу [5]. Применительно к современному состоянию восточнославянских языков исследователи констатируют общность их синтаксических систем в структурной организации словосочетания, в строении простого и сложного предложения, в способах выражения предикативного ядра и его распространения, отмечая в то же время наличие в синтаксисе каждого языка отличительных признаков [6].

Сопоставительное изучение синтаксиса близкородственных языков отличается от исследований языков неродственных и даже отдаленно родственных [7], поскольку значительное сходство синтаксических систем предполагает установление многих общих черт и определение идиоматиз-

---

[1] Ср. работы А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, П. И. Житецкого, Е. Ф. Карского, а также В. В. Виноградова, Л. А. Булаховского, В. И. Борковского, Т. П. Ломтева, А. С. Мельничука, А. Н. Стеценко и др.

[2] См. подробнее в кн.: «Русский язык как средство межнационального общения», М., 1977.

[3] См. Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972.

[4] См., например: В. И. Борковский, Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения, М., 1968, стр. 13.

[5] А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 380, а также: О. С. Мельничук, Розвиток структури слов'янського речення, Київ, 1966.

[6] См.: «Очерки по сравнительной грамматике восточнославянских языков», Одесса, 1958; М. Я. Брицин, М. А. Жовтобрюх, А. В. Майборода, «Порівняльна граматика української і російської мов, Київ, 1978.

[7] См.: «Типология сходств и различий близкородственных языков», Кишинев, 1975.

мов, носящих подчас малозаметный характер, проявляющихся, например, в различной активности (частотности) языкового факта, тонкостях синонимических параллелей, стилистических наслоениях и т. д. Нельзя не учитывать и особенностей параллельного рассмотрения трех языков, осложняющих методику исследования; уже сама возможность сближения в одних случаях синтаксических явлений трех языков, в других — только двух, в третьих — отсутствие совпадающих структур, а также наложения различных семантико-стилистических коннотаций предопределяет получение достаточно разнородных результатов сопоставления. В этих условиях затрудняется и выделение одного из языков в качестве основы сопоставления; характер языкового материала иногда требует установления соответствий между явлениями только двух языков; для квалификации дифференциальных признаков одного из языков необходимо выдвижение его на исходные позиции сопоставления; вместе с тем изменение направления анализа в том или ином конкретном случае не подрывает общих принципов односторонности сопоставления [8]. Чаще избирается ориентация от русского к другим восточнославянским языкам, что не исключает, однако, и исследований в другом направлении.

Синтаксический строй современных восточнославянских языков чаще находит единое или сходное выражение в структурных схемах словосочетаний и предложений; проявляющиеся здесь отличия носят наиболее существенный структурный характер и связаны с изменением типологических признаков предложения и словосочетания; количество таких расхождений списочно ограничено. Несовпадение структурных схем можно наблюдать, например, при сопоставлении соотносительных личных предложений со сказуемым — кратким страдательным причастием в литературном русском и белорусском языках и безличных предложений с формами на *-ено*, *-но*, *-то* и зависимым именным словом в винительном падеже в украинском языке (ср.: русск. *Работа выполнена*, *Меры приняты*, белорусск. *Работа выканана*, *Меры прыняты* и укр. *Роботу виконано*, *Заходи вжито*); в случаях использования в русском литературном языке родительного атрибутивного, в украинском и белорусском — притяжательного прилагательного в атрибутивной функции [ср.: русск. *пиджак отца* (*отцовский пиджак*, устар. *отцов пиджак*), *слова инженера*, укр. *батьків піджак* (*батьківський піджак*, *піджак батька*), *інженерові слова* (*слова інженера*), белорусск. *бацькаў пінжак* (*пінжак бацька*), *інжынеравы словы* (*словы інжынера*)].

Дифференциальные синтаксические показатели значительно шире и многообразнее проявляются в поверхностных конкретных реализациях и модификациях структурных схем словосочетания и предложения; выступающие здесь расхождения отражают различия не в характере синтаксических отношений, а в их грамматическом оформлении. Различительные черты активнее обнаруживаются в реализациях словосочетания как единицы, менее абстрактной по своим семантико-синтаксическим свойствам, прочнее связанной с категориальными признаками входящих в него компонентов; ср. словосочетания трех языков с различными падежными и предложно-падежными формами, например, русск. *упрекать брата*, *шутить над товарищем*, *улыбаться от радости*, укр. *докоряти братові*, *жартувати з товариша* (редко *над товаришем*), *посміхатися з радості* (*від радості*), белорусск. *упікаць* (*дакараць*) *брата*, *жартаваць з таварыша*, *усміхацца з радасці*. На предложенческом уровне эти различия

[8] См.: Э. Хауген, Проблемы двуязычного описания, в кн.: «Новое в лингвистике», VI, М., 1972, А. К. Рейцак, О сопоставительном исследовании языков, «Уч. зап. Тартуского ун-та», 106, 1965 («Труды по русской и славянской филологии, VII, Серия лингвистическая»), Тарту, 1965.

проявляются, например, при грамматическом выражении косвенного вопроса; в русском языке он оформляется при наличии союза *ли*, находящегося в интерпозиции, в украинском и белорусском языках — при помощи союза *чи/ці*, стоящего в препозиции: русск. *Я ходила советоваться, нельзя ли все-таки уехать с тобой* (К. Симонов); укр. *А тепер же скажіть, чи я жив за глухою стіною?* (А. Малышко); белорусск. *Тады Акцызнік сказаў, што падумае, ці варта звязвацца з лясніцтвам* (И. Пташников). Несущественные в абстрактно-структурном плане расхождения носят вместе с тем релевантный характер, поскольку охватывают значительное число соотносительных синтаксических построений трех языков, сближающихся своими типологическими признаками.

Абстрактные (собственно синтаксические) семантические структуры предложения и словосочетания в восточнославянских языках в целом совпадают; но в конкретных проявлениях соотносительных семантических отношений обнаруживаются различия, обычно квалифицируемые как оттеночные (если общесемантический план синтаксической конструкции представить в виде набора сем, то несовпадение семантических отношений будет проходить по линии одной или нескольких сем); ср., например, различительные семантические моменты в русских сочетаниях с родительным атрибутивным и в украинских и белорусских сочетаниях с притяжательным прилагательным.

Более подвижна и изменчива в каждом языке сфера употребления синтаксических конструкций, выражения стилистических, модально-субъективных и эмоционально-экспрессивных коннотаций; дифференциация здесь не столь заметна, однако представлена достаточно широко; вместе с тем обнаруживаются многочисленные соответствия и параллелизм стилистических характеристик, тем более вероятные, что в выработке стилистических норм три близкородственных языка нередко шли одинаковыми путями при ведущей роли в этих процессах русского языка. При этом близкие в формально-синтаксическом плане конструкции могут расходиться в стилистическом отношении, и наоборот, стилистически однородные явления — расходиться по грамматическому выражению; ср. русское разговорное сочетание *говорить про это*: *Про то, про это говорю* (В. Маяковский), стилистически немаркированные сочетания украинского и белорусского языков *говорити про це*, *гаварыць пра гэта*; ср. также русское просторечное *говорить за него*: *Это наш Пронин, а старший лейтенант за соседа спрашивает* (К. Симонов) и украинское нормативное *говорити за нього*; с другой стороны, русским и белорусским межстилевым сочетаниям *говорить об этом*, *гаварыць аб гэтым* формально соответствует украинское разговорное сочетание с предлогом *о* (*об*): *Сй, окрім них, об чім поговорити* (А. Головко) [9].

Сопоставительный синтаксис не может игнорировать и функционально-стилистический аспект (если под последним понимать изучение закономерностей функционирования языка в разных видах речи и структуры функциональных стилей [10]). Сопоставление того или иного синтаксического явления восточнославянских языков применительно к сфере функционирования предполагает учет его возможного закрепления за определенными функциональными разновидностями, совпадения или расхождения сферы употребления в разных языках. Такой подход к квалификации как стилистически маркированных, так и немаркированных фактов

[9] Исследователи белорусского языка отмечают падение частотности предлога *аб*, постепенно уступающего место предлогу *пра*, см.: П. П. Шуба, Прыназоўнік у беларускай мове, Мінск, 1971, стр. 169—170.

[10] См.: М. М. Кожина, До основ функціональної стилістики, в кн.: «Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики», Київ, 1972, стр. 24—25.

оправдан, во-первых, в связи с неоднородным стилевым распределением соотносительных синтаксических элементов в пределах каждого языка, во-вторых, в связи с параллелизмом основных процессов дальнейшего развития функциональных стилей восточнославянских языков [11].

Таким образом, различительные признаки соотносительных синтаксических рядов восточнославянских языков находят неодинаковое выражение: одни из них проявляются в собственно синтаксическом, формальном плане, что позволяет выделить собственно синтаксические дифференциальные признаки; другие — в общесемантическом и синтаксико-семантическом плане (семантические дифференциальные признаки); третьи — в коннотативно-стилистическом, функциональном плане (стилистические дифференциальные признаки). Однако зачастую структурные отличия сопровождаются дополнительными семантико-стилистическими моментами, и потому типология дифференциальных признаков не является устойчивой; важным представляется ориентация на многоаспектный, комплексный характер языковой дифференциации вообще, синтаксических систем в частности.

Фиксация различительных признаков в синтаксическом строе восточнославянских языков недостаточна без установления факторов, обусловливающих эту специфику; выделяются причины историко-лингвистического порядка, объясняющие изменения грамматических средств в период раздельного существования русского, украинского и белорусского языков, и причины, объясняющие расхождения в синтаксических связях с позиций современного состояния каждого языка. В синхронном плане дифференциация синтаксических признаков может быть ориентирована на собственно синтаксические факторы, например, интерпретирована в терминах теории синтаксической валентности, но более полным представляется анализ, учитывающий и межуровневое взаимодействие, в частности, принимающий во внимание воздействие на сочетаемость лексического наполнения компонентов, устойчивости, степени фразеологичности сочетания, словообразовательных и морфологических показателей. По нашим материалам, например, преобладающее число глагольных словосочетаний имеет общую синтаксическую форму, если в трех (или двух) языках выступают одинаковые (с учетом огласовки) глагольные префиксы, предопределяющие звуковой облик предлогов; ср.: русск. *отойти от дома*, *съехать с горы*, *долететь до аэродрома*, *наступить на цветок*, *заступиться за друга*, укр. *відійти* (*одійти*) *від* (*од*) *дому*, *з"їхати з гори*, *долетіти до аеродрому*, *наступити на квітку*, *заступитися за друга*, белорусск. *адысці ад дома*, *з'ехаць з гары*, *даляцець да аэрадрома*, *увайсці ў пад'езд*, *наступіць на кветку*, *заступіцца за друга*; если совпадающий префикс глагола предопределяет не звуковой облик, а значение предлога, т. е. если предлоги разных языков не совпадают по звучанию, управление далеко не обязательно получает одинаковое формальное выражение; ср.: русск. *очиститься от грязи*, *выехать из города*, *перейти через Карпаты*, укр. *очиститися від* (*од*) *грязі* (*бруду*), *виїхати з міста*, *перейти через Карпати*, белорусск. *ачысціцца ад гразі*, *выехаць з горада*, *перайсці цераз Карпаты*, но соответственно — *прислушаться к пению*, *прислухатися до співу*, *прыслухацца да спеву*; при различных соотношениях префикса и предлога в разных языках синтаксические формы чаще не совпадают; ср.:

---

[11] О воздействии синтаксиса русского литературного языка на развитие функциональных стилей украинского языка см.: Л. А. Булаховский, Українська мова серед інших слов"янських, «Українська література», 1942, 5—6, стр. 253; И. К. Белодед, Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе, М., 1972, стр. 178.

русск. *прикоснуться к нему*, укр. *доторкнутися до нього*, белорусск. *дакрануцца да яго*.

Сопоставление синтаксических систем трех языков в абстрактно-схематическом виде не требует обязательного обращения к лексическому наполнению словосочетаний и предложений, хотя и предполагает известную связь между лексической и структурно-семантической организацией отдельных высказываний. Идентификация конкретных структурно-синтаксических и семантических отношений в словосочетаниях и предложениях восточнославянских языков обычно осуществляется в условиях сопоставления высказываний, включающих однородный в лексико-семантическом плане материал, что объясняется, во-первых, необходимостью соблюдения условий максимального приближения семантических структур с учетом конкретного лексического наполнения компонентов, во-вторых, необходимостью избежать или ограничить воздействие лексического сопровождения на синтаксическую организацию текста. Наблюдения показывают, что даже в семантически соотносительных словосочетаниях трех языков совпадение/расхождение лексемной основы одного или обоих компонентов (естественно, с коррекцией, вызванной фонематическими особенностями каждого языка) сказывается на средствах грамматической связи. Сближающиеся лексемные основы главенствующего слова содержат потенциальную возможность появления однотипной зависимости, и наоборот, мена лексемной основы стержневого компонента нередко предопределяет смещения в оформлении грамматических отношений; ср. неодинаковую форму управления: русск. *извинять* (кого), *благодарить* (кого), *ожидать* (кого), укр. *вибачати* (кому), *дякувати* (кому), *чекати* (на кого) и белорусск. *прабачаць* (каму), *дзякаваць* (каму), *чакаць* (каго), хотя, естественно, при воздействии других факторов форма управления может изменяться; ср. у одноосновных глаголов: русск. *смеяться* (над кем, чем), *скучать* (по кому,чему), укр. *сміятися* (з кого, чого), *скучати* (за ким, чим) , белорусск. *смяяцца* (з каго, чаго) и при отличающейся основе: *нудзіцца* (за кім, чым).

В силу самой специфики близкородственных языков, различающихся подчас тонкостями структурно-семантических характеристик, предметом сопоставительного изучения синтаксиса являются не столько отдельные конструкции в их структурном и семантико-функциональном аспектах, сколько синтаксические средства в их системной организации, парадигматических и синтагматических связях. В этом плане представляется перспективным анализ целостных синтаксических рядов (если под ними понимать наборы семантически и функционально соотносительных конструкций [12]), предполагающий выделение в каждом языке относительно законченных рядов с установленным характером внутрирядовых отношений и сопоставление соответствующих рядов в трех языках; при этом определяются совпадение и несовпадение длины ряда, распределение его компонентов, их общие и отличительные моменты и т. д. Высокая ступень родства восточнославянских языков вызывает возрастание количества близких в структурно-семантическом отношении членов синтаксических рядов и тем самым совпадение большей или меньшей части таких рядов, вплоть до их полного взаимного наложения. Вместе с тем подобные параллели требуют основательного изучения с точки зрения нормативности и узуально-

[12] См.: Н. Ю. Шведова, О понятии синтаксического ряда, в кн.: «Историко-филологические исследования», М., 1967; Н. Н. Егорова, Позиционные эквиваленты слова в составе предложения (к изучению вариативных синтаксических рядов), в сб.: «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967; Н. С. Власова, Предложно-падежные сочетания и придаточные предложения как члены вариативного синтаксического ряда (на материале предложно-падежных сочетаний с предлогом *при*). КД, М., 1973.

сти различных вариантов, отличий в их дистрибутивных свойствах, проверки употребительности и частотности, особенно при возможности выбора из нескольких соотносительных конструкций. Нередко именно структурно отличное синтаксическое построение избирается либо в силу его применения в данных лексико-фразеологических условиях, либо в силу стилистической маркированности, и потому установление наиболее близкой конструкции другого языка бывает затруднительным и идентификация сходств и различий становится возможной только на уровне всего ряда.

В качестве примера можно сопоставить два семантически и функционально близких синтаксических ряда — со сравнительным оборотом и компаративом. Модели конструкций сравнения в трех языках в основном совпадают, причем параллельные формы, как правило, имеют единые семантико-стилистические параметры, характеризуются общими условиями функционирования. В русском, украинском и белорусском языках объект сравнения выступает в сочетании с разнообразными сравнительными союзами, в предложно-падежной, падежной или наречной форме, хотя набор представленных в каждом языке грамматических средств совпадает только частично. Ср. построения со сравнительными союзами: русск. *как*, *будто*, *словно*, *точно*, *как будто*, *что* и др., укр. *як*, *мов*, *немов*, *наче*, *неначе*, *ніби* и др., белорусск. *як*, *нібы*, *бы*, *як бы*, *быццам*, *нібыта* и др. [русск. *Где-то невдалеке бился на высокой ноте звонок, глухо и отчаянно, как пойманная птица* (Л. Леонов); *Пролетают неслышно над ней, словно легкие птицы, лета* (А. Твардовский); *Скалы заплавали, точно рыбы* (Н. Тихонов); *Там, в лесу, когда умчались тучи и раскаты грома отзвучали, будто бы обугленные сучья, молнии остывшие торчали* (Л. Мартынов); укр. *А сам уже лежав, припавши до землі, як осінній лист* (О. Гончар); *Метелик ранній пролетів бездумно, немов листок сухий, зненацька сів на яблуньку...* (М. Рыльский); *Навколо, неначе гуси, біліють хати* (М. Стельмах); *Другий, поранений у ногу, прожогом, ніби куля, біг* (М. Терещенко); белорусск. *Рака была цёмная — блішчэла здалёку холадам, як сталь* (И. Пташников); *Упала вестка перамогі, нібы раптоўны першы гром* (П. Глебка); *Але зірнуў толькі раз, ды як скочыць, бы заяц, у другі бок, у кусты да нізінкі, праз голле, цераз карчы — у лес* (В. Быков); *...І клубіў чорны дым, быццам рой кажаноў ашалелых* (М. Танк)]; с предлогами сравнительного значения: русск. *подобно*, *наподобие*, *вроде*, *на манер*, *в виде* и др., укр. *подібно*, *подібно до*, *на манер*, *у вигляді* и др., белорусск. *накшталт*, *на манер*, *на ўзор*, *з* и др. [русск. *В ту же минуту Агей внес почти игрушечный самоваришко, держа его в растопыренных пальцах, наподобие гармошки* (Л. Леонов); *Не следя за самолетной тенью, что неслась по тучкам в виде птички, машинально, по обыкновенью, женщина летела по привычке* (Л. Мартынов); укр. *Подібно до брата, він любить рідне село* (А. Довженко); белорусск. *Завішнюку нагадалася, што ён, гэты чалавек, адным махам ссякае на лініі сасонку таўшчынёй з добрую жэрдку* (И. Пташников)]; с творительным сравнения: русск. *Истребители вертелись угрями* (К. Паустовский); укр. *Після Денисенка джмелем загудів Данило Заятчук* (М. Стельмах); белорусск. *На кустах блішчыць шкляным шротам раса* (З. Бядуля); с наречным образованием: русск. *На покривившемся стогу уныло, по-сиротски, примостилась ворона и молчала* (А. Фадеев); укр. *В чоловіка якось одразу по-гусячи зів"яла голова* (М. Стельмах); белорусск. *Карыя вочы па-сяброўску, весела ўсміхаліся* (И. Мележ) [13].

[13] См.: Н. А. Широкова, Типы синтаксических конструкций с сравнительным союзом в составе простого предложения, Казань, 1960; В. И. Кононенко, Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке, Киев, 1970; М. И. Черемисина, Некоторые вопросы синтаксиса. Сравнительные конструкции современного русского языка, Новосибирск, 1971; І. К. Кучеренко, Порів-

Конструкции с компаративом составляют в трех языках синтаксические ряды, неодинаковые по количеству представленных в них членов, их грамматическому оформлению, распределению в границах ряда, условиям функционирования. Зависимый компонент присоединяется к компаративу в русском языке при помощи союза *чем* (реже *нежели*, *как*) и родительного сравнения; в украинском языке — при помощи союза *ніж* (реже *як*, *чим*), предлогов *за*, *від* (*од*), *над*, *проти* и реже — родительного сравнения; в белорусском языке — при помощи союза *чым* (иногда *чымся*), предлогов *за*, реже — *ад*, *над*, *проці* (*супраць*, *напроціў*), родительного сравнения. Например: русск. *Что может быть на свете проще, чем небо*? (Е. Винокуров); *Все ж таки жизнь куда лучше, как смерть* (С. Залыгин); *Он был старше и крепче Владика* (А. Гайдар); укр. *І проте його слухали всі, його накази виконувались не гірше, ніж накази командира полку* (О. Гончар); *Кращої пари, як Ольга, в світі не знайдеш* (М. Стельмах); *Здається, на світі миліш немає, чим наше подвір"я, стара яворина* (А. Малышко); *Він висох, звичайно, поменшав, став помітно нижчий за сина* (А. Довженко); *Інга молодша від нього, війни не пам"ятала, та й жила десь далеко від фронту* (Ю. Збанацький); *У дружбі він свої чуття гартує, у нім сильніше «наше» над моє* (И. Муратов); *Все ж таки це було вище проти всіх на цілу голову* (Ю. Смолич); *Я знаю силу слова — воно гостріш штика і швидше навіть кулі, не тільки літака* (В. Сосюра); белорусск. *Гэта яго чамусьці ўразіла больш, чым уся размова* (И. Шамякин); *Мне баліць не менш, як табе* (К. Крапива); *Твае дзеці не горшыя за іншых* (И. Шамякин); *Стаяў ён* (двор) *высока на гары, вышэй усіх вёсак паблізу* (И. Пташников) [14]. Вместе с тем факт несовпадения данных рядов не снимает основного противопоставления союзных и бессоюзных образований и не вызывает значительной дифференциации семантико-стилистических структур.

Нельзя не учитывать, что каждый из трех восточнославянских языков представляет собой не застывшую и однородную совокупность определенных параметров, а живое динамическое явление, причем многие процессы и тенденции, характерные для синхронного среза одного языка, связаны с аналогичными процессами и тенденциями двух других языков, иногда происходят с одинаковой, иногда — с различной степенью активности в разных языках, нередко обусловлены воздействием одного из языков, прежде всего русского, на другие и т. д. Отсюда сопоставительно-синтаксическое исследование современного русского, украинского и белорусского языков сталкивается с проблемой разграничения общеупотребительных, литературно отработанных элементов, носящих нормативный характер, и элементов пассивного использования, функционально ограниченных, инновационных, архаических, диалектных, профессиональных и под. Естественно, достоверные результаты сопоставительного анализа базируются на материале преимущественно общелитературного языка, кодифицированных норм в силу того, что именно они с наибольшей полнотой манифестируют современное состояние, прогрессивные тенденции в развитии языка, а также в связи с необходимостью обеспечить системный подход к сопоставлению, предполагающий рассмотрение явлений, находящихся главным образом в центре языковой системы, и в меньшей мере — привлечение фактов периферийной области. Вместе с тем изучение явлений периферий-

---

няльні конструкції мови в світлі граматики, Київ, 1959; В. И. Рабкевич, Сравнительные конструкции в языке белорусской художественной литературы (структурно-грамматический анализ). АКД, Минск, 1973.

[14] См.: И. С. Козырев, Из истории развития предлогов при форме сравнительной степени в белорусском и русском языках, ВЯ, 1972, 2; В. І. Кононенко, Синоніміка конструкцій із сполучником *ніж*, «Українська мова і література в школі», 1969, 5.

ного плана отражает динамико-статический подход к современному состоянию языка, позволяющий обнаружить движение языковой системы, и в частности, такой малоподвижной сферы, как синтаксис, установить прогрессивное и отживающее в языке, проследить влияние экстралингвистических, социальных факторов развития. Различного рода инновационные, архаические и другие особенности синтаксиса каждого языка принимаются во внимание с позиций их схождения и расхождения с соотносительными фактами других языков в их общенародном или ограниченном употреблении. Такие факты требуют тщательного отбора, обязательного учета их частотности, сферы распространения, стилистической маркированности, прогрессивности с точки зрения перспектив развития, что в конце концов и определяет возможность или невозможность их привлечения в качестве материала сопоставления.

Известно, например, что в последний период в трех языках активно развиваются конструкции с производными предлогами; хотя для создания таких предлогов привлекаются внутренние ресурсы каждого языка (именные лексемы, утрачивающие семантическое наполнение, и непроизводные предлоги), их деривационная структура в трех (реже в двух) языках обычно совпадает; образование новых предложных сочетаний ведет к увеличению в каждом языке числа вариантных форм, т. е. к расширению синтаксических рядов, изменению внутрирядовых связей, позволяет в большей мере дифференцировать синтаксические отношения; учет подобных построений при сопоставлении оправдан и целесообразен; ср.: русск. *приехать по линии профсоюза*, *работать в области строительства*, *радоваться по случаю встречи*, укр. *приїхати по лінії профспілки*, *працювати в галузі будівництва*, *радіти з нагоди зустрічі*, белорусск. *прыехаць па лініі прафсаюза*, *працаваць у галіне будаўніцтва*, *радавацца з выпадку сустрэчы*. В сопоставительных целях могут быть полезными и сопоставления другого характера, например, устаревающих конструкций одного языка с общеупотребительной нормой другого языка. Так, русские конструкции с предлогом *к* и дательным падежом имени в пространственном значении соотносятся с украинскими и белорусскими сочетаниями с предлогом *до/да* и родительным имени: русск. *прийти к нему*, укр. *прийти до нього*, белорусск. *прыйсці да яго*; однако в украинских фольклорных или стилизованных текстах может использоваться и параллель с предлогом *к*, сближающаяся с русским общелитературным употреблением: *Кожі Микита м"яв — прийшли к ньому люди*, *прийшли в сльозах к ньому люди* (П. Тычина) [15]. Вместе с тем часть материала, почерпнутого из художественной литературы, не используется в сопоставительных исследованиях. Если, к примеру, некоторые украинские авторы прибегали к синтаксическим архаизмам, не свойственным литературному употреблению нашего времени или искусственно созданным, имитирующим устаревшие или диалектные формы, типа *вийшла дівчина з глеком на воду*; *тепло вдарило мені до голови*; *мене тягло до зірок*, *що йшли йому* (месяцу) *у тропі* и под.[16], то вряд ли подобные построения будут полезными в плане определения

[15] А. С. Мельничук, ссылаясь на фольклорные записи и на современную диалектную речь (прежде всего западные и северные говоры), считает замещение предлога *к* предлогом *до* в украинском языке окончательно не законченным (О. С. Мельничук, Історичний розвиток функцій і складу прийменників в українській мові, в сб.: «Слов''янське мовознавство», 3, Київ, 1964, стр. 141); ср. сохранение предлога *к* в фразеологизмах типа *іти к чорту*, *іти к бісу*: *А, ну його к лихій годині!* (А. Довженко).

[16] См.: И. К. Белодед, Язык и идеологическая борьба, Киев, 1977, стр. 41. О проявлениях искусственной архаизации белорусского языка см.: А. И. Журавский, О некоторых различиях между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка, ВЯ, 1973, 3.

структуры современного украинского языка, его дифференциальных примет.

Сопоставительное изучение синтаксиса не может игнорировать и факты окказионального, выходящего за пределы стандартного употребления, различного рода отклонений, индивидуально-авторских новшеств и т. д. в той мере, в какой они принадлежат к общей системе, в какой и на них распространяются основные закономерности функционирования языковых (речевых) единиц, в какой они отвечают современным тенденциям развития. Объясняя возникновение подобных образований, Ф. П. Филин помещает их в границы языковой системы: «Каждый естественный язык развивается не по строгим и непротиворечивым логико-математическим программам, а стихийно на протяжении многих столетий, тысячелетий, в каждый момент своей истории испытывая воздействие со стороны разного рода общественных факторов, представляя собой традиционную, полученную в наследство систему со всякими противоречиями, непоследовательностями, отклонениями от стандартов, „избыточностями" и т. д. и т.п.»[17]. Ср., например, необычное, хотя и отвечающее «духу» русского языка управление у В. Маяковского: *Зелень и ласки выходили глазки. Больше блюдца, смотрят революцию* (допустимо, однако, *смотреть спектакль, наблюдать революцию*) и сохранение окказиональности этого сочетания при переводе на украинский язык: *Ласка і листочки врятували очка. Більші за блюдця, дивляться революцію* (перевод Л. Дмитерко).

Определенного отбора и дифференциации требует и материал устной разговорной речи, все более широко и многопланово используемый в сопоставительных исследованиях восточнославянских языков, в том числе на синтаксическом уровне [18]. Неоднородный характер записей устной речи обусловливается, во-первых, естественным присутствием в ней просторечных, диалектных, профессиональных и иных наслоений, во-вторых, возможным интерферирующим воздействием другого языка, особенно в условиях близкородственного билингвизма. Если русская разговорная речь неосновного ареала распространения (например, русская речь на Украине, в Белоруссии) обычно не используется как материал для сопоставления близкородственных языков, то украинская и белорусская разговорная речь, используемая при сопоставлении, в той или иной степени может испытывать на себе воздействие русского языка; в пограничных областях украинские и белорусские элементы присутствуют и в русской разговорной речи. Применительно к синтаксису, например, значительные смещения, вызванные интерференцией, наблюдаются в области предложного управления. Отсюда введение в один из сопоставляемых языков элементов другого языка (скажем, в русскую художественную речь некоторых грамматических украинизмов с целью создания национально-языкового колорита [19]), оправданное в конкретных условиях употребления, остается за пределами нормы и может рассматриваться только как окказиональное, вызванное билингвизмом и интерференцией. Однако, в тех случаях, когда заимствованный или активизированный под воздействием другого языка структурный элемент приобретает узуальный характер, вступает в системные связи с другими компонентами в парадигматическом плане, его вовлечение в сопоставительные параллели становится необходимым, особенно при изучении структурно-типологической общности восточнославянских

---

[17] Ф. П. Филин, Проблема социальной обусловленности языка, в сб.: «Язык и общество. Тезисы докладов», М., 1966, стр. 5.

[18] См., например, сб. «Сопоставительное исследование русского и украинского языков», Киев, 1975.

[19] См. подробнее в кн.: «Культура русской речи на Украине», Киев, 1976; «Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР», Киев, 1976.

языков, характеристике процессов их современного развития. Например, под воздействием русского языка в официально-деловом, научном, частично в публицистическом стилях украинского и белорусского языков активизировались субстантивные сочетания с предлогом *по* для обозначения общего значения направленности, касательства; ср.: русск. *план по реализации*, укр. *план по реалізації*, белорусск. *план па рэалізацыі*, русск. *бригада по ремонту*, укр. *бригада по ремонту*, белорусск. *брыгада па рамонту*; в свою очередь, в русский язык проникают украинские формы с предлогами *с* и *на* для обозначения места рождения или прибытия (*приехать с Украины*, *на Полтавщину*) [20] и под. Такого рода явления, получившие достаточно широкое распространение в речевой практике, зафиксированные в лексикографических разработках и научных публикациях, вводятся в сопоставительные парадигмы параллельно с исконными формами, однако с учетом того, что использование заимствованных элементов для расширения сферы синонимических средств обычно происходит в эмоционально-экспрессивной модификации и закрепляется за определенными функциональными областями.

Задачи создания научного курса сопоставительной грамматики восточнославянских языков требуют дальнейшей разработки принципов и приемов лингвистического анализа, конкретных исследований отдельных участков грамматической системы каждого языка с широким привлечением материала других близкородственных языков.

---

[20] См. об этом: И. К. Белодед, Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе, стр. 179; Г. П. Їжакевич, Українсько-російські мовні зв''язки радянського часу, Київ, 1969, стр. 243; П. П. Шуба, указ. соч., стр. 224.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

АСФАНДИЯРОВ И. У.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩИХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХ РАЗНОСИСТЕМНЫХ КОНТАКТИРУЮЩИХ ЯЗЫКОВ

Русский язык, являясь равным среди других языков нашей страны, занимает особое положение как язык межнационального общения народов СССР. В связи с этим общественные функции русского языка в нашей стране многообразны. Это отмечается в Программе, а также в специальных исследованиях, посвященных роли русского языка в социально-политическом, экономическом и культурном развитии народов в условиях нашей многонациональной страны. «Быстрый рост межнациональных связей и сотрудничества,— отмечает Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев,— ведет к повышению значения русского языка, который стал языком взаимного общения всех наций и народностей Советского Союза» [1].

Наряду с родным языком, в национальных республиках и областях во всех сферах общественной, производственной, культурной деятельности функционирует русский. Во-первых, это объясняется тем, что состав всех республик многонационален. Так, например, в Узбекистане живут и трудятся представители свыше 100 наций и народностей СССР. Во-вторых, русский язык, как правило, в национальных республиках является первоисточником в области массовой, учебной и научной информации, в распространении достижений в сфере материальных и духовных ценностей и т. п. Таким образом, значительная часть отечественной и зарубежной информации во всех областях человеческой деятельности в нашей стране в силу сложившихся исторических условий сначала дается на русском языке, а затем на национальных языках. Эти два объективно существующих фактора настоятельно требуют разработки проблемы функционирования русского языка и выявления ее специфики в конкретных условиях национальных республик и областей нашей страны. Такая цель требует изучения языковых явлений на разных уровнях структуры русского языка: фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом — и применительно к разным социальным и возрастным группам билингвов.

Особыми аспектами в этом изучении являются: во-первых, аспект, связанный с установлением характера норм русского языка и их варьирования в речи националов-билингвов; во-вторых, аспект, связанный с установлением процессов и специфики интерференции родного языка при овладении русским языком нерусскими. И тот, и другой аспекты имеют как теоретическое, так и практическое значение. В теоретическом плане решение поставленных вопросов поможет в разработке проблемы нормы русского литературного языка как языка межнационального общения и в разработке проблем сравнительной типологии неродственных языков. Вместе с тем сопоставительно-типологическое исследование, в свою очередь, способствует (и причем в значительной мере) выбору правильных и наиболее оптимальных норм русского языка. Речь идет прежде всего о лексике и словообразовании, связанных с конкретными национальными

[1] Л. И. Брежнев, Ленинским курсом, Речи и статьи, 4, М., 1974, стр. 60.

социально-культурными условиями каждой республики, и выявлении причин возникновения интерференционных ошибок с точки зрения лингвистики. Все это содействует решению проблем русского языка как языка межнационального общения, интерференции родного языка у билингва, а также сравнительной типологии русского и национального языков. Решение этих проблем будет способствовать разработке и усовершенствованию методики преподавания русского языка во всех типах национальных учебных заведений. При разработке норм русского языка в условиях национальных республик и областей полезен будет анализ языка художественных произведений и периодической печати на русском языке по местным материалам. Такой анализ поможет выявить степень обогащения русского литературного языка, происходящего под влиянием национального, когда он функционирует как язык межнационального общения в союзных и автономных республиках и областях. Изучение языка художественной литературы и периодической печати осуществляется на уровне лексики и словообразования, что дает весьма интересный фактический материал для освещения в определенной степени проблемы взаимосвязи, взаимовлияния и взаимообогащения языков в социалистическом обществе. Подобное целенаправленное исследование функций русского языка как языка межнационального общения в условиях национальных республик поможет определить пути оптимальной активизации и дальнейшего расширения сферы использования русского языка, наряду с родным, что будет способствовать гармоническому развитию национально-русского двуязычия. Известно, что от уровня развития национально-русского двуязычия в национальных республиках и областях, как и от других факторов, во многом зависит успешное и ускоренное развитие производительности труда и экономики, науки, техники и культуры нашей самой многонациональной страны в мире.

Проблемы, связанные с гармоническим развитием национально-русского двуязычия в национальных республиках и областях, невозможно решить без совместных усилий отделов (групп, секторов) русского языка академий наук союзных республик и филиалов АН СССР с центральными и региональными научно-исследовательскими учреждениями и национальными вузами. Так, например, изучение вопросов функционирования русского языка, разработки его норм, а также роли русского языка как источника национально-русского двуязычия в конкретных условиях национальных республик и областей осуществляется отделом (сектором, группой) русского языка совместно с Институтом русского языка АН СССР. Решение проблем функционирования русского языка в социальном аспекте, национально-русского двуязычия и сравнительной типологии русского и национального языков требует объединенных усилий республиканских специалистов по русскому языку и ученых Института языкознания АН СССР. Все перечисленные вопросы должны решаться и в теоретическом, и в практическом планах. Последнее делает необходимым сотрудничество республиканских ученых с Институтом преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР по следующим вопросам: сравнительная типология русского языка и родного языка учащихся, являющаяся лингвистической основой методики преподавания русского языка, разработка учебников русского языка и различного типа одноязычных и двуязычных учебных словарей, проблемы национально-русского двуязычия в национальных школах, вузах и др.

Конкретно, нашим отделом осуществляется связь с общеобразовательными школами: совместно с сектором методики преподавания русского языка и литературы Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Т. Н. Кары-Ниязова (Программа факультативных

курсов по русскому языку для 9—10 классов узбекской школы. Ташкент, 1978) исследуются проблемы узбекско-русского двуязычия в школах с узбекским языком обучения и др. Нами установлены контакты с вузами республики: изучаются вопросы национально-русского двуязычия, создается картотека исследований по русскому языку, проводимых вузами республики. Совместно с Институтом русского языка АН СССР отдел русского языка Института языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР провели 25—27 октября 1978 г. I Всесоюзное координационное совещание по вопросам изучения русского языка в национальных республиках, в работе которого приняли участие руководители отделов (секторов, групп) русского языка институтов академий наук союзных республик и филиалов АН СССР, представители Института языкознания АН СССР, Института преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР, Советов по координации научной работы по русскому языку, а также ведущие специалисты вузов, представители Министерства просвещения и Министерства высшего и среднего специального образования УзССР. В дальнейшем наши работы будут осуществляться в более тесном и широком научном содружестве с коллективами учреждений, занимающихся изучением проблем русского языка в национальных республиках.

Само собою разумеется, что полное объективное исследование функций русского языка как языка межнационального общения требует и освещения некоторых социолингвистических аспектов (основных общественных функций русского языка в национальных республиках). Исследования социологических проблем в нашей стране связаны с трудами Е. Д. Поливанова, Н. Ф. Яковлева, И. И. Мещанинова, позднее — с работами И. К. Белодеда, Ф. П. Филина, В. А. Аврорина, Ю. Д. Дешериева и др. Углубление социологического подхода к языку в настоящее время обусловлено требованиями жизни, особенно широким развитием языковых контактов в нашей многонациональной стране и усилением роли русского языка как средства межнационального общения и сотрудничества народов Советского Союза. Известно, что язык существует в обществе и для общества, и его содержание, форма, функции и развитие определяются жизнью языкового коллектива. Социолингвистика прямо или косвенно связана со всеми отраслями науки о языке, в том числе и со сравнительной типологией разносистемных языков, в частности, русского и национального.

Сопоставительно-типологическое исследование русского и национального языков — социальная потребность нашего времени, и с этим во многом связано успешное решение многих вопросов большой проблемы «Русский язык — язык межнационального общения народов СССР», вопросов функционирования русского языка в национальных республиках. Сопоставительно-типологическое исследование необходимо и потому, что, как отмечает Ш. Рашидов, «...возникает естественная потребность в двуязычии, при которой наряду со своим родным языком у человека закономерно появляется внутренняя необходимость в овладении вторым родным языком — языком широкого межнационального общения — русским языком» [2]. Это связано с общественно-политической структурой нашего многонационального государства, с существованием многонациональных производственных коллективов, обилием отечественной и зарубежной информации на русском языке и другими факторами.

Принципы и методы типологического исследования, а также его отличие от других форм анализа языкового материала продолжают оставаться предметом оживленных споров среди лингвистов. Как известно, высказывалось мнение о том, что типологическому исследованию подлежат только

[2] Ш. Рашидов, Язык дружбы и братства, М., 1977, стр. 34.

неродственные языки (Э. А. Макаев и др.),[3] при этом имеется и другая точка зрения: о несущественности родственности и неродственности языков для типологического анализа (В. Н. Ярцева, В. Г. Гак и др.) [4]. Сопоставительно-типологическое исследование как метод изучения родственных и разносистемных языков (русского с другими языками) нашло отражение в трудах известных ученых нашей страны (В. А. Богородицкий, Л. В. Щерба, Е. Д. Поливанов, Н. К. Дмитриев и др.) и зарубежных лингвистов (Р. Кошутич, М. Олехнович и др.).

В послереволюционные годы специалисты Узбекистана одними из первых в Советском Союзе приступили к сопоставительно-типологическим исследованиям. Примечательно, что Е. Д. Поливанов, живший в этот период в Узбекистане, занимался не только вопросами общего языкознания, узбекского языка (в его работах особое место занимают вопросы узбекской диалектологии), русской лингводидактики в узбекской школе, учебной двуязычной (русско-узбекской) лексикографии, но и проблемами сравнительной типологии русского и национального языков. Е. Д. Поливанов в начале 30-х годов написал монографическое исследование по сравнительной типологии русского и узбекского языков [5]. Вплотную приступили к сравнительно-типологическим исследованиям в послевоенный период в начале 50-х годов [6]. Такой разрыв в определенной степени связан с тем, что еще не вполне были подготовлены высококвалифицированные кадры национальных и русских специалистов, владеющих двумя языками и способных вести исследования в области сравнительной типологии двух языков. То же самое можно сказать и о других национальных республиках, где сопоставительно-типологические исследования начали вестись в основном в послевоенный период. Таким образом, специалисты Узбекистана, понимая и осознавая значимость исследований по сравнительной типологии, уделяли этой проблеме должное внимание, хотя с точки зрения современной лингвистики и имелись некоторые недостатки в методах исследования (см. об этом ниже).

В связи с актуальностью сопоставительно-типологических исследований разносистемных и родственных языков и неразработанностью методики таких исследований данная проблема затрагивалась на страницах журналов «Вопросы языкознания» [7] и «Русский язык в национальной школе» [8], а также в других изданиях (конец 50-х годов и 60-е — 70-е годы).

[3] Э. А. Макаев, Сравнительная, сопоставительная и типологическая грамматика, ВЯ, 1964, 1.

[4] В. Н. Ярцева, Типология языков и проблема универсалий, ВЯ, 1976, 2, стр. 6; В. Г. Гак, Сопоставительное изучение языков и лингвистическая типология, «Р. яз. за рубежом», 1974, 3, стр. 52 и др.

[5] См.: Е. Д. Поливанов, Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком, Ташкент, 1933.

[6] И. А. Киссен, Краткий очерк фонетики русского языка в сопоставлении с фонетикой узбекского языка, Ташкент, 1952; А. И. Абражеев, П. А. Данилов, Р. И. Бигаев, Очерки по сопоставительной грамматике русского и узбекского языков, Ташкент, 1960; А. Азизов, Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Морфология, Ташкент, 1960, и др.

[7] С. И. Сятковский, Некоторые вопросы типологического и сравнительно-исторического синтаксиса, ВЯ, 1963, 6; Э. А. Макаев, указ. соч.; В. Н. Ярцева, указ. соч.

[8] Б. Серебренников, Всякое ли сопоставление полезно? «Р. яз. в нац. шк.», 1957, 2; Арн. Чикобава, Сопоставительное изучение языков как метод исследования и как метод обучения, «Р. яз. в нац. шк.», 1957, 6; А. А. Реформатский, О сопоставительном методе, «Р. яз. в нац. шк.», 1962, 5; Н. А. Баскаков, К теоретическим основам разработки сравнительно-сопоставительного метода, «Р. яз. в нац. шк.», 1962, 6; И. В. Баранников, Е. А. Быстрова, Подготовка учителя русского языка для сельской школы, «Р. яз. в нац. шк.», 1974, 1; В. К. Розов, Подготовка учителя русского языка для национальной школы, «Р. яз. в нац. шк.», 1975, 2, и др.

Следует отметить, что в опубликованных материалах в журнале «Русский язык в национальной школе» была подчеркнута необходимость четкого разграничения сопоставления как метода исследования и как метода обучения русскому языку нерусских. Вместе с тем, учитывая разноуровневое сопоставление языков и терминологию современного языкознания, участники обсуждения данной проблемы предпочли вместо традиционного названия «сравнительная грамматика» использовать другое, а именно, говорить о сравнительной типологии русского и родного языков.

Мы остановимся на некоторых вопросах теоретико-прикладного аспекта сопоставительной типологии, которая устанавливает наиболее общие для сопоставляемых языков черты поверхностного и глубинного характера. На их фоне более выпукло выявляется специфика двух языков по отношению друг к другу и устанавливаются общие черты, которые объясняются языковыми контактами и универсалиями. При сопоставительном исследовании двух языков их семиотические системы рассматриваются как функционально однородные, хотя они и не одинаковы. Сопоставительные исследования охватывают все уровни изучаемых языков: фонологический, морфологический и синтаксический, а также лексику, фразеологию, словообразование и стилистику. Типологические исследования предполагают ряд оппозиций, для которых исходными являются следующие аспекты анализа: 1) в зависимости от объема типология может быть общей и частной; 2) в зависимости от характера расхождений сопоставляемых языков типология может быть качественной и количественной; 3) по аспекту анализа существует структурная и функциональная типология; 4) по направлению исследования различается семасиологическая и ономасиологическая типология [9].

Основная масса написанных до настоящего времени работ прикладного типа по сопоставительной грамматике носит характер параллельного поуровневого изложения или поочередного описания сопоставляемых языков [10].

До сих пор не предложено конструктивной оптимальной модели сопоставительно-типологического исследования разносистемных языков. Сопоставительный метод должен опираться только на лингвистические принципы. Вопрос о путях осуществления сопоставления связан с другим вопросом — с вопросом об объекте сопоставления. Ряд отечественных и зарубежных лингвистов считает, что сопоставительным методом можно изучать только контрастивные явления (А. А. Реформатский, Р. Лэйдо, Г. Никель, К. Х. Вагнер и др.) [11], другие предлагают учитывать не только контрастивные, но и сходные явления (Н. М. Шанский, В. Г. Гак, С. Сятковский, А и О. Кутсудас, Д. Л. Вольф) [12].

Выход за рамки одного языка предполагает установление соответствий

---

[9] См. об этом подробнее: В. Г. Гак, указ. соч., стр. 52—54.

[10] См. об этом: В. Н. Ярцева, О сопоставительном методе изучения языков, ФН, 1960, 1, стр. 4; Н. М. Шанский, Русская лингводидактика и языкознание, РЯШ, 1976, 6, стр. 17; А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 33.

[11] А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 23—24; R. Lado, Language teaching, New York, 1964, стр. 21; G. Nickel, K. H. Wagner, Contrastive linguistics and language teaching, IRAL, 1968, VI, 3, стр. 238.

[12] Н. М. Шанский, указ. соч., стр. 16; В. Г. Гак, Сопоставительное изучение языков и лингвистическая типология, «Р. яз. за рубежом», 1974, 3, стр. 52; С. Сятковский, Основные принципы сопоставительного анализа языков, «Р. яз. за рубежом», 1976, 4, стр. 69—70; A. and O. Koutsoudas, A contrastive analysis of the segmental phonemes of Greek and English LL, 1962, XIII, 3, стр. 211; D. L. Wolfe, Some theoretical aspects of language learning and language teaching, LL, 1967, XVII, 3—4, стр. 179.

между сопоставляемыми языковыми системами [13], и понятие соответствия включает как сходные, так и контрастивные явления.

Если обратиться, например, к сопоставлению русского и узбекского языков, то фактические данные сравнительной типологии этих языков свидетельствуют о различии на первый взгляд сходных явлений. Это положение можно проиллюстрировать на примере общей лексики для обоих языков: заимствованные узбекским языком русские слова, сходные в обоих языках в исходной форме, оказываются частично различающимися по значению. Так, например, слово *сентябрь*. Узб. *сентябрь — куз фасли* = русск. *сентябрь — осенняя пора*, но ср. узб. *сентябрь кунлари* = =русск. *сентябрь-ские дни*. Далее даются примеры, иллюстрирующие это явление (по академическому узбекско-русскому словарю) [14]: узб. *аванс*— русск. *аванс* и *авансовый // аванс ҳисоботи* «авансовый отчет»; *аванс олмоқ* «получать аванс»; узб. *вагон* — русск. *вагон* и *вагонный // пассажир вагони* «пассажирский вагон»; *вагон ўқи* «вагонная ось»; узб. *гранит* — русск. *гранит* и *гранитный // қизил гранит* «красный гранит»; *гранит қирғоқ* «гранитный берег»; узб. *диссертация* — русск. *диссертация* и *диссертационный // фан кандидати деган илмий даражани олиш учун диссертация* «диссертация на соискание ученой степени кандидата наук»; *диссертация темаси* «диссертационная тема»; узб. *номинал* — русск. *номинал* и *номинальный // номинал бўйича* «по номиналу»; *номинал баҳо* «номинальная цена»; узб. *ремонт* — русск. *ремонт* и *ремонтный // профилактик ремонт* «профилактический ремонт»; *ремонт ишлари* «ремонтные работы»; узб. *сигнал* — русск. *сигнал* и *сигнальный // сигнал бермоқ* «давать сигнал»; *сигнал чироқлари* «сигнальные огни»; узб. *трактор* — русск. *трактор* и *тракторный // ғилдиракли трактор* «колесный трактор»; *трактор заводи* «тракторный завод».

Этих примеров, на наш взгляд, достаточно, чтобы утверждать о необходимости учета сходных явлений при сопоставительном исследовании разносистемных языков. Такого рода факты требуют двустороннего сопоставительного анализа от русского к родному и от родного к русскому. В работах же, посвященных сравнительной типологии русского и национального языков, как правило, отсутствует четкая установка на двустороннее (бинарное) сопоставление исследуемых языков, в данном случае от русского к национальному и от национального к русскому. Это касается многих изданных работ как в Узбекистане (см. примеч. 5, 6), так и в других национальных республиках [15]. Такие факты свидетельствуют о необходимости разработки методики исследования разносистемных языков с обязательным применением бинарного сопоставления, которое имеет теоретическое и практическое значение. В теоретическом плане оно поможет проследить дальнейшее развитие тех или иных заимствованных явлений из русского языка согласно законам конкретного национального языка, а в практическом — учесть эти особенности при обучении русскому языку нерусских.

---

[13] Ср.: Вяч. Вс. Иванов, Машинный перевод и установление соответствий между языковыми системами, сб. «Машинный перевод», 2, М., 1961.

[14] См.: «Узбекско-русский словарь», под ред. чл.-корр. АН СССР и АН УзССР А. К. Боровкова, М., 1959.

[15] «Сравнительная грамматика русского и азербайджанского языков», под ред. М. Ширалиева и С. А. Джафарова, Баку, 1954; Н. А. Резюков, Очерки сравнительной грамматики русского и чувашского языков, Чебоксары, 1954; М. Ф. Семенова, Сопоставительная грамматика русского и латышского языков, Рига, 1966; Д. Турсунов, Б. Хасанов, А. Ислямов, К. Бейсенбаева, К. Ищанов, Сопоставительная грамматика русского и казахского языков, Алма-Ата, 1967, и др.

Сопоставление должно проводиться категориями, блоками. Подобная мысль имеется у А. А. Реформатского [16] в виде тезиса о системности сопоставления (исследовать не разрозненные элементы, а блоки языковой системы, в которые входят эти элементы посредством противопоставления другим элементам) и тезиса о бинарности сопоставления (двустороннее сопоставление анализируемых языков). Сопоставительно-типологическое исследование на уровне систем и блоков следует применять ко всем языковым уровням, причем, как отмечает Н. М. Шанский «...следовать логике от общего (частичных универсалий) к национально-специфическому, а в пределах каждого раздела, в котором сообщается об общем и национально-специфическом,— от ядра системы к ее периферии, от нормативной реализации инварианта к вариантам и коннотативным смыслам» [17].

Так, например, сопоставляя русский язык с узбекским на уровне фонетики, можно обнаружить, что в обоих языках имеется система (блок) оппозиций согласных по глухости-звонкости. В слабой позиции (прежде всего в конце слова) звонкие согласные в обоих языках оглушаются, но в узбекском языке этот принцип проводится непоследовательно — часть согласных оглушается полностью (как в русском языке): *сабаб*(*п*) *жавоб*(*п*), *китоб*(*п*), *мактаб*(*п*), *мақсад*(т), *мурод*(т), *ёд*(*т*), *қасамёд*(т); часть же — оглушается не полностью: *кўз*^{с}, *сўз*^{с}, *куз*^{с}, *муз*^{с}. Кроме того, в русском языке 11 пар глухих-звонких согласных: *п — б*, *п′ — б′*, *т — д*, *т′ — д′*, *к — г*, *ф — в*, *ф′ — в′*, *с — з*, *с′ — з′*, *ш — ж*, *ш′ — ж′*, а в узбекском — только 6 пар (*п — б*, *т — д*, *с — з*, *ч — дж*, *к — г*, *қ — ғ*). Иначе говоря, сопоставляются не отдельные элементы звуковой системы двух языков, а группы элементов, связанных определенными отношениями, и такое сопоставление позволяет четче установить сходство и различия сопоставляемых языков.

Так обстоит дело, когда речь идет о существовании тех или иных блоков или тех или иных оппозиций равно в обоих языках. Если же речь идет о явлении, наблюдаемом в обоих языках, но имеющем какие-либо особенности в одном из них (см. выше), или существующем в одном и отсутствующем в другом языке, то здесь надо обязательно осуществить двустороннее сопоставление.

Так, например, на уровне морфологии объектом исследования может служить грамматическая категория рода, отсутствующая в тюркских языках, в том числе и в узбекском. Если идти в сопоставлении от русского языка к узбекскому, то констатацией отсутствия в последнем категории рода можно было бы закончить анализ этой категории в плане сопоставления русского и узбекского языков. Но, если идти от узбекского языка к русскому, то можно установить, что в современном узбекском языке имеются соотносительные коррелятивные пары наименований, связанные с различиями по полу людей и животных. Соотносительная корреляция в данном случае осуществляется лексическими и словообразовательными средствами. Ср. лексические пары: *она — ота* «мать — отец», *чол* — *кампир* «старик — старуха», *буқа — сигир* «бык — корова», *хўроз — товуқ* «петух — курица», или пары, связанные словообразовательными отношениями: *Карим — Карима* (имена собственные), *шоир — шоира* «поэт — поэтесса», *студент — студентка*, *пионер — пионерка*, *Абдуллаев — Абдуллаева*.

Лексические пары, объединяющие в своем ряду названия существ, различающихся по полу, имелись в самом узбекском языке, равно как и в дру-

[16] См.: А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 24.
[17] Н. М. Шанский, указ. соч., стр. 17.

гих тюркских языках. Род в соотносительных коррелятивных парах в узбекском языке, выраженный словообразовательными средствами, развился под влиянием арабского (это относится к ранее заимствованному лексическому пласту с признаками грамматического рода) и русского языков (лексический пласт, заимствованный в основном в послеоктябрьский период).

Как видно из приведенных примеров, при анализе используется принцип системности сопоставления блоков, оппозиций и двустороннее сопоставление, что позволяет описать исчерпывающим образом межязыковые соответствия. Именно такого рода сопоставительно-типологические исследования помогают выявить процессы взаимовлияния и взаимообогащения языков, а также пути их сближения по уровню развития. В истории человечества еще не было случая, чтобы шло столь интенсивное контактирование отдельных национальных языков с одним и тем же основным для всех языком, как это происходит в нашей стране в отношениях языков народов СССР и русского языка как средства межнационального общения. Вследствие этого осуществляется двустороннее взаимовлияние и взаимообогащение национальных и русского языков. Естественно, в силу сложившихся объективных исторических условий в большой степени обогащаются национальные языки под влиянием русского, одного из наиболее развитых мировых языков. Контактирование с русским языком обогащает национальные языки, в первую очередь их лексику, сближая ступени развития национальных языков. Примером обогащения грамматик тюркских языков служит уже упоминавшееся выше развитие соотносительных коррелятивных пар.

Сравнительная типология русского и национального языков является лингвистической основой для теории и практики переводов. Сопоставительный анализ русского и национального языков может содействовать решению вопроса о нормах русского языка в республиках, в особенности о нормах словоупотребления в условиях национально-русского двуязычия. Наконец, сопоставительное исследование русского и национального языков на уровне лексики — залог высококачественного составления различного типа двуязычных и одноязычных словарей в том числе и учебных. Вот небольшой перечень вопросов, с которыми связан теоретический аспект сопоставительно-типологического системного и двустороннего исследования русского и национального языков. В последнее время получили широкое развитие прикладные сопоставительные исследования в связи с особой ролью русского языка как языка межнационального общения народов СССР, а также с его возросшим значением как одного из мировых языков. На основе прикладного сопоставительного исследования русского и нерусского языков и с учетом последних достижений в области отечественной лингвистики составляются программы и учебники по сравнительной типологии и методике преподавания русского языка нерусским. Уже наметились определенные традиции в методологии прикладного исследования сопоставительной типологии русского и родного языков. Во многих работах указывается на то, что при сопоставительном исследовании русского и национального языков, которое должно служить лингвистической основой методики преподавания русского языка нерусским, нужно отталкиваться от изучаемого языка [18] (в данном случае —

[18] Л. С. Бархударов, Русско-английские языковые параллели, «Р. яз. за рубежом», 1972, 2, стр. 66; А. А. Леонтьев, Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания, М., 1969, стр. 225; С. Сятковский, Основные принципы сопоставительного анализа языков, стр. 70; Н. М. Шанский, Н. В. Черемисина, Специфика и система лингвистических дисциплин на факультетах русского языка и литературы национальных вузов, «Р. яз. в нац. шк.», 1975, 1.

от русского). Иначе говоря, в центре внимания должны находиться факты русского языка, по отношению к которым выявляются и анализируются все возможные эквиваленты родного языка. В противном случае (если в центре внимания будет стоять родной язык учащихся) из поля зрения могут выпасть такие явления русского языка, которые отсутствуют в родном языке обучающихся (например, для тюркских языков не характерны такие явления русского языка, как противопоставление согласных по твердости/мягкости, грамматическая категория рода, категория вида и др.). Эквиваленты родного языка в подобных случаях устанавливаются методом двустороннего сопоставления.

Следует четко отграничивать специфику сопоставительно-типологического исследования русского и национального языков от метода сопоставительного обучения русскому языку в национальной аудитории. Они не тождественны, как это отмечает Арн. Чикобава [19]. Когда Л. В. Щерба говорил о том, что при обучении иностранному языку (второму языку.— А. И.) нужно отталкиваться от знаний учащихся по родному языку [20], он подразумевал использование сопоставления как метода обучения, но не метода исследования. В наше время, когда идет дальнейшая дифференциация во всех отраслях науки, мы должны подходить к методике обучения русскому языку в национальной школе с научных позиций, т. е. научно-лингвистической основой ее может быть только сравнительная типология русского и родного языков учащихся (но не наоборот), разработанная на базе метода системности сопоставления блоков, оппозиций и бинарного сопоставления двух исследуемых языков. В связи с этим следует считать правильным то, что в учебниках по сопоставительной грамматике, адресованных студентам факультетов (отделений) русской филологии, исходными являются факты и явления изучаемого, т. е. русского языка, что, конечно, не исключает в нужных случаях необходимости отталкиваться и от особенностей родного языка. Следовательно, вузовский лингвистический (но не методический) курс должен называться «Сравнительная типология русского и родного языков», потому что он является одним из самых важных звеньев, от которого зависит научно обоснованное построение и содержание лингвистических и общефилологических курсов, оптимально учитывающих специфику национальных вузов.

Как правило, прикладной характер сопоставительного исследования русского и национального языков связан с изучением русского языка нерусскими. Такой анализ бывает направлен на установление общих сходств, частичных и полных различий между этими языками. Эти соответствия способствуют с лингвистической точки зрения раскрытию явлений, транспозиции и интерференции родного языка учащихся при обучении русскому языку. Именно поэтому сравнительная типология является научной лингвистической основой для разработки теории и практики русской лингводидактики в национальной школе. На основе прикладной сравнительной типологии можно создать нормативный учебник современного русского языка через «видение» национального, используя «скрытый» метод сопоставления русского и национального языков. И, наконец, вопрос, с которым связана прикладная сравнительная типология русского и национального языков — это национально-русское двуязычие. Известно, что при изучении национально-русского двуязычия сравнительная типология является ее составной частью.

---

[19] Арн. Чикобава, указ. соч.

[20] Л. В. Щерба, Преподавание иностранных языков в средней школе, сб. «Общие вопросы методики», М., 1974.

Таким образом, мы затронули ряд проблем как теоретического, так и прикладного характера, выход к которым имеет сравнительная типология. Это — взаимовлияние и взаимообогащение языков, проблема норм русского литературного языка в национальных республиках, вопросы теории и практики перевода, составление словарей, проблема научной лингвистической основы русской лингводидактики в национальных республиках, задачи создания нормативного учебника современного русского языка с национальным «видением», национально-русское двуязычие. Это далеко не полный перечень вопросов, решению которых во многом будет способствовать правильно разработанный метод сравнительно-типологического исследования русского и национального языков соответствующими подразделениями академий наук союзных республик и филиалов АН СССР. Таким нам представляется один из этапов по осуществлению творческого содружества научных коллективов языковедов и методистов, заинтересованных в гармоническом развитии национально-русского двуязычия в национальных республиках и областях.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

МАКСИМОВ В. И.

ЕЩЕ РАЗ О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ

В «Вопросах языкознания» (1977, 1) мною была опубликована статья «Грамматическая теория и практика изучения языка». Эта работа писалась к III конгрессу Международной ассоциации преподавателй русского языка и литературы (Варшава, август 1976 г.), на котором рассматривались лингвистические основы обучения русскому языку как иностранному — одна из важнейших проблем современной методики преподавания. В работе отмечалось, что существуют две крайние точки зрения на отношение теории языка к практике обучения иностранным языкам: одни полностью отрицают эту связь, другие во многом механически переносят методы и приемы изучения лингвистами незнакомого языка на практическое изучение неспециалистами иностранного языка. Большинство же языковедов и методистов, избегая крайностей в этом вопросе, стараются более внимательно выяснить характер связей, существующих между лингвистикой и методикой обучения языку как науками, показать те лингвистические основы, на которые может опираться современная методика, раскрыть возможное влияние науки о языке на отбор, интерпретацию, описание и подачу соответствующего материала в прикладных целях [1].

В моей статье ставилась цель проанализировать и сопоставить принципы, нашедшие отражение в двух наиболее значительных трудах по современному русскому литературному языку — академических «Грамматиках» 1952—1954 гг. и 1970 г. (далее — «Гр. 52—54» и «Гр. 70»), чтобы показать степень пригодности, эффективности этих принципов при описании практической грамматики. Делался общий вывод, что при способе описания конкретного языкового материала, предложенном в «Гр. 52—54», достовернее, адекватнее и точнее раскрывается система языка, к тому же этот способ более приемлем для методистов и доступнее для широких кругов, изучающих русский язык как неродной.

Такой вывод вызвал критику В. В. Лопатина и И. С. Улуханова — авторов раздела «Словообразование» в «Гр. 70». Они написали статью «Теория грамматики и практика грамматического описания» (ВЯ, 1978; 1; далее постраничные ссылки на эту и на мою статью, а также на обе «Грамматики» приводятся в тексте). Обратимся к тем конкретным вопросам, которые были затронуты.

1. Анализ показал, что в двух упомянутых «Грамматиках» можно одинаково наблюдать стремление к раскрытию системы языка и нормативности. Возражение В. В. Лопатина и И. С. Улуханова вызывает утверждение, что остальные принципы описания языкового материала в рассматриваемых «Грамматиках» являются контрастирующими. Они указывают, что «обе эти грамматики принадлежат к числу так называемых „традиционных“ (или аналитических)» (стр. 38). Обратимся к тому, что писали

[1] *Из последних работ по этому вопросу см.:* Г. И. Рожкова, К лингвистическим основам методики преподавания русского языка иностранцам, М., 1977.

сами авторы по этому поводу в «Предисловии» к «Гр. 70»: «По своим задачам, характеру описания материала и по самому этому материалу „Грамматика современного русского литературного языка“ отличается от предшествовавших описаний» (стр. 3). Авторы «Гр. 70» понимали тогда под «традиционностью» предшествовавших описаний, в том числе «Гр. 52—54», «общедоступность изложения, отсутствие гипотетических решений, непререкаемость рекомендаций, опирающихся на классические образцы литературной речи, строгую и исчерпывающую кодификацию норм», а отнюдь не «аналитичность», как они пишут сейчас, ибо сама аналитичность может быть подана и повернута с разных позиций, не говоря уже о ее методологических, принципиальных основах. Следовательно, объявив в самом начале о противопоставленности новой академической «Грамматики» предшествующей, нельзя сейчас утверждать их принципиальную близость, чуть ли не преемственность.

2. В. В. Лопатин и И. С. Улуханов возражают против того, что сопоставляемые «Грамматики» отличаются по своим задачам. Между тем это было признано самими авторами «Гр. 70», на что уже указывалось. В «Предисловии» к последней ими же была дана трактовка задач описания языкового материала в том и другом труде в подчеркнуто контрастирующем плане. Для «Гр. 52—54» признавалась задача «возможно полной» грамматической характеристики русского литературного языка как языка национального. Кстати, в «Предисловии» к самой этой «Грамматике» говорилось о «возможно широкой» характеристике, что почему-то приписывается сейчас мне. Цель же «Гр. 70» не в том, чтобы дать исчерпывающий свод действующих грамматических правил (хотя во многих главах читатели смогут заметить стремление к полноте описания), а в том, чтобы «показать языковые явления в системе, последовательно разделяя аспекты формы и ее функции (назначения, употребления)» («Гр. 70», стр. 3). Таким образом, первое различие в принципиальных установках сопоставляемых «Грамматик», которое было открыто признано авторами «Гр. 70», это стремление, с одной стороны, к широте (полноте) описания языка, с другой — к показу языковых явлений в системе. Здесь неприкрыто звучит упрек в адрес авторов «Гр. 52—54», которые, стремясь к широте описания, якобы не стремились к представлению языкового материала в системе, с чем невозможно согласиться. В «Предисловии» к этой «Грамматике» прямо сказано: «Установление грамматических норм и показ богатых выразительных возможностей опирается на изложение всей грамматической системы современного русского литературного языка» (стр. 4). Но возможен ли в принципе декларируемый в «Гр. 70» показ языковых явлений в системе без полноты охвата самого языкового материала? Как положительный фактор мною отмечалось, что в «Гр. 70» практически «часто наблюдается стремление к полноте описания материала. Например, это характерно для раздела „Словообразование“» (стр. 29). Отсутствие полноты описания языкового материала в собственно грамматических разделах «Гр. 70» дало мне основание утверждать, что эта часть «Гр. 70» менее пригодна для использования в прикладном языкознании, в частности, при обучении языку.

3. Авторы «Гр. 52—54» отмечали в «Предисловии» к ней, что «общие грамматические положения, грамматические законы и отдельные грамматические правила выводятся из самой языковой практики» (стр. 3). В «Предисловии» же к «Гр. 70» подчеркивается, что авторы стремились к рассмотрению грамматических явлений с точки зрения лежащих в их основе абстрактных схем (образцов) (стр. 3). Разве это не контрастирующие исходные положения? Одно дело выведение абстрактных схем в результате рассмотрения конкретного языкового материала, а другое дело

рассмотрение языковых явлений с точки зрения «лежащих в их основе» абстрактных схем, да еще субъективных, вносимых самим исследователем. Последнее мало что дает практике обучения языку. Что касается примера, приводимого В. В. Лопатиным и И. С. Улухановым для иллюстрации их приема выведения «абстрактных образцов», то здесь, чтобы доказать реальность «выведенного» ими абстрактного значения агентивности у суффикса *-тель*, следовало привести соответствующие производные, которые уже при своем возникновении имели бы общее, независимое от контекста значение деятеля, а не лица или предмета. Примеры таких слов в «Гр. 70» не приведены, что лишний раз доказывает, как опасно смешивать лексическое значение производных, которое могло возникнуть в результате развития семантики, и словообразовательное значение аффикса, свойственное ему объективно. Совершенно правы здесь В. В. Лопатин и И. С. Улуханов, когда пишут: «Для таких образований с суффиксом *-тель* (с общим агентивным значением.— *В. М.*) не нашлось и не могло найтись места при том способе описания словообразовательной системы, который принят в «Гр. 52—54»,—раздельном описании агентивных образований с одним и тем же формантом, обозначающим лицо и предмет — орудие действия» (стр. 40). Действительно, авторы «Гр. 52—54» стояли на почве реальных языковых фактов и не шли в своих обобщениях дальше того, что позволяли им эти факты. Они учитывали и не ставили под сомнение возможную многозначность аффиксов.

4. В. В. Лопатин и И. С. Улуханов полагают, что нет контрастирующего момента и в том, что «Гр. 52—54» охватывает языковой материал «от Пушкина до наших дней», а «Гр. 70» придерживается «строго синхронного» описания языка, имея в виду его хронологический срез на уровне середины XX в. Конечно, мы называем «современным» русский язык и наших дней, и язык Пушкина. Но если ставится задача зафиксировать состояние русского языка на середину нашего века, и задача вполне правомерная, то, несомненно, в таком случае должна быть показана и специфика языка на данном хронологическом срезе в отличие от предшествующего состояния, скажем, начала XX в., а тем более XIX в. Такое противопоставление приобретает не просто контрастирующий, а принципиальный характер, ибо очевидно, что было задумано показать нечто, отличающее язык наших дней от языка Пушкина (другое дело, удалось ли это сделать и насколько). Если для описания берется «срез» языка, может быть показано только состояние последнего, а не развитие. Если для описания берется целый период в развитии языка, да еще полуторавековой, насыщенный важнейшими событиями общественно-политического и культурного характера в жизни носителей этого языка, то здесь статикой невозможно ограничиться, в этом случае невольно должны быть представлены элементы динамики, диахронии. Не случайно поэтому наличие в «Гр. 52—54» многочисленных комментариев исторического характера и почти полное их отсутствие в «Гр. 70». Конечно, никто не утверждает, что авторы «Гр. 52—54» ставили задачу диахронно-синхронного описания явлений русского языка, т. е. показа этих явлений в развитии на протяжении последних полутора веков. Но они понимали, что давая характеристику языка целого периода, нельзя оставлять без внимания движение тех или иных языковых элементов, например, архаизацию их или возникновение. Все это дало нам основание говорить, и в этом нас не разубедили возражения оппонентов, что в «Гр. 52—54» представлен «*как бы* диахронно-синхронный подход к описанию системы языка». Это нельзя сказать о «Гр. 70», где отражен синхронно-статический подход к характеристике языка.

Безусловно, исследователь имеет право на такое описание. Более того,

оно может быть интересным в плане выявления особенностей, присущих языку на том или ином (в том числе современном) этапе его развития. Но чтобы уловить специфику намеченного среза языка, необходимо отделить, и это особенно касается словообразования, унаследованные от прошлого состояния языка, а то и попросту отжившие элементы, от продуктивных, действующих на данном этапе его развития. Мысль эта, конечно, не нова, но, к сожалению, у многих исследователей она часто декларативна. Зачем, например, приводить суффикс *-ин(а)* в названиях мяса среди действующих, да еще продуктивных в русском языке середины XX в. аффиксов («Гр. 70», стр. 111), когда за последние 150 лет посредством его было образовано всего два слова — *человечина* и *сомина*. Это как раз свидетельствует о затухании былой продуктивности суффикса *-ин(а)*, о вытеснении его конкурирующим суффиксом *-ятин(а)*. В. В. Лопатин и И. С. Улуханов для доказательства продуктивности суффикса *-ин(а)* в настоящее время приводят индивидуальные образования — *осьминожина* (Л. Мартынов), *джейранина* (М. Горчаков). Но для образования окказионализмов современные писатели и поэты используют нередко даже мертвые аффиксы, что не имеет никакого отношения к словообразованию общенародного языка и тем более к обучению этому языку иностранцев. Если бы авторы «Гр. 70» учитывали данные диахронии в этом и подобных случаях и отграничивали окказионализмы от явлений общенародного языка, характеристика словообразовательной системы русского языка нашего времени, представленная ими, была бы куда более объективной и корректной. В упоминавшейся статье мною высказывалось мнение, что синхронное описание языка, ставящее целью «показать языковые явления в системе, последовательно разделяя аспекты формы и ее функции (назначения, употребления)» («Гр. 70», стр. 3), возможно, но «при соблюдении по крайней мере трех условий: 1) ему должно предшествовать диахронное исследование соответствующих явлений, причем соответствующие явления должны быть отграничены от их предшествующего состояния; 2) синхронное описание не должно отождествляться с формализованным, схематичным описанием, при котором содержательная и функциональная стороны отодвигаются на задний план, а порою и вовсе не учитываются; 3) оно должно быть последовательно выдержанным» (стр. 31) [2]. При этом мною учитывалось известное марксистское методологическое положение, сформулированное В. И. Лениным так: «...не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [3]. Из всего сказанного не вытекает, вопреки мнению В. В. Лопатина и И. С. Улуханова, что «за описание, например, словообразовательной структуры слов современного русского языка следует взяться лишь после того, как будут описаны исторические процессы их образования... Поскольку историческое словообразование еще не написано, то не следует браться и за современное» (стр. 40). Во-первых, В. В. Лопатин и И. С. Улуханов неоправданно отождествляют описание «словообразовательной структуры слов» и самого «словообразования». Более того, по их мнению, «синхронное словообразование должно отразить современную словообразовательную структуру слова» (стр. 40). Следовательно, вместо описания словообразо-

---

[2] Интересный анализ антиисторических концепций, бытующих среди части лингвистов-теоретиков нашего времени, дан в статье Ф. П. Филина «Некоторые вопросы современного языкознания», ВЯ, 1979, 4.

[3] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 39, стр. 67.

вательной системы современного русского языка или отдельных ее элементов В. В. Лопатин и И. С. Улуханов предлагают описывать (и в «Гр. 70» это практически осуществляют) словообразовательную структуру слова. Это значит, что в центре внимания исследователей стоят не реально функционирующие на данном этапе развития русского языка аффиксы со всеми присущими им особенностями, а аффиксы, но одновременно и подобия им — сегментемы (по другой терминологии, «единичные наращения», «квазиморфы», «зависимые уникальные элементы» и т. п.), остающиеся в структуре слов после вычитания из нее «мотивирующих» основ. Иначе говоря, в «Гр. 70» акцент делается на аффиксы не со стороны их словообразовательных возможностей в настоящее время, а со стороны их качеств при вычленении из готовых, обычно давно созданных слов, структура которых нередко претерпела исторические изменения. Описывать систему русского словообразования середины XX в. на материале производных предшествовавших этапов развития языка — это то же самое, что характеризовать грамматическую систему русского языка наших дней на примерах, взятых из древнерусских памятников. Нельзя забывать, что аффиксы, выделяющиеся сейчас в производных, образованных в древнерусском языке, а тем более в доисторическую эпоху, несут на себе часто следы прошлого, и формально подгонять их под современную систему — это давать превратное представление и о прошлом, и о настоящем русского языка. Во-вторых, следствием того, что основным объектом словообразовательного описания у В. В. Лопатина и И. С. Улуханова выступает структура слова, главной заботой их было и остается членение производных с «современной» точки зрения. Кстати, понимание ими структуры слова довольно расплывчато. По их определению, это «значимые составные части слова, отличающие его от других, и соотношение между этими частями» [4]. Здесь остается нераскрытым, что имеется в виду под «значимыми частями» слова: морфемы или производящие слова, а может быть, те и другие; в последнем случае понятия «состав слова» и «структура» оказываются недифференцированными. Неясно также, какого рода отношения между этими частями имеются в виду: семантические, словообразовательные, хронологические и т. д. Поэтому вычленение «значимых частей» и их «привязка» к системе современного русского языка при таком подходе к описанию его словообразовательного уровня заслоняют раскрытие собственно словообразовательных процессов. Хотя В. В. Лопатин и И. С. Улуханов не соглашаются с тем, что в «Гр. 70» «чаще раскрывается картина членения слов, чем их реального образования», приводимые ими доводы (на стр. 44) скорее подтверждают, чем опровергают данное мнение. Акцент у них не на том, как «делаются» сейчас слова, а на том, «как сделаны слова», если смотреть на эти слова с теоретических позиций авторов. Во-первых, оперирование при описании словообразовательных типов «мотивирующими», а не «производящими» словами уже говорит о статике, а не о динамике, о структуре готовых слов, а не о процессе создания этой структуры. Во-вторых, касается ли указанное в «Гр. 70» распределение морфов всех вновь образованных в середине XX в. русских слов, осталось недоказанным, так как анализ строится не на новообразованиях этого времени, о чем уже говорилось. В-третьих, что касается заявлений авторов раздела «Словообразование» в «Гр. 70», то они не подкреплены фактами и не могут быть приняты в качестве доказательства того, что в этой «Грамматике» оказались четко разграниченными морфемный и словообразовательный анализы.

---

[4] В. Лопатин, И. Улуханов, О принципах словообразовательного анализа и классификации морфем, «Р. яз. в нац. шк.», 1969, 5, стр. 10.

В. В. Лопатин и И. С. Улуханов полагают, что давать картину состояния языка наших дней, как и любого другого синхронного среза, и его словообразования в частности, исследователь вправе без оглядки на языковое прошлое. Но каким образом с достоверностью можно утверждать, например, что такой-то аффикс именно в данное время избирается такими-то разновидностями производящих слов, имеет такую-то семантику и продуктивность, такой-то стилистический и акцентный потенциал? Непоследовательность и нелогичность авторов соответствующего раздела «Гр. 70» прежде всего в том, что описывая систему русского словообразования середины XX в., объектом словообразовательного анализа они взяли производные, в основном унаследованные от предшествующих этапов развития языка. Думается, что следовало бы взять в таком случае новообразования середины нашего века. Но чтобы выявить эти новообразования, необходимо заглянуть в словарный состав предшествующего периода развития языка, т. е. необходимы данные диахронии. Иначе не будет уверенности, действительно ли мы имеем дело с новообразованиями, а не с продуктом прошлого, унаследованным современным языком. Короче говоря, описывать действующую, «живую» систему языка при определенном хронологическом срезе можно только на языковом материале, порожденном этой системой. Элементы языка, порожденные в прошлом, да еще далеком прошлом, могут осмысливаться с позиций анализируемой системы (синхронии)[5], могут формально и «подгоняться» под нее, как, к сожалению, часто делается, но строить на них эту систему, делать выводы относительно ее функционирования нельзя. Если же стоит задача не только выявить и описать действующую на определенном хронологическом срезе систему языка, но и определить ее специфику по сравнению с системой другого хронологического среза, необходимо и сравнение соответствующих систем, т. е. опять-таки обращение к истории, диахронии. Но, безусловно, более глубоким описание тех или иных явлений современного языка будет только в том случае, когда из предшествующих исследований известно, как определенное явление в истории возникло, какие главные этапы проходило.

5. В. В. Лопатин и И. С. Улуханов отдельно ставят вопрос о членении заимствованных слов. Они не соглашаются с тем, что существительные *кузина*, *курфюрстина*, *гофмейстерина* не могут по отношению к системе русского языка рассматриваться как содержащие суффикс лица женского пола *-ин(а)*. Как известно, эти существительные являются заимствованными, в русском языке нашего времени принадлежат к архаичному пласту лексики, а главное — в русском языке отсутствует суффикс *-ин(а)* со значением лица женского пола, а соответственно и новообразования с этим суффиксом. Авторы раздела «Словообразование» в «Гр. 70» считают, что «если отказаться от описания заимствованных мотивированных слов, то из системы словообразования следует исключить не только многочисленные слова, но и целые словообразовательные типы (слова на *-ировать*, *-изировать*, *-изовать*, *-ация*, *-тор*, *-изм*, *-аж* и др.)» (стр. 40—41). Думается, что одно нельзя связывать с другим, что среди последних примеров не все одинаковы в интересующем нас плане, что в приведенном высказывании, как обычно, подменяется анализ аффиксов анализом слов.

Еще Г. Павский высказывал мысль, что производность заимствованных слов в языке-источнике совсем не означает их обязательную членимость в русском языке (ср. *ярмарка* из нем. *Jahrmarkt* «годовое торжище»), где они являются корнями в том виде, в каком перешли к нам из чужого

---

[5] В. И. Максимов, Структура и членение слова, Л., 1977, стр. 14—40.

языка [6]. Это было своевременное, но забытое некоторыми современными лингвистами предупреждение о недопустимости переноса членения слова в языке-источнике на русскую почву (к сожалению, это не единственный случай забвения определенной частью современных исследователей идей и традиций отечественной лингвистики в угоду модным зарубежным концепциям). Возьмем для примера два слова — *агитация* и *гравюра*. Первое под влиянием таких слов, как *агит-атор*, *агит-иров-а-ть*, *агит-к(а)* стало выделять суффикс *-аций(а)*, функционирующий в современном русском языке и давший в нем уже немало образований. Другое дело — заимствование *гравюра* (из фр. *gravure*). На фоне родственных слов (*грав-иров-а-ть*, *грав-ёр*) оно стало выделять связанный корень *-грав-*, но утверждать, что остаточная часть слова (*-юр*) является суффиксом наравне с *-аций*, преждевременно, так как этот французский суффикс с предметным значением на русской почве не дал еще ни одного образования. Таких сегментем, вычленяемых только в заимствованных словах, много. Ср.: *газ-олин* и *газ*, *бриг-антина* и *бриг*, *косм-ос* и *космический*, *ап-риори* и *апосте-риори*, *объ-ективный* и *субъ-ективный*, *экс-порт* и *им-порт* и т. д. В лучшем случае некоторые из этих сегментем являются аффиксами в языке-источнике, откуда были заимствованы в русский соответствующие слова. Для системы же последнего — это лжеаффиксы, никакого отношения к ней не имевшие и не имеющие, так как посредством их на русской почве не было образовано ни одного производного. Заимствование аффиксов нельзя приравнивать к заимствованию слов. Это длительный, многоступенчатый процесс, а не одноразовый акт. Его нельзя сводить и к вычленению в отдельных иноязычных словах (или их группе) сегментов, которые отсутствуют в данном языке как морфемы — элементы его собственной словообразовательной системы. Словообразовательный анализ не должен выходить за рамки данной языковой системы. Среди иноязычных аффиксов, вычленяемых в заимствованных словах, важно различать те, что «работают» на русской почве (например, *-аций* в *аги-тация*), от тех, которые до сих пор не вошли в русскую словообразовательную систему (*-ур-* в *гравюра*, *-ин-* в *кузина*). «Исходя из этого, о структуре заимствований можно говорить только при следующих условиях: если а) в русском языке употребляются их производящие основы (хотя бы в связанном виде); б) соответствующие аффиксы встречаются в составе новообразований на русской почве; в) модель (структура) заимствований совпадает с моделью (структурой) каких-либо русских слов» [7]. Что касается словообразовательного анализа диалектных по происхождению слов, то он в принципе не должен отличаться от анализа иноязычной лексики. В только что цитированной книге отмечалось, что «возникновение таких слов относится не к литературному языку, а к иной разновидности национального русского языка, представляющей в известном отношении, хотя и близкую, но особую систему. Все те условия, при которых только и можно говорить о структуре заимствованной лексики, целиком распространяются и на диалектизмы в составе общенародного языка» [8]. Поэтому нельзя согласиться с утверждением В. В. Лопатина и И. С. Улуханова (со ссылкой на соотносимые мною слова *отталина* и *отталь*), что автор рецензируемой ими статьи считает необходимым для установления син-

[6] Г. Павский, Филологические наблюдения над составом русского языка, СПб., 1850, стр. 4.

[7] В. И. Максимов, указ. соч., стр. 142. Ср.: А. Н. Тихонов, Членимость и производность слов типа *физик*, в кн.: «Развитие современного русского языка, 1972. Словообразование. Членимость слова», М., 1975, стр. 186—191; В. С. Гимпелевич, О членимости заимствованных слов в русском языке, там же, стр. 192—198.

[8] В. И. Максимов, указ. соч., стр. 143.

хронных мотивационных отношений литературного языка учитывать в качестве мотивирующих диалектные слова (стр. 41). Необходимо учитывать, что когда были образованы, например, существительные *отталина* и *проталина*, семантически соотносящиеся с ними *отталь* и *проталь* могли и не быть диалектными по употреблению.

6. Обращаясь к разъяснению некоторых вопросов словообразования, в частности критериев объединения морфов в морфемы, выбора и распределения аффиксов, словообразовательных типов, формантов, «нулевых» аффиксальных морфов, В. В. Лопатин и И. С. Улуханов не внесли точности и ясности в эти проблемы. Например, мною отмечалось, что при рассмотрении вопроса об обусловленности выбора суффиксов и их разновидностей В. В. Лопатин и И. С. Улуханов сводят ее только к морфонологическому фактору, несмотря на то, что последний представляет лишь один из многочисленных факторов, определяющих указанный выбор. Более того, все сводилось этими исследователями к конечной фонеме мотивирующей основы. В своей ответной статье они обошли поставленный вопрос во всей его полноте, предложив не смешивать «морфонологическую позицию морфа» и «правило выбора морфа» (стр. 44). Но в самой-то «Грамматике», претендующей на описание функционирующей системы современного словообразования, да еще с позиций «динамической синхронии» (стр. 41), в центре должна стоять не характеристика позиции аффиксов в структуре готовых производных, к тому же образованных, как правило, в давно прошедшие времена, а правила, и не только морфонологического порядка, определяющие выбор производящими словами аффиксов именно в процессе словообразования.

7. Можно было бы столь же подробно рассмотреть и другие возражения В. В. Лопатина и И. С. Улуханова по затронутым вопросам теории словообразования. Однако представляется более целесообразным проанализировать еще раз осуществление теоретических установок в практике описания словообразовательной системы русского языка середины XX в., из чего наглядно будет видна степень приемлемости их и при обучении русскому языку как неродному.

Возьмем суффикс *-ищ(е)* и его производные, чтобы показать, что характеристика словообразовательных средств русского литературного языка середины XX в., с точки зрения предложенных в «Гр. 70» принципов, противоречива и дает в своей основе некорректное представление об этих средствах. Образования с суффиксом *-ищ(е)* рассматриваются в «Гр. 70» прежде всего среди существительных, «мотивированных глаголами», как обозначающие «место, характеризующееся действием, названным мотивирующим словом» (стр. 60). Образования с суффиксом *-ищ(е)* вторично рассматриваются среди отсубстантивных существительных, обозначающих «место того, что названо мотивирующим словом» (стр. 110). Здесь же указывается, что они включают два семантических подтипа: 1) «место по находящемуся на нем предмету или по производимому действию» (*ржище*, *мольбище*), 2) «место, где прежде находился предмет или происходило действие» (*кострище*, *печище*). Следовательно, учитывая семантический признак отсубстантивных производных с суффиксом *-ищ(е)*, В. В. Лопатин и И. С. Улуханов делят их на два подтипа, а с учетом различных частей речи, к которым принадлежат мотивирующие слова, обусловливающие упомянутую семантическую дифференциацию производных, подразделяют их на два типа. Кстати, рассматривая суффиксы в составе словообразовательных типов, эти исследователи не упоминают о значении суффиксов, хотя ими ранее признается, что морф — это «наименьшая единица плана выражения, которую можно соотнести с планом содержания» (стр. 31), что словоформы делятся на «значимые части» (стр. 30). Вместе

с тем, если бы исследователи исходили из значения рассматриваемых ими аффиксов (а не образованных посредством их слов, что ближе стоит все же к лексикологии, чем к словообразованию), они должны были бы отметить, что суффикс *-ищ(е)* в обоих случаях имеет пространственное значение (места). Это главный, наиболее существенный, обобщенный семантический признак данного суффикса. Кстати, В. В. Лопатин и И. С. Улуханов сами ратуют за максимальное обобщение значения рассматриваемых языковых единиц (ср. сказанное ими о суффиксе *-тель*, о морфах и морфемах). То, что соответствующие производные называют место, которое может быть связано с действием или с предметом, зависит уже от характера производящих слов (их принадлежности к определенным частям речи, семантики) и является конкретизацией словообразовательного значения суффикса. Возникает необходимость вычленения наиболее крупной словообразовательной единицы, включающей суффикс в его обобщенном, пространственном значении (места) и производящие слова, независимо от их принадлежности к той или иной части речи, а также менее крупных словообразовательных единиц, различающихся принадлежностью производящих слов к определенной части речи, семантическими, стилистическими и морфонологическими признаками и т. д. Иначе говоря, в процессе создания производных участвует целая иерархия словообразовательных единиц [9]. Применительно к рассматриваемому суффиксу стоило бы сказать, что со значением пространственным (места), сочетаясь с производящими словами любой части речи, он образует обобщенный словообразовательный тип, в соотношении с производящими словами определенной части речи — более конкретную словообразовательную модель. Дело, конечно, не в терминах, а в видении самого языкового явления, показе его среди других, в отграничении его от сходных, в большем проникновении в существо самого процесса словообразования, в признании наличия в языке не одной словообразовательной единицы, а иерархии их. Нельзя здесь не отметить, что В. В. Лопатин и И. С. Улуханов, как и во многих других местах ответной статьи, неточно освещают характер даваемой мною информации. Они пишут: «Утверждение В. И. Максимова, что „Гр. 52—54 к одному словообразовательному типу относила производные... независимо от принадлежности производящего слова к той или иной части речи "(стр. 36), „не соответствует действительности: с точки зрения учета этого признака типа расхождений между двумя грамматиками нет“» (стр. 46). Процитируем, однако, «Гр. 52—54»: «Посредством суффикса *-ищ(е)* от основ имен существительных и от глагольных основ образованы имена существительные среднего рода, обозначающие место, где прежде находился предмет, названный в основе, или где происходило действие, а также обозначающие само действие» (I, стр. 250). И так всегда при характеристике словообразовательного типа — указывается весь круг производящих основ со стороны их принадлежности к определенной части речи и возможности сочетания с тем или иным суффиксом, чего нет в в «Гр. 70».

В последней — в отличие от «Гр. 52—54» — суффикс *-ищ(е)* рассматривается как «алломорф» в ряду с *-лищ(е)*, *-бищ(е)*, т. е. то, что в одной грамматике понимается как разные суффиксы, в другой — как один. Напомним, что В. В. Лопатин и И. С. Улуханов признают в качестве морфа минимальную значимую часть словоформы, в качестве морфемы — «совокупность морфов, выступающих в разных словоформах» (стр. 32). Алломорфы характеризуются, по их мнению, тождественным значением,

[9] В. И. Максимов, Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке, Л., 1975, стр. 44—56.

формальной (фонематической) близостью, незаменяемостью в окружении одних и тех же морфов (в предыдущей моей статье было ошибочно напечатано «морфем»). В то же время они не соглашаются, что последний критерий по существу является принципом дополнительной дистрибуции, заимствованным у дескриптивистов. Однако сравним: «Есть позиции, в которых не может выступать хотя бы один из данных *морфов* (при наличии в этих позициях другого морфа или морфов), причем формальное различие данных морфов обусловлено соседними морфами» («Гр. 70», стр. 33) и «О двух элементах можно сказать, что они находятся в отношении дополнительной дистрибуции, если один из них встречается в таком окружении, в каком никогда не встречается другой» [10]. В «Гр. 70» отмечается также, что морфы, способные взаимозаменяться в окружении одних и тех же морфов, являются вариантами соответствующей морфемы (полными или частичными). Рассмотрим, допустимо ли с указанных позиций признание «морфов» *-ищ(е)*, *-лищ(е)* и *-бищ(е)* «алломорфами». Выбор их в «Гр. 70» определен с точки зрения не словообразования, а словочленения: «Морф *-ищ(е)* выступает в позиции после согласной: *токовать — токовище*, *гноить — гноилище*...; морф *-лищ(е)* — после гласной: *обитать — обиталище*, *жить — жилище*;... морф *-бищ е)* используется после согласной в словах *кладбище*, *лежбище* и *стойбище*» (стр. 60). В готовых словах это, действительно, так. Но при таком подходе полностью игнорируется избирательная потенция производящих слов. Если все эти «морфы» избираются в процессе словообразования глаголами, то необходимо было бы указать, какие из них выбирают один «морф», какие — другой, а какие — третий. Тогда наглядно демонстрировалось бы, что они являются «алломорфами», и не о чем было бы спорить.

Некорректна и противоречива характеристика в «Гр. 70» рассматриваемых «морфов» и со стороны их продуктивности. С одной стороны, они описываются как элементы словообразовательной системы русского языка середины XX в., причем все описание идет в форме настоящего времени («морф *-ищ(е)* выступает», «морф *-бищ (е)* используется»), что создает впечатление активности этих «морфов» в настоящее время. С другой стороны, прямо указывается, что соответствующий «тип непродуктивный; большинство слов относится к книжной, отчасти архаичной лексике». Действительно, анализ производных *прибежище*, *убежище*, *святилище*, *обиталище*, *кладбище*, *пристанище* и т. п. никак не согласуется с утверждением, что «гр. 70» «построена на материалах литературного языка середины XX в.» (стр. 4). Кроме того, слишком прямолинейно отнесение к непродуктивным всех рассматриваемых «морфов». Если это справедливо по отношению к *-ищ(е)* в отглагольных названиях, который утратил активность в прошлом веке, и *-бищ(е)*, то «морф» *-лищ(е)*, возможно, сохранил некоторую продуктивность до указанного времени (*нерестилище*). В то же время в «Гр. 70» указывается, что тип отсубстантивных производных с суффиксом *-ищ(е)* якобы «обнаруживает продуктивность в сельскохозяйственной терминологии (названия площадей под сельскохозяйственными культурами)» (стр. 111). Это утверждение не подкрепляется приведением соответствующих неологизмов и противоречит тому факту, что продуктивность суффикса *-ищ(е)* с пространственным значением в целом иссякла в XIX в. Это лишний пример того, как невнимание к диахронии ведет к искажениям в характеристике языковых элементов с синхронной точки зрения. Субъективизм в анализе структуры слова можно показать и на таком примере. Существительное *пристанище* относится в «Гр. 70» к образованиям с «морфом» *-ищ(е)* от глагольной основы настоящего вре-

[10] Г. Глисон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 96.

мени. Авторы не учитывают, что все производные с этим суффиксом (и они весьма многочисленны) восходят к инфинитивным основам. Если быть последовательным, то надо и производное *пристанище* соотносить с инфинитивом и выделять «морф» *-нищ(е)*, тем более, что образования с этим суффиксом возникали еще в XIX в.: *вальнище* — место, где валят в реку бревна или дрова для сплава; *житнище* — место, где посеян ячмень.

Таким образом, при описании действующей системы русского словообразования середины XX в. следовало бы упомянуть не о трех «морфах», образующих названия места, которые алломорфами не являются и никогда не были, а единственно о суффиксе *-лищ(е)*, проявлявшем некоторую продуктивность в указанное время. Остальные же из упоминавшихся «морфов» — продукт членения с современной точки зрения некогда возникших производных, причем членения нередко субъективного. Никакого отношения к современному (в узком понимании) словообразованию они не имеют.

То же самое в принципе следует сказать об описании в «Гр. 70» (стр. 111) «морфов» *-ищ(е)* — *-овищ(е)*, образующих названия части предмета (обычно рукоятки орудия): *топор — топорище*, *коса — косовище*. Дифференцирование их в качестве «алломорфов» по признаку «морф *-ищ(е)* после парной мягкой согласной» — «морф *-овищ(е)* после парных твердых» несерьезно, так как конечный мягкий согласный производящей основы является не причиной выбора «морфа» *-ищ(е)*, а следствием его присоединения, смягчающего влияния начального *и* суффикса.

Если бы В. В. Лопатин и И. С. Улуханов учитывали при описании данные диахронии, они не могли бы не заметить, что среди существительных с модификационными значениями есть образования не только с увеличительным суффиксом *-ищ(е)*, но и с усилительным [11].

Следует отметить, что полемика в данном случае направлена не против В. В. Лопатина и И. С. Улуханова как авторов раздела «Словообразование» в «Гр. 70». Оба исследователя внесли определенный вклад в теорию и практику русского словообразования, в том числе и в упомянутом труде. Речь шла и идет о сравнении и оценке принципиальных установок, заложенных в двух подготовленных на протяжении двадцати лет (50—60 годы) академических грамматик в их отношении к практике обучения русскому языку как неродному. Сравнение в ряде случаев оказывается не в пользу «Гр. 70», ибо те ее принципиальные новшества, о которых говорилось выше, нельзя признать удачными, так как они сами по себе не дали при описании грамматической системы преимуществ и не могут быть использованы в практике обучения русскому языку.

Принципы описания грамматической системы русского языка, нашедшие отражение в «Гр. 52—54», для практики обучения языку имеют большее теоретическое и практическое значение по сравнению с принципами, на которых строится «Гр. 70».

---

[11] А. Л. Максимова, Суффиксы *-ич-*, *-ищ-* и их производные в русском языке. АКД, Л., 1978, стр. 15—16.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

МАГОМЕТОВ А. А.

К ЭВОЛЮЦИИ КЛАССНОЙ СИСТЕМЫ В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Если начать обзор грамматических классов дагестанских языков с севера, то в аварском языке — языке наиболее распространенном по численности говорящих — эта система простая и ясная: исторически четыре грамматических класса в ед. числе свелись к трем классам, во мн. числе грамматические классы унифицированы, показатель четвертого класса стал обобщенным показателем мн. числа [1].

	I кл.	II кл	III кл.
ед. ч.	*w*	*j*	*b*
мн. ч.		*r*	

В андийских языках в ед. числе насчитывается в основном три грамматических класса, т. е. столько же, сколько в аварском языке, и с теми же экспонентами, но число может дойти до пяти и даже до шести; во мн. числе их количество может быть таким же, что и в ед. числе, но в большинстве андийских языков во мн. числе грамматические классы унифицированы до двух: I класс составляет категорию личности (экспонент *b*), II класс — категорию вещи (экспонент *r*). Полной унификации грамматических классов во мн. числе андийские языки, в отличие от аварского языка, не достигли.

Схема показателей грамматических классов большинства андийских языков [2] (багвалинский, тиндийский, годоберийский, ахвахский, каратинский)

	I кл.	II кл.	III кл.
ед. ч.	*w*	*j*	*b*
мн. ч.	*b*		*r*

В ботлихском языке, при тех же трех классах в ед. числе, во мн. числе различие двух классов основано на одушевленности (показатели: *r- -l*) и неодушевленности (показатель *b*) [3].

В чамалинском языке [4] выделяют пять грамматических классов в ед. числе, где в III, IV, V классы распределены слова, обозначающие

[1] См.: А. С. Чикобава, К истории грамматических классов в аварском языке, «Изв. ИЯИМК», I, 1937 (на груз. яз.). Подсчет числа грам. классов мы производим по показателям грамматических классов ед. числа.

[2] См.: А. С. Чикобава, указ. соч., Т. Е. Гудава, Багвалинский язык, Тбилиси, 1971 (на груз. яз.); его же, Тиндинский язык, «Языки народов СССР» IV — Иберийско-кавказские языки, М., 1967; его же, Годоберинский язык, там же; П. А. Саидова, Годоберинский язык, Махачкала, 1973; З. М. Магомедбекова, Ахвахский язык, Тбилиси, 1967; ее же, Каратинский язык, Тбилиси, 1971.

[3] См.: Т. Е. Гудава, Ботлихский язык, Тбилиси, 1962 (на груз. яз.).

[4] См.: А. А. Бокарев, Очерк грамматики чамалинского языка, М.— Л., 1949; З. М. Магомедбекова, Чамалинский язык, «Языки народов СССР», IV — Иберийско-кавказские языки.

животных, вещи, абстрактные понятия; во мн. числе — два класса с показателями *b* и *j*:

	I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.	V кл.
ед. ч.	*w*	*j*	*b*	*j- -l*	*j, w, d*
мн. ч.	*b*		*j*		

В самом андийском языке [5] картина сложнее: в большинстве его диалектов различается пять классов, а в одном — рикванинском говоре [6] — даже шесть, но в ряде говоров — всего три класса. В нижнеандийских говорах во мн. числе столько же классов, сколько в ед. числе:

	I кл.	II кл.	III кл.
ед. ч.	*w*	*j*	*b*
мн. ч.	*w*	*j*	*b*

В верхнеандийских говорах представлены четыре классных показателя, «которые относятся исторически к общему достоянию не только андийских говоров, но и всех аварско-андийско-дидойских языков» [7].

В дидойских языках — четыре грамматических класса в ед. числе и два во мн. числе [8]:

	I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.
ед. ч.	Ø	*j*	*b*	*r*
мн. ч.	*b*		*r*	

Во мн. числе в дидойских языках грамматические классы унифицированы до двух, в самом дидойском языке наблюдается тенденция к обобщению экспонента *r* в качестве одного общего показателя вместо двух подобно аварскому языку [9].

Таким образом, в аварско-андийско-дидойских языках представлена система грамматических классов, состоящая из трех или четырех подразделений в ед. числе, при двух классах или полной их унификации во мн. числе. При этом, судя по классным экспонентам, четырехклассная система является исходной как для трех классов в аварском и большинстве андийских языков, так и для пяти и шести классов, представленных в некоторых андийских языках (чамалинский язык, говоры андийского языка) [10].

В языках, распространенных в южной части Дагестана — лезгинских языках — классная система претерпела значительные изменения: с одной стороны, среди лезгинских языков имеются языки с четырьмя грамматическими классами (цахурский, рутульский, арчибский, будухский, крыцский и хиналугский), с другой стороны, языки, утратившие категорию классов (лезгинский, агульский и удинский). Это полярная позиция в отношении классной системы в лезгинских языках. Один из лезгинских языков — табасаранский язык — занимает промежуточную позицию, имея два грамматических класса: категорию человека (личности) и категорию вещи в ед. числе, при полной унификации классов во мн. числе.

---

[5] См.: И. И. Церцвадзе, Андийский язык, Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).

[6] См.: Я. Г. Сулейманов, Грамматический очерк андийского языка (по данным говора с. Риквани). АКД, Махачкала, 1960.

[7] А. С. Чикобава, указ. соч., стр. 101.

[8] См.: Е. А. Бокарев, Цезские (дидойские) языки Дагестана, М., 1959; Д. С. Имнайшвили, Дидойский язык в сравнении с гинухским и хваршийским языками, Тбилиси, 1963.

[9] См.: Д. С. Имнайшвили, указ. соч., стр. 44.

[10] См.: А. С. Чикобава, указ. соч.; А. С. Чикобава, И. И. Церцвадзе, Аварский язык, Тбилиси, 1962 (на груз. яз.).

Характерно, что в самом табасаранском языке грамматические классы лучше сохранились в северном диалекте, сравнительно с южным диалектом, граничащим с лезгинским языком — языком, где они ныне утрачены. В говорах табасаранского языка — с севера на юг — наглядно прослеживается картина затухания рассматриваемой категории.

Во мн. числе грамматические классы в лезгинских языках унифицируются по-разному, но обычно при четырехклассной системе в ед. числе во мн. числе представлена двухклассная: категория человека (личности) и категория вещи. Показатель третьего грамматического класса ед. числа используется во мн. числе для категории человека, показатели четвертого класса — для категории вещи. Такое состояние имеем, например, в хиналугском языке — языке с самой сложной системой грамматических классов [11].

Схема оформления классными экспонентами глагола без местоименных элементов в хиналугском языке:

	I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.
ед. ч.	Ø	s	p	Ø
мн. ч.	p		Ø	

Схема с местоименными элементами, изменяющимися соответственно грамматическим классам:

	ед. ч.	мн. ч.
I кл. Ø	d (//du)	p dur
II кл. c	dä	
III кл. p	dä	Ø žit
IV кл. Ø	ž	

В лакском языке — одном из языков центральной — лакско-даргинской подгруппы дагестанских языков — представлена четырехклассная система с двумя классами во мн. числе [12]:

	I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.
ед. ч.	w, Ø	d, r	b (// → w)	d, r
мн. ч.	b			d, r

Три грамматических класса ед. числа в лакском языке унифицируются во мн. числе в один класс с экспонентом *b*, второй класс мн. числа с показателями *d*, *r* соотносится с четвертым классом ед. числа.

Сложнее картина в даргинском языке. Сильная диалектная дифференцированность последнего привела к значительным расхождениям по диалектам и в рассматриваемом отношении.

Общая тенденция сокращения числа грамматических классов, свойственная дагестанским языкам вообще и ярко выраженная в лезгинских языках, характерна и для даргинского языка, где четыре класса, в основном, сведены к трем: в литературном даргинском языке (resp. акушинском диалекте), в диалектах урахинском, цудахарском, муиринском, сирхинском, хайдакском, кубачинском. Однако четыре класса в ед. числе сохранились в одном из диалектов даргинского языка — в одноаульном мегеб-

[11] См.: Ю. Д. Дешериев, Грамматика хиналугского языка, М., 1959; А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловянникова, Фрагменты грамматики хиналугского языка, М., 1972; А. А. Магометов, Система грамматических классов в хиналугском языке, ЕИКЯ, III, 1976.

[12] См.: В. Т. Топурия, Грамматические классы и их экспоненты в лакском языке, «Изв. ИЯИМК», XII, 1942 (на груз. яз.).

ском диалекте. Находясь в окружении аварской и лакской речи, в отрыве от других диалектов даргинского языка, речь аула Мегеб сохранила ряд архаичных черт в том числе и в рассматриваемой системе. В мегебском, в отличие от других диалектов, *dursi* «девушка» вместе с соотнесенными с этим понятием словами (например, *учительница*, *агроном*..., если речь идет о девушке) по классному показателю в префиксе согласующегося с ним глагола в форме ед. числа выделяется в отдельный класс, отличный от класса женщины [13].

adami ***w****aḳib* «мужчина пришел», *x'unul* ***r****aḳib* «женщина пришла», *beç* ***b****aḳib* «волк пришел», *dursi* ***d****aḳib* «девушка пришла»; *adami* *išew* *lew* «человек (мужчина) здесь находится», *x'unul* *išer* *ler* «женщина здесь находится», *beç* *išeb* *leb* «волк здесь находится», *dursi* *išer* *ler* «девушка здесь находится»; *nuša* ***b****aḳira* «мы (I, II, IV кл.) пришли», *nuša* ***d****aḳira* «мы (III кл.) пришли», *hₒuša* ***b****aḳib* «вы (I, II, IV кл.) пришли», *hₒuša* ***d****aḳib* «вы (III кл.) пришли», *x'uhe* ***b****aḳib* «женщины пришли», *buçe* ***d****aḳib* «волки пришли», *dursbe* ***b****aḳib* «девушки пришли»; *nuša* *išeb* *lebra* «мы (I, II, IV кл.) здесь находимся», *hₒuša* *išeb* *leb* «вы (I, II, IV кл.) здесь находитесь», *hₒuša* *išer* *ler* «вы (III кл.) здесь находитесь», *x'uhe* *išeb* *leb* «женщины здесь находятся», *buçe* *išer* *ler* «волки здесь находятся», *dursbe* *išeb* *leb* «девушки здесь находятся».

Схема показателей грамматических классов м е г е б с к о г о диалекта

	I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.
ед. ч.	*w*, Ø	*r*	*b*	*d- -r*
мн. ч.	*b*		*d- -r*	*b*

Из диалектов даргинского языка мегебская четырехклассная система, в принципе аналогичная системе лакского, андийских и других языков (четыре класса — в ед. числе, два класса — во мн. числе), представляет собой более простую систему.

Во всех других даргинских диалектах представлена более сложная система.

Литературный даргинский язык

	I кл.	II кл.	III кл.
ед. ч.	*w*, Ø	*r*	*b*
мн. ч. 1, 2 л.	*d- -r*	*d- -r*	*d- -r*
3 л.	*b*		*d- -r*

Урахинский диалект

	I кл.	II кл.	III кл.
ед. ч.	*w*, Ø	*d- -r*	*b*
мн. ч. 1, 2 л.	*d- -r*	*d- -r*	*d- -r*
3 л.	*b*		*d- -r*

Муиринский диалект

	I кл.	II кл.	III кл.
ед. ч.	*w*, Ø	*r*	*b*
мн. ч. 1, 2 л.	*d*	*d*	*d*
3 л.	*b*		*d*

[13] «Девушка» и в лакском языке по классу отличается от «женщины», но в отличие от мегебского диалекта даргинского языка не составляет самостоятельный класс, а относится к третьему (экспонент — *b*); см.: П. К. У с л а р, Этнография Кавказа. Языкознание, IV — Лакский язык, Тифлис, 1890, стр. 10.

Кубачинский диалект

	I кл.	II кл.	III кл.
ед. ч.	*w*, Ø	*j*	*b*
мн. ч. 1, 2 л.	*d*	*d*	***d***
3 л.	*b*		*d*

Приведенные схемы характеризуют в принципе систему грамматических классов в диалектах даргинского языка, исключая мегебский диалект.

В ед. числе экспонент I класса *w* и экспонент III класса *b* являются общими в даргинских диалектах [14]. Разнообразны по диалектам экспоненты второго класса: 1) *d- -r*, 2) *r*, 3) *j*. Здесь имеет место фонетическое изменение: ***d*** → *r* → *j* (известное и в других дагестанских языках). Более древнее состояние характерно для урахинского диалекта, где в префиксе сохранился *d*, изменившийся в суффиксе в *r*; в большинстве диалектов даргинского языка, в том числе в литературном даргинском языке, экспонентом второго грамматического класса является *r*, т. е. в этом случае и префиксальный *d* изменился в *r*; в кубачинском диалекте процесс изменения классного экспонента пошел дальше: *r* → *j* (аналогично аварскому языку) [15].

Во мн. числе в 1 и 2-м лице во всех классах и в 3-м лице третьего класса в одних диалектах (литературный даргинский язык, урахинский диалект и др.) выступают классные показатели *d- -r*, в других диалектах (муиринский диалект, кубачинский диалект и др.) — *d*; т. е. в одном случае как в префиксе, так и в суффиксе имеем экспонент *d*, в другом случае, в суффиксе *d* изменился в *r* [16]. В 3-м лице в первых двух классах во всех диалектах имеем экспонент *b*.

Характерная особенность в системе грамматических классов в даргинском языке сравнительно с другими дагестанскими языками, а также с мегебским диалектом самого даргинского языка, проявляется в формах мн. числа, где классные экспоненты различаются в зависимости от лица: в 1 и 2-м лице мн. числа во всех классах экспоненты одинаковы, в 3-м лице же различаются: I и II классы имеют один показатель, III класс — другой.

В первых двух лицах мн. числа грамматические классы в даргинском языке унифицированы, между тем как в 3-м лице еще выступают два класса: первый класс мн. числа объединяет I и II классы ед. числа, образуя категорию человека (личности), второй класс мн. числа — это категория вещи, соответственно третьему классу ед. числа. В 3-м лице мн. числа унификация неполная.

Таким образом, в первых двух лицах мн. числа в системе грамматических классов даргинского

[14] Можно отметить некоторые изменения классных экспонентов I и III классов на фонетической основе в ряде диалектов и говоров даргинского языка: *w* → *j* (под влиянием гласного переднего ряда, в частности *e*), *w* утрачивается перед *u* во всех диалектах, перед *i* — в ряде диалектов (в частности в урахинском диалекте, исследованном И. Усларом еще в 60-х годах прошлого столетия; см.: П. К. Услар, Хюркилинский язык, Тифлис, 1892); экспонент третьего класса может измениться в *m* или *w*.

[15] Фонетический процесс *d*→*r* → *j* прослеживается в диалектах даргинского языка в самом слове, означающем «девушка»: ***d***ursi (мегеб. диал.), ***r***ursi (большинство даргинских диалектов), ***j***üs$_{ə}$e (кубачин. диал.). Исходное состояние сохранилось в мегебском диалекте. Ср. аналогичное соотношение префиксального элемента — окаменелого классного показателя — в том же слове, но в разных языках: ***d***uš (лакский язык), ***r***iš/***r***uš (лезгинские языки), ***j***as (аварский язык). Соотношение между классными показателями *d* — *r* — *j*, выявляющееся между языками: лакским, лезгинским и аварским представлено в даргинском языке между его диалектами.

[16] Таким образом, суффиксальный классный экспонент претерпевает изменение раньше префиксального (что наблюдается как в ед. числе, так и во мн. числе).

языка представлено состояние, аналогичное аварскому языку (где во мн. числе классы полностью унифицированы), а в 3-м лице мн. числа, где выступают два класса (или две категории — личности и вещи), представлено состояние, аналогичное андийским языкам (где во мн. числе имеются также два класса).

При полной унификации грамматических классов во мн. числе обобщается в качестве общего экспонента показатель четвертого класса, при частичной унификации (т. е. при наличии во мн. числе двух классов) обобщаются показатели III и IV классов: для I класса мн. числа — показатель III класса ед. числа *b*, для II класса мн. числа — исторические экспоненты IV класса ед. числа — *d*, *r*.

В мегебском диалекте сравнительно с другими диалектами представлено более древнее состояние рассматриваемой категории как в ед. числе (четыре класса, вместо трех в других даргинских диалектах), так и во мн. числе (два грамматических класса независимо от лица, к которому относится классный показатель).

В диалектах даргинского языка, за исключением мегебского, во мн. числе грамматические классы находятся на пути к полной унификации. Когда будут унифицированы два класса и в 3-м лице (аналогично тому, как это уже имеет место в первых двух лицах), будем иметь полную унификацию классов во мн. числе, при которой обобщающими классными экспонентами явятся исторические показатели IV класса.

Четырехклассная система мегебского диалекта может стать, аналогично системам других даргинских диалектов, трехклассной в том случае, когда префиксальный экспонент *d*, указывающий на класс «девушки», изменится в *r*, как это уже произошло в суффиксе. И тогда, поскольку во мн. числе классные экспоненты «девушки» не отличаются от экспонентов класса «женщины», четвертый класс (класс «девушки») сольется со вторым классом (классом «женщины»).

В мегебском диалекте личное спряжение находится в начальной стадии развития: оформляется лишь 1 лицо, 2 и 3-е лица не имеют личных окончаний. Видимо, поэтому различие классных экспонентов по лицам во мн. числе в отличие от других диалектов не нашло отражения в мегебском диалекте.

Классная система даргинского языка по диалектным данным находится на пути к той системе, которая ныне представлена в аварском языке: к системе трех грамматических классов в ед. числе (с экспонентом второго грамматического класса — *j*) и к полной унификации классов во мн. числе с обобщающим для мн. числа экспонентом четвертого класса *d* (// → *r*).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

МУРЬЯНОВ М. Ф.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ *НАСУЩНЫЙ ХЛЕБ*

В объяснении семантики прилагательного *насущный* сейчас не затруднится ни один носитель русского языка, не случайно оно фигурирует в наброске стихотворения «Родное», найденном в сафьянном портфеле с бумагами скончавшегося Козьмы Пруткова. По дефиниции академического Словаря, *насущный* — это «имеющий важное жизненное значение, безусловно необходимый», с примером из Достоевского о приглашении в шафера на свадьбу: «Дело было насущное и неотлагательное» [1]. Но совсем не так обстояло дело в начале славянской письменности: достоверно известно, что *насѫщьныи* в праславянском языке отсутствовало, оно представляет собой искусственный церковнославянизм, один из нескольких синонимов, имевших очень своеобразное, единственное в своем роде назначение: передать греческое ἐπιούσιος (Мф 6,11 = Лк 11,3) [2], смысл которого был неясен самим грекам, красноречивым свидетельством чему является отсутствие этого слова в лексике античных, византийских и новогреческих текстов, если они не связаны с Мф 6,11. Еще в III в. Ориген компетентно заявил, что не встречал ἐπιούσιος ни в языке ученых, ни в просторечии [3]. С тех пор объяснение этого слова было «пыткой для богословов и грамматиков», carnificina theologorum et grammaticorum, и, как они признали, «желать достигнуть здесь чего-нибудь точного — это все равно, что губкой гвоздь вколачивать», σπόγγῳ πάτταλον κρούειν [4]. Лишь в 1925 г. А. Дебруннер добавил новый факт: папирус из Файюма (Верхний Египет), где в перечне домашних расходов на вино, растительное масло, бобы, солому и т. п. обозначено επιουσι ... по цене 1/2 обола, т. е. примерно 0,36 г серебра. Не встретило возражений дополнение поврежденного слова до формы род. падежа мн. числа ср. рода ἐπιουσίων, но что оно подразумевает — опять же неизвестно [5].

В Мф 6,11 ἐπιούσιος выступает как установленное самим Христом определение того, что следует молящемуся просить у Господа: τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, *хлеб наш насущный даждь нам днесь*, причем во всем остальном слова этой молитвы («Отче наш») ясны и просты, и твердилась она каждым византийцем тысячи раз в году, от утреннего пробуждения до вечернего отхода ко сну, причем отнюдь не всегда мысль витала где-то далеко, отрываясь от произносимых слов. И тем не менее какая-то незаметная языковедам внутренняя неисправность в ἐπιούσιος вызвала такую силу сопротивления языковой стихии, что это слово так и не стало живым, применимым во все новых переосмыслениях, как это

[1] «Словарь современного русского литературного языка», 7, М.— Л., 1958, стр. 560.

[2] «Slovník jazyka staroslověnského», 20, Praha, 1970, стр. 322.

[3] Origenes, De oratione 27,7 «Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte», 2, Leipzig, 1900, стр. 366.

[4] «Толковая Библия», 8, СПб., 1911, стр. 123.

[5] P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 2, Paris, 1970, стр. 359.

произошло с его славянской калькой, первоначально понятной не больше, чем ее греческий оригинал. Высокой частотности русск. *насущный* во всех сферах современного языка, его способности образовывать степени сравнения и производные слова (в 1916 г. В. И. Ленин указывал на «практическую насущность тактики Маркса» [6]) противостоит единственный случай, когда в 1773 г. иерусалимский книжник Сергий Малеа при переводе армянского церковного текста на греческий язык употребил ἐπιούσιος; что стояло в утраченном оригинале — неизвестно [7].

Затемненность смысла греч. ἐπιούσιος напоминает о том, что сакральность вовсе не требует, чтобы все в ней было до конца понятным: наоборот, элемент недосказанности, таинственности является для нее органичным. Когда этот элемент нужно адекватно выразить на другом языке, то это оказывается невозможным. Понимание этого факта лежит в основе изначального запрета в исламе на перевод Корана, во всех мечетях мира Коран возглашают только на арабском языке, равно как во всех синагогах звучит только иврит; некоторые религии вообще не распространились далее территории того языка, на котором они возникли. Но уже в зарождении христианства имела место лингвистическая особенность, отличающая его от других религий: основной сакральный текст, Евангелие, зафиксирован не на том языке, которым пользовался основоположник христианства. Пропасть, разделявшая семитский и греческий типы мышления, поглотила при этом множество семантических тонкостей (их реконструкция и является не всегда достижимой целью библейской филологии, оперирующей данными сравнительного языкознания), последующие переводы с греческого приводили к дальнейшим семантическим сдвигам. Древнегрузинский переводчик, доискиваясь до первоначального смысла Мф 6,11, применил на месте ἐπιούσιος композитное слово с элементом *mara* — значит, здесь он ориентировался не на греческий текст, а на арамеизированный перевод греческого Евангелия на иврит, выполненный в середине II в., где читалось *mahar* «завтра» [8], этому древнееврейскому слову многими толкователями Мф 6,11 придается большее значение, чем греческому, хотя есть и противники этой точки зрения. В латинской Вульгате есть противоречие, одно и то же ἐπιούσιος греческого подлинника переведено и как *panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie* (Мф 6,11), и как *panem nostrum cotidianum da nobis hodie* (Лк 11,3). Откуда это под пером столь внимательного и сведущего переводчика, каким был Иероним? Раздвоение латинского эквивалента как бы выражает потребность более широкого охвата неуловимых греческих значений [мотив ежедневности, привносимый словом *cotidianum*, соответствует тому месту Талмуда, который экзегеты цитируют по поводу Мф 6,11. Талмуд повествует, что ученики рабби Симеона бен Иохаи (середина II в.) спросили, почему манна падала с неба каждый день, а не сразу на целый год. Рабби ответил: «С чем сделаю я сравнение? С царем по плоти и крови, который имел сына и давал ему сразу на целый год все необходимое. И сын целовал лицо своего отца раз в год. Тогда отец решил давать ему все частями изо дня в день. И сын целовал

---

[6] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 27, стр. 262.

[7] «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», hrsg. von G. Kittel, 2, Stuttgart, 1935, стр. 587.

[8] S. Kauchtschischwili, Ein Beitrag zur ἐπιούσιος-Frage, «Philologische Wochenschrift», 50, Leipzig, 1930, стр. 1166—1168. Как мне любезно объяснили А. Г. Шанидзе и Л. Хевсуриани, Мф 6,11 в Адишском Евангелии 897 г. дает samaradisoj «всегдашний» (от maradis «всегда»), в прочих списках — arsobisaj «существования» (род. п. от arsoba), а в Лк 11,3 многие списки дают нечто иное: tanaarsobisaj (хлеб наш *со*-существования дай нам изо дня в день). См.: Две древних редакции грузинского Четвероглава. Издал А. Шанидзе. Тбилиси, 1945; Две последних редакции грузинского Четвероглава. Издал И. Имнаишвили. Тбилиси, 1979.

лицо своего отца каждый день» [9]. По мысли О. Н. Трубачева, высказанной при обсуждении настоящей статьи, незаурядным лингвистическим фактом является то, что *насѫштьнъ* передает этимологию греческого слова несравненно точнее, чем *supersubstantialis* или *cotidianus* у Иеронима: славянское калькирование замечательно применением для передачи -ουσιος (и.-е. **sont-i-os*) этимологически родственного -*сѫштъ-нъ* (и.-е. **sonti-*), что служит свидетельством меры гениальности первоучителей славян.

Cotidianum воспроизведено вполне адекватно в древневерхненемецком переводе стиха Вульгаты, дошедшем в рукописи IX в.: *unsar brôt tagalîhhaz* [10], здесь др.-в.-нем. *tagalîhhaz* > нем. *täglich* «ежедневный, дневной». Однако существует еще более древний список, VIII в., где читается *prooth unseer emezzihic* [11], здесь прилагательное *emezzihic* (развившееся в нем. *emsig*) толкуется лексикографами академического Словаря древневерхненемецкого языка как «постоянный через определенные промежутки времени, регулярный, ежедневный» (ständig in einem bestimmten Abstand, regelmässig, täglich) [12]. Но ведь само по себе *emezzihic* не дает достаточных оснований для такого понимания, это слово не имеет аналогий в родственных языках и неясно по этимологии. Словарная дефиниция здесь исходит, за неимением других возможностей, не из языкового факта, а извне, из укоренившегося богословского истолкования Мф 6,11, к тому же не более чем предположительного, одного из возможных, поэтому и в словарной статье не должна была бы иметь место наличествующая в ней безоговорочность.

Во главу славистической традиции толкования ἐπιούσιος [13] следовало бы поставить упускаемый из виду текст образованнейшего славянина конца IX в. Иоанна екзарха Болгарского, писавшего о хлебе, претворенном на литургии в тело Христово: «*сь хлѣбъ ѥсть начатъкъ придущюаго хлѣба·иже ѥсть присносоушьныи·епиусинъ бо елиньскы речеть сю или придоущии·еже есть грядоущаго вѣка·или ѥже есть на съблюденьѥ·сущьства нашего приемлемо*“ [14].

Здесь *придоущии* отражает мнение, что греческое слово связано с выражением ἡ ἐπιοῦσα ἡμέρα «грядущий день», где ἐπιοῦσα — причастие жен. рода от ἔπ-ειμι «приду». Слово *насущный* не названо, но предполагается известным, так как этимологизируется: *на съблюденьѥ сущьства*, или *начатъкъ* того, который есть *присно-соущьныи*; понимание времени в христианской философии таково, что *присносоущьныи* или *грядоущаго вѣка* (в эсхатологическом смысле) есть одно и то же. Концепция, которой придерживался Иоанн екзарх Болгарский, близка к «Поучениям огласительным» Кирилла Иерусалимского (середина IV в.), который тоже считал, что в Мф 6,11 подразумевается «хлеб души» — евхаристическая частица тела Христова. «Поучения» Кирилла имели хождение на славянской почве, до нас дошли русский список конца XI — начала XII в. (Гос. исторический музей, Москва, Синодальное собр., № 478) и «Хиландарский листок» старославянского списка первой половины XI в. (Одесская гос. научная библиотека, № Р 1/533). По своей сути такая интерпретация ἐπιούσιος —

---

[9] F.-M. Braun, Le pain dont nous avons besoin, Mt 6,11; Lc 11,3, «Nouvelle revue théologique», 100, Tournai, 1978, стр. 568.

[10] «Frühmittelalterliches Deutsch» hrsg. von F. Tschirch, Halle, 1955, стр. 11.

[11] Там же, стр. 10.

[12] «Althochdeutsches Wörterbuch», 3, 4, Lf., Berlin, 1974, стр. 276.

[13] Ср.: А. С. Львов, Из лексикологических наблюдений, 14. Ст.-слав. *насѫштьныи*, «Этимология 1977», М., 1979, стр. 60—61.

[14] «Богословие св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна екзарха Болгарского», ЧОИДР, 1877, кн. 4, М., 1878, стр. 61 и сл.

оригенистская [15], она имеет очевидное слабое место: Нагорная проповедь, где прозвучало это слово, состоялась до Тайной вечери, учредившей литургию. Сюда же примыкает Успенский сборник, где находим рассуждение о теле Христовом: «*сего хлѣба марию роди · а цркы прию · и по вьсѧ дьни нами ѣдомъ ѥсть и не коньчаѥть сѧ*» [16]. Этим же можно объяснить символизм погребального ритуала в Великую пятницу, когда патриарх месит тесто на вине и опечатывает им sepulcrum Domini [17].

По данным картотеки Словаря XI—XVII вв. в Институте русского языка АН СССР следующим звеном истории слова *насущный* является его наличие в новгородской Геннадиевской Библии 1499 г. в неожиданном месте — как эпитет *всесожжения* в I Ездр III, 5, где елизаветинская Библия дает *всесожженіѧ непрестаннаѧ*, в Вульгате этот стих выглядит как *Et post haec holocaustum iuge*, в Септуагинте — καὶ μετὰ τοῦτο ὁλοκαυτώσεις ἐνδελεχισμοῦ. Из XVII в. эта же картотека дает первый случай, когда проявилось народное переосмысление интересующего нас слова — оно выступает в таком контексте, где нет ничего от философских абстракций, речь идет об осязаемом, материальном, обладающем признаками качественной сравнимости: «Камень левкасный чтобъ былъ добрѣиший насущный» [18]. В славяно-греко-латинском «Лексиконе» Ф. Поликарпова (1704) к *насущный* дано лат. соответствие *vulgatus*, не имеющее никакого отношения к Мф 6,11; эпоха Просвещения увела сочетаемость слова далеко от церковности: «Ведь испугался он пустых насущных врак» (Капнист, «Ябеда», 1798). Так церковнославянизм столь узкоспециального назначения, что его нельзя встретить даже в разнообразнейших фразеологических вариациях церковнославянской гимнографии [19], вошел под знаком иронии в русский литературный язык, носители которого тогда вполне отчетливо сознавали связь слова *насущный* с молитвой «Отче наш» и только с ней. На протяжении XIX в. ироническое стерлось, нейтральное слово развило в себе способность вступать в свободные словосочетания и все разнообразие оттенков значений, которое сейчас наиболее отчетливо наблюдается по русско-иноязычным словарям, где оно переводится как франц. *essentiel*, *urgent*, *vital*, нем. *wesentlich*, *dringend*, (*vor*)*dringlich*, *unerlässlich*, *brennend*, *wichtig* и т. д., причем эти слова во французском и немецком языках никакого отношения к Мф 6,11 не имеют.

В основе тропа *хлѣбъ нашъ насѫщьныи*, подразумевающего пищу в сколь угодно широком смысле, находится реалия *хлѣбъ*, имеющий вес, форму, цвет, запах, вкус. Каждый из этих признаков может меняться, но в качестве идеала нашему воображению рисуется душистый крестьянский каравай, как в Словаре Даля (IV, 552): «*Разбуди меня, мама, завтра пораньше! „Что так?“ Да вот хлебушка-то ломоть доесть: теперя уж не смогу!*». Или евхаристический хлеб московских просвирен, у которых Пушкин в последние годы жизни советовал учиться правильному русскому языку; относительно этого хлеба имеется точное разъяснение «Известия

---

[15] Ср.: W. Rordorf, Le pain quotidien (Mt 6,11) dans l'histoire de l'exégèse, «Didaskalia», 6, Lisboa, 1976, стр. 221—235.

[16] «Успенский сборник XII—XIII вв.», под ред. С. И. Коткова, М., 1971, стр. 330. Ср.: R. Schnackenburg, Das Brot des Lebens, в сб.: «Tradition und Glaube. Festgabe für K. G. Kuhn», Göttingen, 1972, стр. 328—342.

[17] А. Дмитриевский, Богослужение страстной и пасхальной седмиц во св. Иерусалиме IX—X в., Казань, 1894, стр. 146—147.

[18] П. Симони, К истории Обихода книгописца, переплетчика и иконного писца, СПб., 1906, стр. 215.

[19] Единственное исключение — стихира индикту: «...на всѧ дни вси възъпиѥмъ творьцю · оче нашь, иже на нбсѣхъ живеши, истиньныи и насоущии хлѣбъ даи намъ, прѣзьрѧи грѣхы наша», См.: И. В. Ягич, Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь, СПб., 1886, стр. 04.

учительного» в церковнославянском Служебнике: «*хлѣбъ ѿ чистыѧ пшеничныѧ мꙋки, водою простою естественною смѣшаный, и добрѣ испеченый, квасный, непресоленый, свѣжій и чистый: вкꙋсъ, сіесть, смакъ свойственный имѣѧй, и къ ꙗденію благопріѧтный и способный*».

Однако эти представления далеки от того, какое возникало в языковом сознании славян IX в., когда в их ушах звучало миссионерское *хлѣбъ нашъ насѫщьныи*; кроме того, они не имели понятия о том, каким был хлеб на родине Кирилла и Мефодия или тем более в Палестине времен Нагорной проповеди. Славяне лучше знали, что такое мясомолочная, рыбная пища, яйца и то пропитание, какое можно добыть в лесу, включая мед, а земледелие было у них развито неравномерно. Корнеплоды и злаки культивировались — ст.-слав. *злакъ* родственно с фригийск. *zelkia* «овощи» [20], — потребность в зерне диктовалась объективной биологической необходимостью, так как хлеб представляет собой единственный вид продовольствия, обладающий свойством не приедаться, и ни один народ, познавший эту пищу, не вернулся к бесхлебному питанию. Но возможности производства зерна, особенно в северных землях, были в IX в. не настолько велики, чтобы печеный хлеб мог являться решающим компонентом в пищевом балансе, общепонятным символом пищи вообще [21]. Основной зерновой культурой было просо (в античности греки называли варваров мелинофагами, букв. «просоедами»), это свидетельствуется и данными археологии, и текстами. Персо-арабский географ Ибн Русте, основываясь на литературных источниках, писал в 903 г. о славянах: «Более всего они сеют просо» [22] (по-арабски — *духн* [23]). Ибн Фадлан в это же время по личным впечатлениям своего путешествия на Волгу отметил, что пища местных жителей — «просо и мясо лошади, но и пшеница и ячмень в большом количестве» [24]. Характерно описано стихийное бедствие 1095 г. «Повестью временных лет»: «*Саранча покрыша землю и бѣ видѣти страшно, идяху к полунощнымъ странамъ, ядуще траву и проса*». На ручных жерновах зерно дробили или размалывали, продукт помола употреблялся главным образом на варево различных видов; лексическая номенклатура названий каш, систематизированная О. Н. Трубачевым, огромна [25]. Для сравнения: по результатам анализа 211 археологических остатков мучной пищи раннего средневековья на территории Центральной Европы сделан вывод, что на 21 случай приготовления каш приходится 2 случая употребления лепешек и 1 случай выпечки хлеба; предполагается, что и лепешки обычно являлись походным припасом, перед съедением размачивавшимся в тюрю [26]. Нем. *Brot* «хлеб» имеет общий корень с *Brei* «каша», *Brühe* «похлебка», *brauen* «варить», *Bier* «пиво». Ст.-слав. *хлѣбъ* является ранним (балканско-готским?) германизмом [27]. Печеный хлеб был для варварской Европы большой редкостью, ели его не все и разве лишь по выдающимся поводам. Вырази-

---

[20] В. П. Нерознак, Палеобалканские языки, М., 1978, стр. 153.

[21] Ср.: Ю. А. Краснов, Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы, М., 1971; Г. Ф. Коробкова, Древнейшие жатвенные орудия и их производительность, «Советская археология», 1978, 4.

[22] «Bibliotheca geographorum arabicorum», 7, Leiden, 1892, стр. 144.

[23] R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 1, Leiden, 1881, стр. 428. По арабской терминологии меня консультировали А. А. Долинина и О. Б. Фролова (кафедра арабской филологии ЛГУ).

[24] А. П. Ковалевский, Книга Ахмеда Ибн Фадлана, Харьков, 1956.

[25] О. Н. Трубачев, Из истории названий каш в славянских языках, «Slavia», XXIX, 1, Praha, 1960.

[26] «Reallexikon der germanischen Altertumskunde», 1, Berlin — New York, 1973, стр. 573.

[27] M. Enrietti, Di alcune parole germaniche in slavo, «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», XXVIII, 1—2, Roma, 1973, стр. 43—48.

тельна в этом отношении этимология высшего английского социального титула женщины: леди, *lady*, др.-англ. *hlæfdige*, букв. «месящая хлеб». Можно полагать, что чеховский пастух Лука Бедный, говоривший «*я, акроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный даждь нам днесь, и отец мой акроме хлеба ничего не ел, и дед*» («Свирель»), показался бы своим славянским пращурам сказочно богатым, миссионерское поучение молиться о ниспослании ежедневного хлеба воспринималось ими как что угодно, но только не скромность. Даже сегодня это предположение можно было бы проверить и уточнить с помощью этнологических параллелей, положив в основу эксперимента своеобразный лингвистический атлас, изданный в 1870 г. как атлас шрифтов типографии и словолитни Петербургской Академии наук и содержащий «Отче наш» на 356 языках мира [28], в том числе на 108 языках тогдашней Российской империи [29]. Для носителей некоторых из этих языков понятие *хлеб* и поныне является почти или полностью неумопостигаемым. Христианская молитва о ниспослании более понятного мяса была бы принципиально невозможна, поскольку в этой религии центральное место занимает представление о бескровной жертве и о посте (полном воздержании от пищи животного происхождения) как незаменимом средстве духовного самоочищения человека. Но приспособляемость Мф 6,11 к местным условиям доказана и «Гелиандом», англосаксонским памятником первой половины IX в., где выход из затруднения найден в том, что молитва сформулирована как просьба о совете, помощи: *Gef ûs dago gehuuilikes râd, drohtin the gôdo, thina hêlaga helpa* [30], и практикой нового времени — миссионеры из Sacra Congregatio pro gentium evangelizatione seu de propaganda fide учили эскимосов молиться о рыбе насущной, китайцев — о рисе насущном [31].

Насколько привычным делом для славян было земледелие, в какой-то степени можно судить и по переводам греческих церковных текстов, по лексике и образным средствам, которыми располагали переводчики — например, по тому, что Пс 128,3 *На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои* в древней редакции выглядит как *На хрибтѣ моемъ коваах8 грѣшници· Задлъжишѧ безаконениѥ свое* [32]. Но еще интереснее образность в памятнике оригинальном — «Слове о полку Игореве», когда сеча сравнивается с молотьбой: *На Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла.* Специалисты по «Слову» в осмыслении этого места не продвинулись дальше подбора цитат из сельскохозяйственных документов XIV—XV вв. и недатированных прибауток типа *молов батько не віючи, пекла мати не сіючи* [33].

Филологическое значение имеет другое — то, что есть у других поэтов. Битву сравнивает с провеиванием зерна только Гомер — это не повод для ненужного выискивания влияний, а мера гениальности. Начинается встреч-

---

[28] «Отче наш» и другие тексты, на 325 языках и наречиях, СПб., 1870 (в дополнении — №№ 326—356).

[29] Этот раздел недавно переиздан: Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands, hrsg. von W. Veenker, Wiesbaden, 1971 (= «Slavistische Studienbücher», VII).

[30] «Heliand und Genesis», hrsg. von O. Behaghel, Halle, 1948, стр. 58.

[31] Любезное сообщение библиотекаря Конгрегации В. Генкеля от 3 V 1979.

[32] «Psalterium Bononiense», ed. V. Jagić, Wien, 1907, стр. 625. Ср. Пс 104, 16: **И призва гладъ на землѧ. Вьсе 8твръждениѥ хлѣбьное сътре.** В синодальном переводе *И призвал голод на землю; всякий стебель хлебный истребил.* Первоисточник же подразумевает палку, перекладину, на которую навешиваются кольцеобразные хлебы; см.: H. Schult, Marginalie zum «Stab des Brotes», «Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins», 87/2, Wiesbaden, 1971, стр. 206—208.

[33] «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 1, М.— Л., 1965, стр. 115; 3, М.— Л., 1969, стр. 106.

ный бой. Колесницы не нужны, они отлетают словно мякина, герои прянули на землю, как отборное зерно на священном гумне, где златокудрая богиня Деметра отделяет под дыханием ветра плод от плев [34] («Илиада» 5, 499—506).

Русь XII в. знала — по служебной Минее — крещенский канон Косьмы Маюмского, где третий тропарь пятой песни изображает человечество провеиваемым на всемирном гумне истории: *Дѣлатель же и творьць· срѣдѣ стою вьсѣхъ ꙗко единъ срдца испытаѥть· потребище же лопатоу приемъ· вьсемирьноѥ гоумьно· премоудро разлоучаѥть· неплодиѥ палѧ· плодьнымъ· вѣчьныи животъ п[од]аваꙗ* [35] (Γεωργὸς ὁ καὶ Δημιουργός, μέσος ἐστηκὼς ὡς εἷς ἁπάντων, καρδίας ἐμβατεύει·καθαρτήριον δὲ πτύον χειρισάμενος, τὴν παγκόσμιον ἅλωνα πανσόφως διΐστησι, τὴν ἀκαρπίαν φλέγων, εὐκαρποῦσιν αἰώνιον, ζωὴν χαριζόμενος).

Для византийского гимнографа существует необходимость различать зерно и мякину так же, как это выражено в Евангелии (Мф 3,12 = Лк 3,17). Поэт Киевской Руси позволяет себе смелую, невиданную инверсию сравнений — у него легкость отлетающей мякины выразила, как легко отлетает жизнь в час ратного подвига.

Подведем итог. Славянская ситуация коренным образом отличалась от средиземноморской, где в библейском и греческом мире хлеб — важнейшая еда, а ячменная мука, по выражению Гомера, есть костный мозг мужей («Одиссея» 2, 290); ее замешивали на воде и сушили в формах, затем такая лепешка, μᾶζα, размачивалась и поедалась. Это и было повседневной пищей греков; собственно печеный хлеб, ἄρτος, из пшеничной муки, был более дорогой, но все же общеизвестной пищей [36], к которой относились с таким благоговением, так верили в ее живительную силу, что, по преданию, умирающий философ Демокрит, когда ему захотелось продлить жизнь на несколько дней, чтобы не испортить родне приближавшегося праздника Фесмофорий, держался вдыханием запаха свежеиспеченного хлеба [37]. А как нужно относиться к хлебу, чтобы придумать для своего дитяти имя Στάχυς, *Стахий*, букв. «колос»! Древние не переставали удивляться подъему опары — теста, заправленного малой толикой закваски [38], и считали это таким чудом, какое годится для самых высоких сравнений (Мф 13, 33). Культура приготовления опары могла возникнуть и достигнуть совершенства только в условиях теплого климата, к языческим народам она пришла вместе с христианизацией, со строгими каноническими предписаниями относительно евхаристического хлеба (который, естественно, не мог являться предметом международной торговли, а должен был по всем рецептурным правилам изготовляться на местах [39]) и с гимнодией Октоиха: *Квасъ человѣческаго естества, нескверный и стый, ѡт негѡ же прїемъ тѣсто, созда его зиждитель: и мнѣ страстей скверн8 ѡмый, и калъ прегрѣшенїй моихъ ѡчисти* (глас 2, в неделю на повечерии, канон, песнь 4, тропарь 1). [40]

---

[34] H. Fränkel. Die homerischen Gleichnisse, Göttingen, 1921, стр. 44—45.

[35] «Январская служебная Минея», ЦГАДА, ф. 381, № 99, л. 16об (XII в.).

[36] «Reallexikon für Antike und Christentum», hrsg. von Th. Klauser, 12, Stuttgart, 1953, стр. 611—612.

[37] С. Я. Лурье, Демокрит, Л., 1970, стр. 20, 197.

[38] Ср. пословицу 1 Кор 5, 6 = Гал 5,9.

[39] О споре с латинянами, допускавшими для Евхаристии только пресный хлеб, см.: J. Darrouzes, Nicolas d'Andida et les Azymes, «Revue des Etudes Byzantines», 32, Paris, 1974.

[40] S. Eustratiades, Θεοτοκάριον, I, Chennevières-sur-Marne, 1931, стр. 163 (Ἡ ζύμη τῆς βροτείας φύσεως).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

КОСТЮЧЕНКО Ю. П.

ЗАМЕЧАНИЯ О «СИНКРЕТИЗМЕ» И ЗНАЧЕНИЯХ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Высказывание А. А. Потебни о том, что «история языка, взятого на значительном протяжении времени, должна давать ряд определений предложения» [1], является методологической основой исследований в области исторического синтаксиса. Изменения в строе предложения, его составных частях и связях между ними отражают развитие и совершенствование языка в большей степени, чем изменения в других его аспектах. В период создания письменности, в связи с необходимостью образования унифицированных и, по возможности, однозначных средств выражения известных значений, различия в синтаксисе между языком древнейших непереводных памятников, сохранивших некоторые особенности языка дописьменного периода, и письменным, литературным языком становятся весьма заметными. Они особенно значительны в тех случаях, когда в основе письменности лежит перевод с языка с длительной письменной традицией и развитым синтаксисом, как, например, в истории готского языка. Сравнение старославянских переводов и древнерусских непереводных памятников показывает, что между ними имеются существенные различия, в частности, в синтаксисе [2].

Для изучения ряда вопросов исторического синтаксиса германского дательного падежа (далее — ДП) большой интерес представляет сопоставление употреблений этого падежа и славянского или балтийского ТП (творительного), что объясняется рядом причин: близостью германских и балто-славянских языков во многих аспектах, включая синтаксис; возможностью полнее осмыслить семантико-синтаксическую сторону употреблений ДП, включая случаи, кажущиеся изолированными в германских языках; возможностью исследовать не только соответствие известных форм и явлений в германских и родственных языках, но также понять «мысленное содержание» (А. А. Потебня) употреблений древнего языка, осмыслить их с позиций «языкового восприятия» древнего языка, без чего едва ли возможен научный анализ исследуемых явлений. Как показало соответствующее исследование, сопоставление материала славянских, балтийских и германских языков оказалось весьма целесообразным при изучении, в частности, истории агенса при пассиве и орудия в древних германских языках.

В традиционном индоевропейском языкознании употребление ДД (дательного деятеля) обычно объясняется сохранением в германском ДП значений и функций, присущих «и.-е. ТП» (также МП — местному и ОП — отложительному), и ссылками на соответствующие употребления этих падежей в других языках. Не затрагивая проблемы синкретизма в целом, остановимся на некоторых ее сторонах, понимая при этом термин «падежный

---

[1] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 83.

[2] Ю. П. Костюченко, Значение деятеля при страдательном залоге (агенса) и творительный падеж в славянских языках, ВЯ, 1977, 1, стр. 84.

синкретизм» как процесс и результат слияния форм, значений и функций известных падежей [3]. Следует, во-первых, отметить, что не только детали, но и общее описание процесса слияния значений и функций весьма гипотетического «и.-е. ТП» и других в форме германского ДП отсутствует с позиций современного языкознания. Напомним, что речь идет не о синкретизме форм падежей безотносительно к их значениям и функциям, но именно о слиянии последних. Синкретизм падежных форм во многих реально засвидетельствованных случаях имеет место обычно при выражении одной и той же функции — скажем, дополнения, с помощью различных падежей — например, ДП и ВП (винительного) или ВП и РП (родительного) и др. Гипотеза синкретизма германского ДП в традиционной интерпретации предполагает слияние как различных форм, так и различных значений и функций, т. е. принципиально другой случай. При этом значения (например, причины, орудия, места и др.), которые, по предположению, ранее выражались с помощью беспредложного ТП и других, в течение некоторого неопределенного времени, благодаря синкретизму, выражаются одной формой — беспредложным ДП, т. е. семантико-синтаксические категории, якобы имевшие ранее формальное выражение, на некоторое время — до появления предложно-падежных сочетаний — лишаются этого выражения. Как постараемся показать далее, теоретически и практически многозначность ДП является вполне реальным фактом, но причины этой многозначности не имеют ничего общего с «синкретизмом» [4]. Во-вторых, ссылки на ДД, известный в германских и других языках, свидетельствуют, пожалуй, не в пользу «синкретизма», а против него, так как ДД наглядно показывает, что значение агенса или близкое к этому может быть выражено без участия «и.-е. ТП» и др. В-третьих, что весьма существенно, обычно вовсе не учитывалось то, что значение деятеля тесно связано с уровнем развития «страдательности сказуемого» [5]. Язык древнейших непереводных германских памятников определенно свидетельствует о таком состоянии языка, в котором трехчленный страдательный оборот еще не развился. В-четвертых, в родственных языках известны употребления ДП, РП и др., выражающих значения, близкие к агенсу при глагольных формах, которые не связаны со страдательным залогом сказуемого и функционируют преимущественно в области определений. В интересном исследовании А. Грина [6] рассмотрены многочисленные примеры с ДП в индоевропейских языках; исходным для ДД А. Грин считал «дательный заинтересованности»; количество примеров из славянских и балтийских языков в его работе очень невелико и часть из них содержит неточности или несоответствия описываемым явлениям языка. В-пятых, синтаксис предложения во многих исследованиях обычно понимается как нечто, не подверженное заметным изменениям во времени, поэтому существенные различия в строе предложения литературного, «книжного» и живого, народного языка часто не принимаются во внимание. В частности, в древнем языке различительные признаки «дополнения» и «обстоятельства» и, следовательно, сами эти категории были развиты гораздо слабее, чем в современ-

---

[3] Предметом настоящей статьи являются некоторые вопросы исторического синтаксиса ДП, в связи с чем особое внимание уделяется функциональной, семантико-синтаксической стороне употреблений беспредложного ДП. В этом же аспекте затронуты и некоторые вопросы гипотезы «падежного синкретизма» применительно к германскому ДП. Современная точка зрения на эту гипотезу, особенно — в фономорфологическом плане, подробно изложена Э. А. Макаевым в третьем томе «Сравнительной грамматики германских языков» (М., 1963).

[4] Т. е. слиянием форм, значений и функций ДП, ТП, МП и ОП в одной общей форме «германского ДП».

[5] См., например; А. А. Потебня, указ. соч., стр. 454 и др.

[6] A. Green, The dative of agency, New York, 1913.

ных языках. Не менее существенна относительно слабая связь глагола с формой падежа, что проявляется в возможности употребления с данным глаголом форм различных падежей для выражения одного и того же значения, а также другие особенности древнего языка. Подобные употребления представляют собою не «синкретизм» былых, якобы более «системных» средств, но обычное для дописьменного языка явление, отчасти сохранившееся в местных говорах до настоящего времени. Это представляет большие неудобства для «удобства описания» и, что гораздо важнее, для восприятия употреблений древнего языка. Преодоление такого затруднения возможно, частично, при помощи изучения материалов родственных языков, диалектов, говоров. С таких позиций попытаемся рассмотреть и уяснить некоторые употребления ДП (преимущественно имен существительных и др., выражающих наименование лиц, а не предметов неодушевленных), которые не находят удовлетворительного объяснения с позиций традиционного или структурно-дескриптивного индоевропейского языкознания.

В классическом индоевропейском языкознании употребления ДП в примерах типа др.-перс. *ima tya manä kartam* или греч. *οἱ ἵπποι αὐτοῖς δέδενται* понимались и переводились на основании предположения о сохранении в формах ДП значений и функций, присущих «и.-е. ТП» (конечно, и «общегерманскому ТП»), т. е., соответственно, как «это, которое мною сделанное» и «лошади ими (персами) привязаны». В более поздних работах исследователи исходят из более реальных предпосылок: в первом случае форма родительно-дательного падежа *manā* выражает значение принадлежности и воспринимается как определение: «мое сделанное»; во втором случае ДП понимается как «дательный принадлежности», который «очень близок по смыслу к genetivus possessivus» [7] — «лошади им (принадлежащие, т. е. «их лошади») привязаны» (но привязаны ими самими!). В таких употреблениях, известных и в других родственных языках, нет трехчленного страдательного оборота, свойственного более позднему «европейскому синтаксису» и восходящего к синтаксису литературных классических языков, и нет, следовательно, агенса. Однако такие примеры содержат косвенное указание (в форме ДП) лица, выполнившего известное действие, которое в свою очередь привело к возникновению признака, выраженного причастием. Последнее, без какого-либо глагола «ослабленной семантики», выполняя слитную атрибутивно-предикативную функцию (А. А. Потебня, М. М. Гухман, В. Л. Георгиева), может в древних языках (также и в современных, например — балтийских), вместе с группой связанных с ним слов, образовать законченное, грамматически оформленное предложение, в известном смысле соответствуя глагольному сказуемому в более позднем строе языка, что было отмечено А. А. Потебней, и хорошо показано в работах В. И. Амбразаса [8].

Многочисленные примеры подобного рода известны в современных балтийских языках, в частности — в диалектах и говорах латышского [9]. В балтийских языках трехчленный «европейский» пассив не употребляется: страдательное причастие не входит в состав сказуемого (в литературном языке), но образует определительный причастный оборот к имени-подлежащему (редко — к дополнению): ср. латыш. *mana drauga padarītais darbs guva atzinību*, т. е. «моего друга (РП) выполненная работа получила признание», что под влиянием современного «европейского» синтаксиса

[7] См.: С. И. Соболевский, Древнегреческий язык, М., 1948, стр. 263.

[8] См., например: В. И. Амбразас, Исторический синтаксис причастий литовского языка. АДД, Вильнюс, 1978.

[9] Примеры из балтийских языков взяты нами из работ Я. Эндзелина, А. Сенна, К. Явниса и др.

обычно переводится как «работа, выполненная моим другом, получила признание»; необходимо отметить, что в литературном языке нормативным является отсутствие указания деятеля при страдательном залоге. Определение к причастию обычно (но не исключительно) стоит в форме РП (*mana drauga*), употребление которого, по нашим наблюдениям [10], восходит к более древнему строю языка, где РП в рассматриваемых конструкциях выражал только значение принадлежности; ср. *douti manas mamulin'as* «данное (дар) моей матери», *veçu l'aužu darināta*, *manis jauna padziedāta* «старых людей сложена (песня) меня молодой поется», т. е. «старыми людьми сложена, мною молодой поется», и т. п. Позже употребление РП становится возможным и с именами, не выражающими значения принадлежности: *acu redzējums* «глаз (РП мн. числа) увиденное» (т. е. «глазами»), *vēja lauzta ābelite* «ветра (РП) сломанная яблонька» (т. е. «ветром»); ср. также пример на орудийное значение РП, в данном случае отягощенное значением принадлежности: *pērc... savas naudas* (также с ТП — *savu naudu*, без предлога *ar*) *man sudraba gredzentin'u* «купи своих денег (т. е. «за свои деньги», также с ТП — «своими деньгами») мне серебряное колечко»; ср. также лит. *tà tvorà mùsų tvertà* «этот забор наш (РП — наш, нас») построен» (т. е. «нами»), *vìskas bùvo jų̃ pačių̃ dãroma* «все было их самих (РП мн. числа) сделано» (т. е. «ими самими»), *jõ arklỹs jó jama* «его лошадь поехана верхом» (т. е. «он поехал на лошади верхом») и др., а также *čià žmogaũs eĩta* (РП + причастие страдательное) «здесь человека прохожено» (т. е. «человек проходил») и под. Аналогичные употребления РП известны в древнеперсидском, древнегреческом и других родственных языках.

В славянских языках весьма близка к рассмотренным выше конструкция типа русск. *знать все думушки его обдуманы* (более близкая аналогия была бы в случае *все думушки его обдуманные*, причем это должно пониматься как з а к о н ч е н н о е предложение). Из редких примеров можно привести др.- русск. *ветъхий мир... дьявола разоренный* и гот. (J. VI, 45) *jah wairþand allai laisidai gudis* (РП) «и становятся все наученные бога», что следует понимать как «богом», если форма *laisidai* не воспринималась как субстантивированная: «наученные» → «ученики» с определением в РП. За исключением редких случаев, употребления РП в балтийских, славянских и других индоевропейских языках, выражая значение принадлежности или восходя к таковому, относятся, прежде всего, к области определений, а оттенок значения деятеля оказывается, так сказать, «побочным продуктом», который, однако, в дальнейшем м о ж е т превратится в средство выражения агенса, как это имело место в балтийских языках. Синтаксические связи с сочетании «имя в РП + причастие страдательное + имя определяемое (в ИП — именительном, реже — в ВП)», как в др.-русск. *все думушки его обдуманы*, латыш. *manis dętu uozuolin'u* «мой (т. е. «мною») выдолбленный дуб», греч. θοῶς δί οἱ ἤνυτο ἔργον «быстро была его работа сделана» (им же самим), др.-перс. *aiwiγnixta sūnō* (РП) «изгрызанное собак» (т. е. «собаками») и во многих других примерах, свидетельствуют о том, что форма РП семантически и грамматически связана теснее и прежде всего с именем («его думушки, мой дуб, его работа» и др.), а не с причастием (ср. сочетание с ТП: «им обдуманы, мною выдолбленный» и под.). В какой-то степени отношения, существующие в модели «кого (чье) сделанное», сохраняются и в тех случаях, где значение принадлежности ослаблено или отсутствует, как в латыш. *vēja lauzta ābelīte* «ветра (т. е. ветром) сломанная яблонька»; эти отношения, по-видимому, являются одной из при-

[10] Ю. П. К о с т ю ч е н к о, К вопросу об истории образования значения агенса при пассиве в балтийских и родственных языках, «Известия АН ЛатвССР», 1978, 11, стр. 69; е г о ж е, Творительный падеж и значение деятеля при страдательном залоге и орудия, Л., 1977, стр. 69.

чин, препятствующих использованию формы РП в качестве «полновесного» средства выражения значения агенса при страдательном причастии.

Изложенная выше особенность подтверждается примерами употребления ДП в говорах латышского языка: 1) *man* (ДП) *dziesmin'a izdziedāta*; 2) *ābelīte vējam lauzta*; 3) *kungam* (ДП) *rakstīta grāmata*; 4) *man vieta taisāma*. Употребление форм ДП в примерах (1), (2) и (3) основывается на очень широко распространенном в латышском языке использовании «дательного принадлежности»: ср.: *kam dēls tu esi?* «кому сын ты есть» (т. е. «чей ты сын»), *tēvam bija divi zirgi* «отцу (т. е. «у отца») было две лошади» *man dēlam dēls miris* «моему сыну сын умер» (т. е. «сын моего сына») и под. Как и в случаях с РП (*dziesma mana padziedāta* «песня моя спетая», т. е. «мною»), так и в примерах с ДП основным значением рассматриваемых форм является значение принадлежности: 1) *man dziesmin'a izdziedāta* «мне (принадлежащая) песня пропетая» (т. е. «мною»); 3) *kungam rakstīta grāmata* «господину (!) написанное письмо» (т. е. «ему принадлежащее»), что понимается как «господином написанное письмо», о чем см. ниже; 2) *ābelīte vējam lauzta* «яблонька ветру (ДП) сломанная», ср. с *vēja* (РП) *lauzta ābelīte* «ветра», т. е. «ветром сломанная яблонька» (порядок слов в данном случае не влияет на сущность рассматриваемых вопросов). Оттенок значения агенса здесь непосредственно восходит к значению принадлежности, являясь результатом непрерывного семантического развития: «кому (принадлежит) → чье → кем сделанное», причем в случае ДП лиц, одушевленных предметов и т. п. преобладает значение принадлежности, подкрепляемое основным значением ДП — косвенного дополнения «кому». В случае ДП неодушевленных предметов значение деятеля, скорее — источника или виновника, иногда близкое к орудийному, меньше отягощено оттенком значения принадлежности, который может и не ощущаться. В этом случае грамматический фактор — модель с ДП, близкая к модели с РП, имеет решающее значение, что сказывается в относительной независимости слова в форме ДП от семантического фактора, играющего главную роль в случае с ДП лица. В примерах с ДП предмета основное значение ДП («кому») затемняется и в момент речи не воспринимается как присущее данной форме: осознается модель, допускающая аналогическое употребление слова в форме ДП. Показательно, что в рассматриваемой модели возможно безразличное употребление форм ДП и РП, разграничиваемое нормой литературного языка, что для истории языка не является существенным. С позиций строя древних германских языков или греческого весьма примечательно, что речь идет о родственном индоевропейском языке — латышском, имеющем не только ИП, ВП, РП и ДР, но еще и ТП, и МП (местный, т. е. о языке с многопадежной системой, как в славянских или индоиранских языках, на фоне чего можно видеть описываемые употребления РП и ДП, но не ТП, который в балтийских языках не выражает значения агенса, и, по-видимому, никогда не выражал его ранее.

Развитие рассматриваемых употреблений РП и ДП в латышском языке можно схематически изобразить следующим образом:

«РП — кого → чье (сделанное) → кем»
«ДП — кому → кому (принадлежит) → чье (сделанное) → кем»,

причем значение «кем» больше свойственно тем языкам, на которых объясняется значение РП или ДП в балтийских языках, чем этим последним. Что касается употребления форм РП и ДП, то в современном языке наблюдается следующее:

РП — *mana*	*dz'esmin'a izdziedāta*	литературный язык и говоры
ДП — *man*		только говоры.

В литературном языке, как и в древнегерманских переводных памятниках, использованию модели «что сделано + ДП» препятствует основное значение ДП, имеющее поддержку в грамматическом (морфологическом) оформлении слова. Более существенным фактором является взаимно противоположная направленность действия в моделях с ДП типа «что сделано кому» (1) и «что сделано (принадлежащее) кому → чье (сделанное) → кем» (2). Формально выраженная дифференциация значений агенса и адресата действия позже, с развитием письменности и формированием пассива, происходит во всех родственных языках, причем адресат, соответствующий основному значению ДП — значению лица, выражается формой этого падежа, а значение агенса обязательно выражается другими, различными даже в родственных языках средствами.

В бесписьменных или младописьменных языках, диалектах, говорах, в которых, как правило, нет трехчленного страдательного оборота с агенсом, возможны следующие случаи. а) Длительное употребление модели «что сделано + ДП» при условии преобладания в значении ДП принадлежности и функционирования формы ДП в качестве определения. Семантическое «обоснование» употребления ДП ясно из примеров типа русск. *кому ты друг*? (т. е. «чей»), ср.: *чья это картина*? (т. е. «кем написана») нем. диал. *meinem Vater sein Hut* «моему (т. е. «моего») отца шляпа» и мн. др. Потенциальная возможность образования оттенка значения агенса не обусловлена уровнем развития «страдательности сказуемого», т. е. грамматическое значение формы ДП в рассматриваемых случаях преимущественно относится к сфере определений; последним объясняется относительная независимость употребления ДП от лексического значения слова. Формы ДП и РП при этом обычно синонимичны, примером чего могут служить современные говоры латышского языка, а также некоторые древние родственные языки. б) Описанное состояние может в определенных общественно-исторических условиях привести к относительно кратковременному употреблению формы ДП для выражения значения агенса, неустойчивого, двусмысленного и всегда обусловленного семантическими факторами: лексическим значением, контекстом, ситуацией, также интонацией, жестами и др. (в разговорном живом языке). Показательно, что значение формы ДП в примерах типа *kungam rakstīta grāmata* (3) воспринимается лицами, владеющими только литературным языком, во всех случаях как «кому написанное письмо». Лицами, владеющими литературным языком и говорами, ДП переосмысливается в значение формы РП на основе значения «дательного принадлежности». Лишь у некоторых лиц, представителей старшего поколения, не получивших достаточного образования и постоянно живущих в сельской местности, употребления ДП типа (1, 2, 3) не вызывали затруднений в понимании; эти же информанты не ощущали различия в значении примеров, отличающихся только употреблением форм РП или ДП. Из изложенного следует, что в условиях «системы» языка с установившимся употреблением средств выражения значения агенса (при причастии-определении или в трехчленном пассиве), кроме беспредложного ДП, использование форм последнего одновременно для выражения косвенного дополнения «кому» и агенса оказывается невозможным, что подтверждается непониманием содержания высказывания на родном языке, содержащего модель «что сделано + ДД», и осмыслением примера (3) как «господину написанное письмо» — «кому». Предложение (1), содержащее местоимение в ДП — *man dziesmin'a izdziedāta* «мне (принадлежащая) песенка поется», воспринималось быстрее, чем предложение (3), а пример (2) — *ābelīte vējam lauzta* «яблонька ветром сломанная» воспринимался легче всех, причем восприятие сопровождалось «исправлением ошибки»: форма ДП заменялась РП. Изложенное убеди-

тельно подтверждает мнение А. А. Потебни о том, что «нет формы, присутствие и функция коей узнавались бы иначе, как по смыслу, т. е. по связи с другими словами и формами в речи и языке» [11].

Материал балтийских языков позволяет сделать следующие выводы: 1) Трехчленный страдательный оборот в них не сформировался, а деятель при страдательном причастии-определении выражается не ТП, а РП (или ДП); нет никаких следов иного состояния и оснований для него в истории балтийских языков. 2) Балтийский ТП выражает разнообразные обстоятельственные значения, что, вместе с отсутствием ТД (творительного деятеля) сближает балтийские и, например, язык древнерусских непереводных памятников и источников, близких к живому народному языку. 3) В изложенных выше условиях в балтийских языках образовались средства выражения агенса при причастии-определении, не имеющие никакого отношения к «и.-е. ТП» или «ОП» и восходящие к «системе» самих балтийских языков. 4) Указанное употребление РП (и ДП) образовалось в языке при отсутствии двучленного пассива (в понятиях «европейского синтаксиса»). 5) РП агенса развивался в зависимости от лексического значения определения на основе значения принадлежности. 6) Употребление ДП агенса в говорах понятнее носителям современного литературного языка в случаях ДП одушевленных предметов, явлений природы и ДП лиц при причастиях, не предполагающих реального перехода действия на объект: так, ДП с причастиями типа «пройдено, увидено» легче воспринимается в значении «кому → чье (сделанное) → кем», чем с причастиями «сделано, написано, послано» и под. 7) РП агенса, особенно в говорах, в равной мере возможен с причастиями, соответствующими переходным и непереходным глаголам. 8) В описанных примерах доминирующее значение нередко принадлежит не формальным, грамматическим, а семантическим (лексическим, контекстуальным, ситуативным) факторам. 9) Перечисленные выше особенности ДП во многом свойственны и другим родственным языкам; в части, касающейся агенса, ни в одном из них нет оснований и потребностей для привлечения «и.-е. ТП» и т. п.

Сомнение в истинности традиционных концепций классического индоевропейского и германского языкознания в отношении интересующих нас вопросов довольно ясно выражено К. Бруннером: «Неизвестно, мог ли еще творительный падеж (т. е. ДП.— *Ю. К.*) б е з предлога служить в древнеанглийском языке для обозначения действующего лица при пассивной форме. Примеры не дают на это ясного ответа» [12]. Следует заметить, что на поставленный К. Бруннером вопрос нужно в принципе ответить положительно: в древнеанглийском, как и в других древних германских и родственных языках, есть примеры, в которых форма беспредложного ДП выражает значение агенса или его оттенки. Но в вопросе о причинах этого явления и о его происхождении с традиционной концепцией согласиться трудно, начиная с того, что в древнеанглийском языке в системе падежей имен существительных ТП не представлен [13]. В рассматриваемых далее примерах фигурирует форма ДП, реально засвидетельствованная в древнейших памятниках всех жанров.

Необходимо отметить то обстоятельство, что модель «что сделанное + ДП», представленная в приведенных выше примерах из латышских говоров (типа *kungam rakstīta grāmata*), структурно и семантически совпадает

---

[11] А. А. П о т е б н я, указ. соч., стр. 45.

[12] К. Б р у н н е р, История английского языка, II, М., 1956, стр. 40.

[13] См.: «Сравнительная грамматика германских языков», III; В. Н. Ж и г а д л о, К вопросу об отмирании грамматической формы, сб. «Исследования по английской филологии», Л., 1958.

с распространенной в древнеанглийских памятниках конструкцией, примером которой может служить *þa wæs Hrōðgāre* (ДП) *hors gebǣted* (Beowulf, 1399), что в традиционном германском языкознании понималось как «тогда была Хротгаром лошадь приготовлена» на основании предположения о сохранении в форме германского ДП значений и функций былого ТП благодаря «синкретизму». Следует напомнить, что в подавляющем большинстве случаев употребления рассматриваемой модели упомянутый выше вариант перевода не исключается, исходя из контекста, но обычно не менее вероятны варианты «Хротгару («кому») лошадь приготовлена», и «Хротгара (т. е. ДП — «Хротгару принадлежащая») лошадь приготовлена»; возможность последнего варианта становится ясной из анализа изложенных выше примеров на значение ДП в латышских говорах. В отличие от мнения А. Грина, выводившего значение ДД (агенса) из значения «дательного заинтересованности» (с большой семантико-синтаксической «натяжкой»), образование оттенка значения агенса («Хротгаром», если это значение имело место в действительности), естественно, формируется из значения принадлежности: «ему принадлежащая лошадь» была «им же приготовлена». Это объяснение исходит из реально представленной «системы», не требует дополнительных предположений, хорошо согласуется с материалом германских и родственных языков, вполне соответствуя семантическим и грамматическим факторам и, что весьма существенно, вытекает из уровня развития языка: в данном случае из уровня развития «страдательности сказуемого» и агенса при пассиве.

К примерам рассматриваемого типа относятся: др.-англ. *þa him swā geþeahtod wæs* (ошибочно *geþearfod*, как отмечает А. Грин) (Beowulf, 1103) «тогда им (ДП мн. числа) (или «тогда ими») так решено было» ← «их решенное»; *hwām þæt sweord geworht... ǣrest wǣre* (Beowulf, 1696—1697) «кому (или «кем») этот меч сделан раньше был». В пользу варианта «кому», кроме контекста, свидетельствует употребление обстоятельства «раньше, прежде», что позволяет принять значение перевода «для кого прежде предназначался» [14]. Такие (и многие другие) примеры позволяют считать, что беспредложный ДП в древних германских языках сам по себе, но не как «впитавший» значения «и.-е.» или германского ТП, мог выражать значения, близкие к значению деятеля при пассиве, и, следовательно, позволяют ответить отчасти утвердительно на поставленный выше вопрос. Другое дело, что возражение вызывает сама постановка вопроса: относительно языка древнейших непереводных памятников трудно говорить о действующем лице при пассиве, т. е. о трехчленном страдательном обороте, поскольку последний в языке названных памятников (в отличие от переводных) нельзя еще считать оформившимся.

В случае ДП явлений природы, чувств. и под. создаются более благоприятные условия для формирования значения агенса, т. к. «снимается» противоречие, состоящее в направленности действия на его объект и вытекающее из основного значения ДП: (куда?) → кому, (чему)». Освобождение ДП от его наиболее распространенного, основного значения, что обусловлено семантикой (лексическим значением слова), делает возможным употребление той же самой модели с ДП для выражения специфических обстоятельственно-дополнительных функций, соответствующих орудийно-агентивным значениям; ср.: др.- исл. *ok var Oddr ofrliðe borenn* (Hønsna þór. 21, 12) «И был Оддр превосходством (силой) побежден»; *þrunginn moði* (Volsung. 26, 1) «охваченный гневом» (ср.: «охвачен страхом», но «подвержен страху»); др.-англ. *winde gefȳsed* (Beowulf, 217) «ветром гонимый» (собств. «ветру покорный», т. к. соответствующий глагол имел значения «гнать,

[14] A. Green, указ. соч., стр. 95 и сл.

покорять») и др.; *strengum gebæded* (Beowulf, 3117) «силой ускоренный»; *ne læt þu þin ferhð wesan sorgum asæled* (Gen. 2149) «не давай ты твоему сердцу (душе) быть печалью скованной» (собств. «не давай сердце печали») и др. Рассматриваемые употребления ДП приобрели в древних языках довольно широкое распространение для выражения разнообразных оттенков значений деятеля, виновника, источника, причины, средства, орудия, способа и др.

Выше были рассмотрены некоторые случаи употребления ДП в древних германских языках для выражения значения агенса и его оттенков при страдательном причастии, причем семантико-синтаксическое развитие такого значения во многом напоминает значения и функции ДП в других индоевропейских древних и современных языках, в частности — в говорах латышского. Как показывает соответствующее исследование [15], рассмотренные употребления являются о д н и м из источников формирования значения агенса, которое также восходит к другим значениям ДП, отчасти рассматриваемым ниже. Общим их свойством оказывается семантико-синтаксическая особенность основного значения ДП лица — косвенного дополнения «кому», чем такие примеры существенно отличаются от рассмотренных выше случаев с ДП предмета. Упомянутое свойство облегчает понимание «семантического хода» исследуемых значений ДП и обусловленного этим процессом изменения его синтаксической функции. Развитие последней отстает от семантического изменения и, в конце концов, приводит к необходимости изменения ф о р м ы средства выражения агенса — н о в о г о значения, требующего и новых средств (или приспособления уже имеющихся в языке). Для германских языков характерно то, что «исконное» средство — беспредложный ДП во всех языках на определенном (различном по времени) этапе их истории вытесняется предложно-падежными сочетаниями, обычно уже существовавшими в языке, но ранее не использовавшимися для выражения агенса. Поэтому употребление предложных оборотов в древнейших переводных памятниках в известной степени является калькированием соответствующих латинских или греческих конструкций, выражающих значение агенса. Рассматриваемое употребление беспредложного ДП свойственно древнейшим памятникам различных жанров переводным и непереводным, являясь «исконным» и не обусловленным иноязычным влиянием.

К кратко охарактеризованным выше употреблениям ДП относятся случаи, которые можно рассмотреть в составе нескольких групп. К одной из них относятся примеры типа др.-рус. *пути имъ вѣдоми, яругы имъ знаеми*; русск. *мне* (*тебе, ему* и т. д.) *видно, известно, памятно* и под., лат. *tibi amice, relictus* «тебе, друг, памятно», *cognitum mihi* «известно мне» и др. В германских языках примером подобного употребления ДП может быть др.-англ. *wæs mīn fader folcum gecyðed* (Beowulf, 260) «был мой отец народам известен» и под., в которых значение ДП «кому известен» и т. п., поддержанное другими употреблениями ДП, о чем см. ниже, может выражать оттенок значения агенса (ср.: *мне видно — увидено мною* и т. п.).

К таким примерам с ДП относится часть надписи на Эггьюмском камне (VIII в.): рун. *ni s solu sot uk ni sakse stain skorin*, которая истолковывается как «Камень не был (освещен) солнцем и нож (его) не коснулся» (Л. Якобсен) или «Ни солнцем не найден, ни ножом не вырезан камень» (В. Краузе), причем эти и другие толкования и переводы обычно предполагают или содержат в своем составе формы, в той или иной степени близкие к русскому ТД, что мало вероятно для языка надписи. Переводом, более близким к оригиналу, может быть предлагемый ниже: «Ни (есть?) солнцу (ДП) до-

[15] См. примеч. 10.

ступен и ни ножу (ДП) камень вырезанный» (т. е. сделанная на нем надпись). Предлагаемое значение причастия *sot* «доступен» довольно близко к ранее предложенному «застигнут» (М. Ольсен).

Примеры с ДП типа гот. *jah gakusans ist mannam* (Rom. XIV, 18) «и избран есть людям»; *razn mein razn bido haitada allaim þiudom* (Mk. IX, 17) — ст.-слав. *храмъ мой храмъ молитвы наречетсѧ всѣмъ языкомъ* — греч. πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν (ДП); *þatei qiþan ist þaim airizam* (Mt. V, 21) — ст.-слав. *яко речено бысть древнимъ* (ДП мн. числа) — греч. ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις и др., др.-в.-н. *dhiu uutza dhera spahida huuetu siu uuard antdhechidiu* (Isid. XI, 20) «корень мудрости кому он был открытый (-ым?)» и др. иллюстрируют употребления ДП, в которых его значение ясно восходит к значению «кому» (что соответствует значению ДП в старославянском, греческом, латинском и др. языках). Однако подобные употребления (как правило, в переводных памятниках) м о г л и восприниматься как выражающие оттенок значения агенса. В более поздних германских памятниках значение ДП в приведенных выше (и других, подобных) случаях иногда «уточняется» предложно-падежным оборотом. Так, на месте беспредложного ДП в готском, старославянском и греческом, также латинском находим др.- англ. *gecoren wære fram gode* (ср. гот. *gakusans ist mannam* «избран есть людям → «избран был от бога» /людям/). В другом случае (Mk. XI, 17) форма ДП, выражающая в греческом, готском и старославянском значение «всем народам», была «исправлена» в древнеанглийском и означает «от всех народов», «всеми народами» — *fram eallum þēodum*; часто употребляемое в переводах «Евангелия» выражение «как сказано древним» (ДП мн. числа — «кому») в готском нередко опускается, т. к. контекст допускал значения «кому» и «кем»; то же в западно-германских переводах с латинского (*dictum est antiquis*). В некоторых древнеанглийских примерах ДП опущен — *þæt gecweden wæs on ealdum tidum* (Mt. V, 21) «что сказано было в древние времена»; др.-в.-н. *thaz then altun giquetan uuas* (Isid. 30, 1) «что (тем) древним сказано было» (ДП сохранен); то же в др.-англ. *þætte cwæden wæs þæm iumonnom* (мерсийские глоссы) «что сказано было тем старейшим». В ряде случаев, несмотря на господствующее в переводных памятниках средство выражения значения агенса — предложные обороты, значение ДП «кому» также уточняется предлогами др.-англ. *acueden is to ðaem haaldum* (нортумбрийские глоссы) «сказано тем древним («кому»), что имеет место даже у Лютера: *dass zu den Alten gesagt ist* [16]. Рассмотренные выше примеры свидетельствуют, между прочим, о том, что не только в древнейших письменных памятниках германских языков, но и гораздо позже значение деятеля при пассиве, выражаемое формой беспредложного ДП, являлось неустановившимся, двойственным, всегда контекстуально обусловленным.

Особое место среди употреблений ДП занимают примеры с причастием «рожденный». Замечено [17], что в древнеисландских непереводных памятниках, в частности — в «Эдде», значение ДД встречается т о л ь к о при этом причастии. Сочетание «рожденный кому» широко употреблялось в древних германских и других индоевропейских языках; ср. греч. ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ — ст.- слав. *яко родися вамъ днесь сп҃съ* («спаситель») — гот. *þatei gabaurans ist izwis himma daga nasjands* (Lk. II, 11); др.- в. -н. *chindh uuirdit uns chiboran, sunu uuirdit uns chigheban* (Isid. XXII, 7) «дитя будет нам рождено, сын будет нам дан», собственно «наш рожденный» и под.

---

[16] Последние три примера взяты из указанной работы А. Грина (стр. 90).

[17] М. М. Г у х м а н, Развитие залоговых противопоставлений в германских языках, М., 1964, стр. 155.

ДП при причастии «рожденный» является развитием употребления ДП при глаголе «приносить»: гот. *bairan*, др.-исл. *bera* «родить» при др.- англ. *beran* «родить, приносить» — др.-инд. *bhárāmi*, греч. φέρω, лат. *fero* «несу», ст.-слав. *берѫ*, *брѣмѧ* ← **bermen* и др.; ср. др.- инд. *bhárīman* «ноша, тяжесть», греч. φέρμα «плод, дитя», при φέρω «приносить плоды, родить», русск. *беременна* (ср. рус. диал. *понесла* «забеременела» и др.[18]. «Семантический ход» изменения сочетания «приносить кому» → «родить кому» ясен и первоначально не предполагает синтаксического изменения, которое наблюдается в языке древнейших памятников. Переход значения «кому → кем» в большой степени обусловлен тем, что с причастием «рожденный» употреблялась форма ДП только наименований лиц (люди, божества, животные); упомянутому переходу способствовали распространенность и однозначность сочетания. Переход «рожден кому → кем» находит поддержку в употреблениях ДП типа «слышно кому → услышано кем» и других и является результатом постепенного и закономерного во многих языках процесса, но ни в одном из них не связанного с «и.- е. аблативом» или «инструменталисом». Возможно, что употребление ДП лиц с причастием «рожденный» относится к древнейшим случаям начала формирования средств выражения агенса, не зависящих от влияния форм греческого или латинского языков.

В ранее приведенных примерах из говоров латышского языка пример (4): *man vieta taisāma* «мне кровать приготовлена» (т. е. «мне должно приготовить постель», «постель должна быть мною приготовлена») относится к многочисленным употреблениям ДП при причастии, инфинитиве, личной форме глагола (редко), содержащим разнообразные оттенки модальных значений и известным в родственных языках, что весьма подробно и обстоятельно рассмотрено А. А. Потебней [19]. Из особенностей сочетания ДП с инфинитивом здесь следует отметить, что в древнем языке, а отчасти и позже, значение слова в ДП нередко оказывается двойственным, как в др.-русск. *на томъ ти цѣловати хрест* «присягать тебе на верность» (другим лицам) или «присягать (нам, говорящим) на верность тебе», *уставиварягомъ дань даяти* «им давать» или «чтобы они давали», укр. *звелів їм зварити їсти* «приказал им сварить еду» («для них» или «чтобы они варили») и т. п. Вне контекста содержание таких высказываний не определяется однозначно, что представляет собою одну из основных особенностей древних языков и одно из их основных отличий от современных литературных языков; упомянутые особенности древних языков являются фактором, определяющим «систему» языка, что должно обязательно учитываться в историко-лингвистическом исследовании, несмотря на вытекающие из такого состояния «системы языка» трудности для описания и, особенно, для понимания известных употреблений. Двойственность, неустойчивость, обусловленность семантическими и контекстуальными факторами значения форм ДП способствовали образованию оттенка значения агенса при инфинитиве и причастии, хотя значение это нередко отличалось от «собственно агентивного» в трехчленном страдательном обороте, известном в древних переводных памятниках и современных языках.

Рассмотренные выше употребления ДП соответствуют гот. *du saihvan im*, ст.-слав. *да видими боудете ими*, греч. προς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς «чтобы видеть им (ДП)» (т. е. «чтобы вы были увидены ими») и др. В готском рассмотренный беспредложный ДП употреблен, как кажется, всегда на месте беспредложного ДП греческого подлинника, но аналогичные употребле-

[18] См. также: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.— Л., 1938, стр. 391.

[19] А. А. Потебня, указ. соч., стр. 378 и сл.

ния известны и в других памятниках германских языков, в том числе непереводных, что позволяет считать такие употребления независимыми от иноязычного влияния, тем более, что подобные примеры известны во многих древних родственных языках. В языках, не располагавших многопадежной системой, ДП мог выражать оттенки значений, близкие к агентивным. Такое же состояние имело место в древних языках с более развитой системой падежей (славянских) и современных (балтийских), но с развитием языка и оформлением в нем осознаваемого значения деятеля при пассиве это значение стало выражаться другими различными в славянских и балтийских языках средствами. В германских языках, как и в славянских, балтийских и др., рассматриваемое употребление ДП — его значение и функция — не восходит к «и.-е.» или «германскому ТП» и первоначально не выражает никакой «идеи агентивности». Оттенок значения агенса в модели «что (есть) сделано + ДП» появляется позже, в связи с развитием других употреблений ДП и под их влиянием, и всегда обусловлен семантическими факторами, доминирующими в данном случае над грамматическими, формальными (в отличие от славянских языков, различающих в формах падежей значения «кому» и «кем»).

Весьма существенным обстоятельством, оказавшим заметное влияние на развитие употреблений ДП для выражения значения агенса, было широко распространенное в германских (и некоторых других родственных) языках использование беспредложного ДП предметов, выражающего значения орудия и средства действия, а также многочисленных и разнообразных обстоятельственных значений. Анализ материала древнейших памятников показывает, однако, что семантико-синтаксическое развитие употреблений беспредложного ДП для выражения значений «кому → кем», как в др.-исл. *Nǫrvi borinn*, и «где, в чем → чем», как в др.-исл. *gulli bunar* «в золоте» → «золотом украшенный», происходило разными путями[20], которые привели к кратковременному совпадению возможных средств выражения значений агенса и орудия в сочетаниях беспредложного ДП с причастием и глаголом (но не в форме изолированного от контекста ДП). Вопрос о беспредложном ДО (орудия) в древних германских (и некоторых других) языках, представляющем собою весьма интересный пример истории развития значений и функций ДП предметов, не может быть изложен здесь по причине ограниченного объема статьи.

Анализ фактического материала германских и других индоевропейских языков — славянских и балтийских — позволяет не только выразить сомнение относительно функциональной, семантико-синтаксической стороны гипотезы «падежного синкретизма» (применительно к истории германского ДП), но и высказать некоторые предположения, в частности, о развитии значения агенса при страдательном причастии и об употреблении, в связи с этим, беспредложного ДП. Более вероятным, чем «синкретизм», представляется развитие, не предполагающее никакой связи с «и.-е ТП» или «аблативом», но вполне закономерно вытекающее из семантики и синтаксиса ДП лица, одушевленных предметов в самих германских языках[21]. Детали процесса, в общих чертах ясные из употребления германского ДП, становятся еще более наглядными при сопоставлении с аналогичными явлениями родственных языков, особенно — диалектов, говоров. Исходным пунктом развития значений ДП лица служило, как можно полагать, слабо дифференцированное значение направленности действия (вполне возможно, вос-

[20] То же в других родственных языках, в которых значение ДП лица и ДП предметов не восходит к общему источнику — ДП «вообще». Средства выражения значений деятеля и орудия также, как правило, восходит к разным источникам.

[21] См.: например, работы Г. Винклера, А. Грина, Э. А. Макаева, М. М. Гухман и др.

ходящее к более конкретному значению направления движения) на известное лицо и слитная обстоятельственно-дополнительная функция ДП. Как было показано выше, все рассмотренные оттенки значения ДП лица восходят к значению «кому», основному значению этого падежа в древних и, особенно, современных языках. Значение агенса или близкие к нему образуются прежде всего в соответствующих семантически благоприятных условиях, причем аналогическое употребление — на основании уже существующих сочетаний с ДП — обычно также оказывается семантически (лексически) обусловленным или же обладает двойственным значением, обязательно нуждающимся в контекстуальном или ином уточнении, чем примеры с беспредложным ДП отличаются от грамматически оформленных средств выражения деятеля в трехчленном страдательном обороте — предложно-падежных сочетаний или славянского ТП, наиболее совершенного из беспредложных флективных средств, способа, по точности, однозначности, выразительности и минимальной зависимости от семантических факторов превосходящего соответствующие средства других языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

ГРИНБАУМ Н. С.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. АТТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

(VI — IV вв. до н. э.)

I. Покорение к концу VI в. до н. э. малоазийской Ионии персами приводит к резкому ослаблению ее роли и значения в жизни греческого общества. Центр политической и культурной жизни перемещается вновь на материк. В средней части Греции — Аттике создаются после успешного отражения персидского нашествия благоприятные условия для быстрого экономического и социального развития. Афины, крупнейший город Аттики, превращаются в V в. до н. э. в рабовладельческое демократическое государство. Своего наивысшего внутреннего расцвета оно достигает в так называемый «век Перикла», т. е. в 50—30 гг. V в. Этот период характеризуется бурным ростом греческой культуры и искусства, проникнутым верой в разум человека и вниманием к актуальным политическим и нравственным проблемам, созданием значительных произведений в области архитектуры, скульптуры и литературы.

Однако длительная и изнурительная Пелопоннесская война (431—404 гг. до н. э.) существенно подрывает мощь Афин. В IV в. наступает спад их экономической активности. Возникают признаки социального и политического кризиса рабовладельческого полиса. В условиях обострившейся классовой борьбы, вытеснения свободного труда рабским, расширения денежных отношений усиливается общественная дифференциация и происходит заметное ослабление гражданских уз. Существенные изменения имеют место в области идеологии. В литературе и искусстве возрастает интерес к вопросам быта, частной жизни людей, их внутренним переживаниям. Однако несмотря на столь явно изменившиеся условия, Афины продолжают вплоть до потери независимости (338 г. до н. э.) сохранять за собой роль ведущего культурного центра древней Греции [1].

II. В древнейшие времена Аттику заселяли, наряду с пеласгами, ионийские племена. Часть из них продвинулась затем в Пелопоннес, часть приняла активное участие в колонизации побережья Малой Азии [2]. Первоначально Аттика состояла из ряда самостоятельных и независимых друг от друга районов. Согласно древним свидетельствам, ее территория делилась на четыре филы (племени), в каждую из которых входили по три фратрии. Всего в Аттике насчитывалось 12 укрепленных поселений, превратившихся впоследствии и в ее религиозно-административные центры [3]. Хотя мы располагаем весьма скудными сведениями об этом периоде, есть основание относить к древнейшим поселениям такого типа Элевсин [4],

---

[1] Ср.: T. Sinko, Literatura grecka, I, 2, Kraków, 1932, стр. 808.

[2] См.: Геродот, I, 147; VII, 51, 95; VIII, 22; Фукидид, I, 2.6; 3.4; II, 15.4.

[3] Ср.: F. Jacoby, Atthis. The local chronicles of ancient Athens, Oxford, 1949, стр. 126.

[4] Ср.: T. B. Webster, Von Mykene bis Homer, München, 1960, стр. 188.

Афидну, Браурон и Марафон [5]. В XI—X вв. происходит объединение отдельных племенных общин вокруг Афин. Однако некоторые древние центры еще в течение длительного времени сохраняли свою относительную самостоятельность. К ним относился Элевсин с его правом чеканки собственной монеты [6] и марафонский тетраполис с его культовым назначением [7]. Утверждение политического господства Афин сопровождалось учреждением общеаттического праздника покровительницы города — Панафинеем [8].

В этот период, по-видимому, начали складываться на базе нескольких наречий черты будущего единого аттического диалекта, представлявшего собой древнюю форму ионийского [9]. В VII—VI вв. до н. э. аттический диалект становится основным средством делового общения жителей Афин. В VI в. имеет место значительное усиление связей Аттики с малоазийской Ионией в экономическом, политическом и культурном плане. В Афины съезжаются представители ионийской философии, науки и литературы [10]. В это время заметно усиливается и влияние ионийского диалекта. Не следует также забывать, что на территории Аттики не могла не сохраниться языковая традиция микенского времени [11].

Таким образом, характеризуя диалектную картину раннеаттического периода, мы должны считаться с наличием: а) следов делового и поэтического наддиалектов микенской эпохи; б) ионийского наддиалекта в его деловом и литературном вариантах; в) все более крепнувшего и развивавшегося на собственной основе аттического диалекта.

III. Одним из проявлений расцвета аттической культуры был бурный рост литературного творчества. На раннем этапе широко культивируются в Афинах хоровые песни, исполнявшиеся во время культовых народных торжеств. Не получает здесь заметного развития ни сольная лирическая поэзия (ее видным представителем был Солон), ни столь блестяще проявивший себя на малоазийской почве героический эпос. В то же время в Аттике возникает последний важнейший жанр греческой литературы — драма с ее двумя ответвлениями: трагедией и комедией [12]. Характерная особенность драматических произведений состоит в неоднородности языка их хоровых и диалогических партий [13]. Большинство исследователей полагает, что трагедийный и комедийный хоры пользовались дорийским диалектом, так как они были тесно связаны с жанром хоровой лирики [14]. Однако, как показали наши разыскания, в основе языка древнегреческой хоровой лирики лежит не дорийский, а эолийско-протоионийское койне

---

[5] Ср.: N. G. L. Hammond, A histoty of Greece to 322 B. C., Oxford, 1959, стр. 68; E. Meyer, Geschichte des Altertums, Stuttgart, 1953, стр. 267.

[6] См.: Т. В. Блаватская и др., История древней Греции, М., 1962, стр. 167.

[7] Ср.: Р. Пельман, Очерк греческой истории и источниковедения, СПб., 1910, стр. 71.

[8] См.: Т. В. Блаватская и др., указ. соч., стр. 168.

[9] Ср.: W. Schmid, O. Stählin, Geschichte der griechischen Literatur, I, 2, München, 1934, стр. 8.

[10] Ср.: F. Bilabel, Die ionische Kolonisation, Leipzig, 1920, стр. 2.

[11] На это обращает внимание в своей работе С. Уитмэн см.: C. H. Whitman, Homer and the heroic tradition, Cambridge (Mass.), 1958.

[12] Ср.: A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, Paris, 1965, стр. 143.

[13] Ср.: E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, 1, München, 1934, стр. 110.

[14] На тесную связь греческой трагедии с хоровой лирикой справедливо указывал И. И. Толстой (см.: И. И. Толстой, Аэды, Античные творцы и носители древнего эпоса, М., 1958, стр. 51). «В связи с этим нельзя забывать, что трагедия V века и в языке, и в поэтике своей хорики стилистически зависит всецело от хоровой лирики VI столетия».

додорийского времени[15]. Таков и диалектный характер хоровых партий аттической драмы. Они отражают поэтический наддиалект микенской эпохи, сохранившийся (с долгой α)[16] на греческом материке и, в частности, в не затронутой дорийским вторжением Аттике. Диалогические же партии написаны на аттическом с существенной примесью элементов ионийского наддиалекта. По языку они были вначале ближе к эпической и лирической поэзии. Однако со временем в них все больше проявляется влияние набиравшего силу аттического диалекта. В качестве примера можно сослаться на употребление частицы τοίνυν «итак, все же». Она не встречается ни у Гомера, ни у Гесиода. У Эсхила τοίνυν засвидетельствована в трех-четырех, у Софокла — у семи, у Еврипида — в пяти случаях. В то же время она представлена свыше 80 раз у Аристофана, язык которого значительно ближе, чем у остальных представителей драмы, к разговорной аттической речи[17].

Продолжается на аттической почве развитие греческой художественной прозы, становящейся с конца V в. до н. э. господствующим жанром литературы[18]. Развитие историографии в Афинах сопровождается постепенным вытеснением ионийского диалекта и переходом (начиная с Фукидида) к аттическому. Аттическим диалектом широко пользуются и представители ораторского искусства: политического, судебного и «торжественного». На смену деловой прозе ионийской науки приходят в Афинах VI—IV вв. художественный философский диалог и трактат, в которых аттический диалект получает свое дальнейшее литературное развитие.

На наличие различных уровней разговорной речи в Афинах указывает Аристофан, который в одной из своих комедий выводит персонажа, придерживающегося «речи средних граждан, не следуя женственному налету в речи столичных горожан, ни мужицким особенностям в речи низших слоев»[19]. М. И. Тронский полагает, что в городе, где всегда было много иноземцев, лексика получала некоторый инодиалектный налет. В эпиграфических памятниках типа «заговорных дощечек» (defixionum tabellae) и на керамических изделиях отражается, по его мнению, низкий культурный уровень их создателей: он проявляется в особенностях языка и орфографии надписей[20]. Преобладающая часть аттического эпиграфического материала состоит, однако, из официальных документов. Их лексика связана преимущественно с государственным устройством, политическими, правовыми и культовыми отношениями. В надгробных и посвятительных надписях встречаются традиционные формулы.

К фонетическим особенностям староаттического диалекта относилось произношение ττ вместо общегреческого σσ, наличие *ᾱ* после гласных ε, ι и согласного ρ (в ионийском всегда η)[21], к морфологическим особенностям — употребление двойственного числа, в том числе и глагольного; окончание -ῆζ в им. пад. мн. числа у существительных на -εν ζ, форма 1-го лица ед. числа ἦ вместо позднейшего ἦν «был» и т. д.[22].

---

[15] См.: Н. С. Гринбаум, Язык древнегреческой хоровой лирики (Пиндар), Кишинев, 1973, стр. 8—28.

[16] Некоторые исследователи видят в формах на *ᾱ* аттические архаизмы: ср.: H. G. Mahlow, Neue Wage durch die griechische Sprache und Dichtung, Berlin, 1926, стр. 147.

[17] Ср.: J. D. Denniston, The Greek particles, Oxford, 1954, стр. 568.

[18] См.: И. М. Тронский, История античной литературы, Л., 1957, стр. 170.

[19] И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе, Л., 1973, стр. 11.

[20] Там же, стр. 11.

[21] Ср.: K. Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften, Berlin, 1885, стр. 5, 41.

[22] Ср.: W. Schmid, O. Stählin, указ. соч., I, 4, München, 1959, стр. 56.

Характеризуя аттический диалект V в. до н. э., В. Шмид и О. Штелин выделяют в нем четыре слоя. Первый отличает лирическую поэзию и испытывает значительное влияние ионийского (элегии Солона, сколии, эпиграммы и трагедийный диалог). Второй использовался главным образом аттической канцелярией (официальные надписи, декреты, предписания, договоры и т. д.). На третьем, который признается наиболее ранним и наиболее чистым свидетельством литературного языка Аттики, написан псевдоксенофонтовый трактат об афинском государстве, речи Антифонта и Андокида, история Фукидида, проза Исократа, диалоги Платона. Четвертый слой нашел свое преимущественное отражение в народно-разговорном языке аттической комедии, надписях на вазах и заговорных табличках [23].

IV. Определить точное время установления письма в Аттике не удается. Как полагают, оно было введено задолго до Солона, т. е. раньше VII в. до н. э.[24]. Применявшиеся в Аттике письменные знаки относились к древнейшим в ионийском культурном кругу. В 403—402 гг. до. н. э. аттический алфавит, состоявший из 22 букв, был заменен новоионийским из 24 букв со знаками ξ, ψ вместо прежних обозначений χσ, φσ и использованием придыхательного знака Н для обозначения долгого *e*/η/. К этому времени письменность была уже довольно распространена в Афинах [25]. Упоминают о ней Эсхил, Софокл и Еврипид. В трагедии «Ифигения в Авлиде» (ст. 35—39) изображена сцена, когда Агамемнон в тяжелом раздумье пишет письмо домой с приказанием прислать Ифигению. У Аристофана бог Дионис читает в одной из комедий «Андромеду» Еврипида («Лягушки», ст. 52—53). Умеют читать, как сообщает Аристофан, и сами зрители («Лягушки», ст. 1114). На вазах встречается изображение папирусных свитков с написанными на них словами. На знаменитой аттической вазе Дуриса запечатлен учитель, исправляющий задание ученика, написанное на специальных табличках [26]. Имеются упоминания о местах продажи книг. Ксенофонт пишет о том, что Афины вывозили книги в причерноморские области («Анабасис», VII. 5.14). Первыми любителями и собирателями книг греческая традиция называет тиранов Поликрата Самосского и Писистрата Афинского (VI в. до н. э.). Более достоверные сведения имеются о крупных частных библиотеках у поэта Еврипида и философа Аристотеля (Афиней, 1.4) [27].

Можно предположить, что грамотность в Афинах VI—IV вв. была выше, чем в Ионии VII—VI вв. и что этому в определенной мере способствовало развитие книжного дела. Однако нельзя забывать, что умению читать и писать обучались главным образом дети свободных и, в первую очередь, состоятельных граждан. Значительная часть населения Афин, а тем более Аттики в целом, включая сельских жителей, рабов, женщин и городскую бедноту, оставалась неграмотной. Вместе с тем, достигнутый афинским городом-государством высокий уровень политической жизни и культуры не мог не влиять на приобщение к ней более широких слоев греческого общества, чем это имело место в предыдущий период в условиях Малой Азии. Афины VI—IV вв. оставили будущим поколениям богатое источниковедческое наследие. Оно включает выдающиеся произведения античной трагедии и комедии, труды знаменитых историков, философов

---

[23] Ср.: W. Schmid, O. Stählin, указ. соч., I, 3. München, 1940, стр. 95—96.
[24] Ср.: W. Schmid, O. Stählin, указ. соч., I, 2, стр. 17—18.
[25] Ср.: R. Pfeiffer, History of classical scholarship, Oxford, 1968, стр. 25—32.
[26] Ср.: K. Kumaniecki, Historja kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa, 1964, стр. 160.
[27] Ср.: С. И. Радциг, Введение в классическую филологию, М., 1965, стр. 192.

и ораторов, а также большой эпиграфический материал самого разнообразного характера.

V. Продолжавшийся несколько столетий процесс формирования литературного языка в Аттике восходит своими истоками к микенской эпохе. Проведенный нами анализ лексики древнегреческой хоровой лирики позволил обнаружить в Аттике раннюю традицию греческого, в том числе материкового, поэтического языка. Из поколения в поколение здесь передавались старинные песни и устный фольклор, непрерывно накапливалось в народной памяти и культовых центрах лексическое богатство, развивались грамматические средства языка. Об их древности свидетельствует наличие в аттическом диалекте ряда морфологических (например, двойственное число) и синтаксических явлений, не представленных в известном нам ионийском [28].

Важным фактором, положительно повлиявшим на развитие аттического литературного языка, было усиление связей Аттики с Ионией в VII—VI вв. Достигший к тому времени более высокой ступени развития ионийский наддиалект в своей деловой и поэтической форме был быстро воспринят образованным слоем аттического общества. Легкость, с которой это произошло, была связана прежде всего с диалектной близостью аттического и ионийского, а также с общегреческим влиянием гомеровского эпоса, лирической поэзии, философской и исторической прозы, наконец, усилением личных контактов аттических граждан с ионийцами после потери последними независимости.

Формирующийся на своей собственной основе с ее богатыми древними традициями литературный язык Аттики получил, таким образом, весьма существенное подкрепление со стороны ионийской разновидности литературного языка и смог в течение VI—IV вв. достичь значительных успехов в своем развитии. Вместе с тем, не следует преувеличивать это влияние, ибо часть приписываемых ионийскому явлений с равной степенью вероятности может быть отнесена к первоначально общей стадии существования обоих диалектов, т. е. признана и древнеаттической [29].

Однако, хотя становление литературного языка в Аттике характеризуется все более ощутимым вкладом в него развивающегося аттического диалекта в его устно-разговорной и письменной форме, ионийский продолжает сохраняться в нем как органический и неотъемлемый компонент.

Другие греческие диалекты не оказали существенного влияния на формирование аттического литературного языка. В первую очередь это относится к эолийскому, сыгравшему в прошлом важную роль в образовании языка гомеровского эпоса и лесбосской лирики. Это касается также дорийского диалекта, хотя, по мнению многих исследователей, он будто бы присутствует в хоровых партиях драмы. Это не означает, естественно, что у некоторых авторов не встречаются отдельные лексические или морфологические элементы обоих диалектов, но случаи эти весьма редки и не характерны для литературного языка в целом.

Каковы главные черты и специфические особенности литературного языка Аттики VI—IV вв. до н. э.? К ним следует отнести, прежде всего, его обработанность. Аттический литературный язык явился результатом длительного развития, в процессе которого происходил сложный отбор как традиционных, так и позднее появившихся языковых средств. Это письменный и устный язык в основном образованной части населения Афин, имеющей отношение к культовой сфере, просвещению, судопроиз-

[28] Ср.: E. Schwyzer, Syntaktische Archaismen des Attischen, Berlin, 1940, стр. 5—16.

[29] Ср.: E. Schwyzer, Griechische Grammatik, стр. 105.

водству, управлению государством, литературе, науке, искусству и философии. Он постепенно пополнялся некоторыми элементами народной речи, однако в целом избегал узкодиалектных явлений и, особенно в художественной литературе, держался на определенном расстоянии от обиходно-разговорного диалекта неграмотной части общества. Регламентация языкового материала проявляется, с одной стороны, в избирательном использовании древнейших пластов лексики, с другой — в выработке общих стилистических норм. Литературный язык Афин отличается известной, в том числе и диалектной, вариантностью: сочетаются древнеаттические и более поздние формы, ионийские элементы соседствуют с чисто аттическими. Нередко наблюдается и умело используемый писателями параллелизм структурных возможностей. Значительно возрастает в Афинах по сравнению с Ионией роль и значение письменности. Литературный язык в VI—IV вв. обслуживает экономические, политические, идеологические, эстетические и культурные нужды афинского полиса. Художественная литература вместе с другими видами письменности играет ведущую роль в создании узаконенной литературной традиции.

Особого внимания заслуживает вопрос о характере аттического языкового типа. Формирование делового и поэтического ионийского наддиалекта на малоазийском ареале произошло, по свидетельству Геродота, в результате преодоления значительных диалектных различий, связанных как с языковой неоднородностью самих греческих колоний, так и с разноплеменностью автохтонного населения Малой Азии. Доказательства же диалектного дробления аттического в древнейший период полностью отсутствуют, и оно может быть установлено лишь гипотетически [30]. Тем не менее, предположение, что литературный язык Аттики VI—IV вв. сложился на основе обобщенного наднаречного образования, вполне обоснованно. На это указывают его структурное единство, тщательность отбора языковых средств, широкий диапазон лексических вариантов. Вместе с тем, в фонетико-морфологическом плане этот язык стоял, по-видимому, довольно близко к местным говорам и существенно от них не отличался.

Аттический литературный язык вырос на аттической почве и на базе местного диалекта. Однако его образование и, в особенности, стремительное развитие было обусловлено, наряду с факторами социально-экономического и общественно-политического характера, двумя обстоятельствами: многовековой языковой традицией предшествующих, в том числе и микенского, периодов, с одной стороны, и плодотворным влиянием высокоразвитой ионийской культуры и ионийского литературного языка VII—VI вв.— с другой. Наличие беспрерывной исторической преемственности и теснейшей связи между тремя этапами формирования греческого литературного языка — микенским, ионийским и аттическим — служит убедительным подтверждением предположения о его органической целостности и дает основание видеть в аттическом литературном языке VI—IV вв. до н. э. вторую после ионийской разновидность единого древнегреческого литературного языка.

---

[30] Ср.: E. Schwyzer, указ. соч., стр. 87.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

ВЕЙЛЕРТ А. А.

ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ГЛАСНЫХ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СТАНДАРТА И ОСТРОВНОГО ДИАЛЕКТА

Средненемецкий диалект СССР, система гласных которого выступает здесь в качестве одного из объектов сопоставления, достаточно своеобразен, что проявляется как в экстралингвистических особенностях его функционирования как островного диалекта, так и в собственно лингвистическом плане [1]. Все это затрудняет поиск оптимального устного текста на немецком литературном языке, пригодного для сопоставительного исследования. Если же учесть и такие особенности, как спонтанность высказывания, определенные пропорции в чередовании монологической и диалогической речи, а также конкретную тематику исследованного текста, определенный лексический набор, встречаемый в нем, то станут понятными и трудности, ожидающие исследователя на пути сопоставления двух фонетических, а через их посредство и фонологических систем. Понятно, что жесткие условия эксперимента соблюсти невозможно, если под сопоставляемыми вариантами понимать именно два текста, записанных на магнитофон в двух коллективах информантов. Имеется лишь один выход — сопоставление диалектной речи с ее транспозицией на литературный вариант немецкого языка. Мы будем иметь дело, таким образом, с двумя текстами, выраженными в одних и тех же лексемах, морфемах и других сегментных единицах языка с полной идентичностью супрасегментных (просодических) средств и содержания. К разным функциональным вариантам языка будут принадлежать лишь звуковые единицы — гласные и согласные фонемы и их конкретные реализации в стандартной речи. Приведем два варианта одного из предложений в диалекте и в транспозиции на немецкий литературный язык с соблюдением норм образцового литературного произношения (Bühnendeutsch). Предложение *Am Abend bleibe ich daheim* звучит в сопоставляемых вариантах следующим образом:

Диалект: [ˈm o:u vənt plaep iç tˈha:m]
Стандарт: [am a:bənt blaebə iç dahaem]

При обработке материала первым этапом является инвентаризация, за которой следует классификация звукового материала. В приведенном выше примере можно было бы, таким образом, говорить, что фонема /a:/[2], например, реализуется в литературном стандарте как (a:); количество ее употреблений в тексте (далее — «уп.») равно 1. В диалектной речи /a:/ реализуется как (o:u). Если таким же образом провести идентификацию

---

[1] Особенности сбора и обработки материала уже были объектом рассмотрения автора в ряде работ; см., например: А. А. Вейлерт, Об использовании количественных данных в диалектологии, ВЯ, 1973, 4.

[2] Здесь и далее: фонемы даются в косых скобках, аллофоны — в круглых, транскрипция — в квадратных скобках.

каждой фонемы, то получим таблицу качественных соответствий диалектных манифестаций фонем соответствующим фонемам литературного стандарта с количественной характеристикой аллофонов в каждой языковой разновидности. Понятно, что в стандарте каждый аллофон будет материализованной копией идеального гласного — фонемы, в диалекте же, который и представляет, собственно, объект нашего непосредственного исследования, каждая немецкая фонема реализуется в соответствии с диалектными нормами.

Покажем это в таблице (см. табл. 1). Она имеет форму матрицы, где по горизонтали приводятся данные употребительности соответствующих фонем в стандарте, а по вертикали — манифестация фонем в диалекте. Так, фонема /i/, например, была реализована в транспонированном тексте («стандарт») как аллофон (i) 4535 раз, т. е. в 4535 уп. В реальном же диалектном тексте («диалект») этой фонеме соответствуют реализации в форме звука (i) — 4500 уп., звука (ε) — 13 уп., звука (u) — 7 уп., нулевого звука (отсутствия звука) — 6 уп. В метрополии последняя форма была бы названа для любого варианта устного общения как «выпадение звука». Это такие случаи, как [g'fa:r'n], [kind'r]. Тот факт, однако, что рассматриваемый говор, как и средненемецкий диалект СССР в целом, никогда не испытывал сколько-нибудь заметного влияния немецкого литературного языка, вынуждает говорить в такого рода случаях о несоответствии в звучании у сравниваемых варинтов, или, как сказано, об «отсутствии звука», о «нулевом звуке».

Таким же несоответствием является и «дополнительный звук» («Доп.») в примерах типа [axta] [3] — acht, т. е. звук, обнаруживаемый в ряде слов в диалекте, но отсутствующий в тех же словах в стандарте.

В приведенной таблице по горизонтальным линиям расположены количественные показатели манифестаций фонем в диалектном слове, где суммарный показатель фонемы свидетельствует о количестве аллофонов стандарта, т. е. того, что должно было бы быть в языке, если бы наши речевые пробы были представлены в образцовом немецком произношении. По вертикали — аналогичный показатель фонемы, у которого сумма свидетельствует о реальном числе аллофонов диалекта. Другими словами: в литературной транспозиции нашего текста ожидается, например, 2570 уп. фонемы /e:/, реальное же число манифестаций этой фонемы (по вертикали) равно 1158 уп., т. е. значительно меньшему числу. У /a/ ожидается по нормам стандарта 4705 уп. (по горивонтали), у той же фонемы реальное число уп. составило только 3581, и так по всем фонемам.

Чтобы внести полную ясность в сказанное, остановимся кратко на методике выделения перечисленных выше единиц из потока диалектной речи. Одним из возможных путей анализа является картографирование в транскрипционных знаках каждого встретившегося в устном тексте

[3] Некоторые примечания к характеристике гласных диалекта. Долгие и краткие гласные не отличаются по качеству от соответствующих немецкого стандартного языка, что позволяет использовать графемы, отличающиеся лишь знаком долготы (:). Звук (ə) реализуется в диалекте как идентичным ему аллофоном (ə), так и более низким по подъему языка его вариантом (ą). Оба варианта рассматриваются как оттенки фонемы /e/. Манифестация в диалектной речи передних негубных среднего подъема /ε/ и /ε:/ также обнаруживает два варианта: идентичные литературной норме (ε) и (ε:), а также более низкие по подъему и более открытые аллофоны, переданные здесь как (ä) и (ä:). Губные гласные не характерны для диалекта, их единичные употребления переданы их графическими соответствиями (ö), (ü). Из трех дифтонгов кодифицированной нормы в диалекте представлены только два — /ae͡) и /ao͡/. Дифтонг /ɔø/ не употребителен в диалекте, разовые случаи его употребления переданы в форме /oø/. В диалекте широко представлены нестандартные дифтонги: (e:i͡), (e:a͡), (o:a͡) и др. Это скользящие звуки, качественно соответствующие их графическому изображению, т. е. от (e:) к (i), от (e:) к (a) и т. д.

Количественная инвентаризация аллофонов стандарта и

Стандарт	Диа																	
	1 i:	2 i	3 ɛ:	4 ɛ	5 e:	6 ə	7 a	8 a:	9 o	10 o:	11 u	12 u:	13 ö	14 ö:	15 ü	16 ü:	17 ae͡	18 ao͡
1. i	4500			1							9							
2. i:	1	2417																
3. ɛ:			136	3				2										
4. ɛ	5			1533	1		55											
5. e:				7	851		2	9										
6. ə						1541												
7 a				102			3276		1152	1	7							249
8. a:					253	1	246	2641	13	822	533							
9. o	8			7					2610		341							
10. o:					5				4	416	103							
11. u	2								26		1977							
12. u:										35	2	541						
13. ö				58			1	1						2				
14. ö:			1		43					1							1	
15. ü	188								7		29							
16. ü:	79	129			2				1	29	2	2						
17. ae͡	4	5			3			339		4							1473	
18. ao͡							1	245		6	166						35	524
19. ɔf͡								1									358	
20. Доп.	4					2												
Итого	4791	2551	137	1723	1158	1544	3581	3238	3813	1312	3169	543		2			1847	773

(в магнитофонной записи) звука и его последующая идентификация с известными для немецкого языка звуками. Другим возможным путем может быть использование для фонетического анализа составленной ранее картотеки словоформ, в которой за ключевым словом, записанным в стандартной графике, стоят в транскрипции различные варианты словоформ. Звуковые реализации в диалектном тексте рассматриваются, тем самым, как репрезентации фонем того или иного стандартного слова, его словоформ, с указанием количества употреблений. Такой подход позволяет

Таблица 1

диалекта в сопоставлении

лект												Итого	Доля в %%	Примечания
19 эф	20 ä:	21 ä	22 ą	23 e:a	24 e:i	25 o:a	26 o:u	27 u:a	28 u:e	29 u:o	30 —			
		7									6	4535	11,1	Числа в скобках (. . .) не входят в суммарное количество употреблений по «горизонтали» и по «вертикали». Это и является причиной того, что сумма употреблений материала по стандарту — 40699 уп.— выше аналогичного показателя у диалекта — 36909 уп.
	2	30	396								642	3488	8,6	
	24	256			146							567	1,4	
		230	3529		3						46	5402	13,3	
	458	42		3	476						722	2570	6,3	
		1									2095	3637	8,9	
			1			1	33				131	4704	11,6	
			2		6	6	362				100	5234	12,9	
		19				4	1					2991	7,3	
	1	1			1	2	321					854	2,1	
			56								4	2065	5,1	
		34	3			1	2	15	1	1	7	640	1,6	
		6										68	0,2	
		16			37							99	0,2	
		14									3	241	0,6	
		3									6	253	0,6	
			4	1	14	3	3				178	2031	5,0	
												977	2,4	
4												343	0,8	
			144									(150)	(0,4)	
4	485	659	4126	4	683	17	722	15	1	1	(3940)	40699 36909	100,0 100,0	

проводить сопоставление и идентификацию лексического и фонемного материала двух языковых разновидностей, т. е. литературного стандарта и диалекта. Ниже будут рассмотрены четыре вида соответствий фонетического состава диалекта и стандарта.

1. Сопоставление фонем по форме и способу употребления

Рассмотрим, прежде всего, диалектную речь. Из 19 гласных нормы используются только. 14. Не характерны для нее губные и дифтонг /эф/.

Единичные случаи их употребления лишь подчеркивают их необычность для диалекта. Нестандартные гласные представлены десятью единицами — тремя гласными монофтонгами — /ä/, /ä:/, /a/ и семью дифтонгами — /e:a/, /e:i/, /o:a/, /o:u/, /u:a/, /u:ä/, /u:o/. Как было замечено, у диалекта учитываются и так называемые «дополнительные звуки», но не учитываются «нулевые» (—).

Если отвлечься от позиционной обусловленности какого-то числа ненормированных форм, определявшихся во многих случаях артикуляционным скольжением от одной гласной (долгой) к другой (краткой), несоответствием по месту образования новых монофтонгов (более низкий в сопоставлении со стандартом подъем), то наш материал позволяет классифицировать звуковые единицы как по форме (стандартные/нестандартные), так и по способу их употребления (нормированные/ненормированные). Количественно все эти типы единиц представлены в табл. 2.

Таблица 2

Классификация аллофонов по форме и способу употребления

Употребление	Форма				Итого	
	Стандартные		Нестандартные			
	уп.	%%	уп.	%%	уп.	%%
Нормированные	24440	66,2	4602	12,5	29042	78,7
Ненормированные	5890	16,0	1977	5,4	7867	21,3
Итого	30330	82,2	6579	17,8	36909	100,0

Итак, в диалекте только две трети всех звуковых манифестаций гласных фонем имеют соответствия в нормированном употреблении, как например: [da:] — [da:]. В 16,0% случаев стандартные по форме аллофоны выполняют «не свойственную» им по литературным нормам роль, замещая другие фонемы: [da:] — [do:]. 12,5% нестандартных аллофонов обнаружены в нормированном употреблении: [tu:n] — [tu:an]. Доля же ненормированных и нестандартных аллофонов относительно мала — 5,4%. Это случаи типа: [da:] — [do : u].

Стандарт представлен несколько большим количеством материала — 40 699 уп., так как здесь учтены случаи употреблений нулевой гласной (—) в 3940 уп. В то же время не учтены характерные для диалекта «дополнительные звуки», их 150 уп. Аллофоны стандарта причисляются, что само собой разумеется, к стандартным вариантам в нормированном употреблении.

Завершая первый раздел, следует ответить на вопрос, насколько близки сравниваемые устные языки. За основу следует взять, очевидно, стандартные нормированные аллофоны диалекта и соотнести их с аналогичными стандарта (24440:40699 = 0,601). Это 60,1%[4].

[4] Большое число фонетических вариантов в речи наших 60 информантов давало повод полагать, что вариантное своеобразие характеризует их речь потому, что село было основано полвека назад представителями различных немецких говоров. Настоящая же статья основана на материале смешанного говора, где вариантное своеобразие лексем находится в процессе смешения на уровне каждого идиолекта. Проверка показала, однако, что почти каждый из информантов употребляет несколько вариантов слова, некоторые же — весь набор фонетических вариантов, характеризующих слово.

2. Сопоставление фонем по их удельному весу в системе

Приведенный выше список фонем и их репрезентаций в диалектной речи (см. табл. 1) дал возможность познакомиться с тем, как «ведут себя» в диалектной речи фонемы немецкого литературного языка, каковы их качественные замещения, какова количественная представленность последних. Было определено общее количество манифестаций в стандарте и в диалекте каждой из фонем, причем в диалекте в качестве самостоятельных фонем рассматривались и 10 нестандартных звуков, выступающих в сущности лишь как оттенки кодифицированных нормой фонем. Однако многообразие и численное несоответствие фонем сопоставляемых вариантов языка затрудняет выводы по анализу. Сравнение может быть плодотворным только тогда, когда оно проводится на единой основе, в нашем случае — *тогда, когда мы сведем 29 звуков диалекта к 19 звукам стандарта*, оттенками которых они являются. Само же сравнение будет весьма плодотворным, когда будут рассмотрены количественные показатели стандартных звуков в нормированном и ненормированном употреблении. Прежде всего объединим количественные показатели нестандартных звуков с соответствующими основных фонем. Так, данные вариантов: (e:), (ə), (ą), (e:a), (e:i) объединяются под знаком основного варианта фонемы /e:/; /ε:/, (ä:) — под знаком /ε:/; (ε), (ä) — под знаком /ε/; (o:), (o:a), (o:u)— под знаком /o:/; (u:), (u:a), (u:ä), (u:o) — под знаком /u:/.

Рассмотрим эти данные в таблице (см. табл. 3). Она отличается от табл. 1 только тем, что фонемы диалекта сведены к 19 идентичным стандарту фонемам, репрезентации которых выражены в количестве употреблений. Вертикальный фонемный ряд слева обозначает фонемы стандарта, цифры итога справа — общее количество фонемных реализаций, которое должно было бы быть по нормам стандарта. Горизонтальный фонемный ряд сверху—является—фонемным набором диалекта, цифры итога нижнего горизонтального ряда — общее количество фонемных реализаций, если принять в качестве сопоставляемого объекта гипотетическую диалектную речь стандартными фонемами в нормированном и ненормированном употреблении. Как и в табл. 1, «дополнительные звуки» учитываются для диалекта, но не учитываются для стандарта, «нулевые звуки» (—), наоборот, учитываются для стандарта, но не учитываются для диалекта. В обоих случаях они проставлены в скобках, в связи с чем и не включаются в итоговые показатели.

Даже беглое знакомство с абсолютными цифрами дает возможность предполагать известное сходство долей одной и той же фонемы в стандарте и диалекте. Если сопоставить относительные данные (в %%) количественных показателей аллофонов стандарта и диалекта, то обнаруживаются следующие соответствия: /i/ = 11,1% — 13,0% (здесь и далее: первое значение — стандарт, второе значение — диалект), /i:/ = 8,6% — 6,9%, /ε:/ = 1,4—1,7%, /ε/ = 4,6—8,1%, /e:/ = 23,9% — 18,7%, /a/ = 11,6 —9,7%, /a:/ = 12,9% — 8,8%, /o/ = 7,3% — 10,3%, /o:/ = 2,1% — 5,6% /u/ = 5,1% — 8,6%, /u:/ = 1,6% — 1,5%, /ö/ = 0,1% — 0,0%, /o:/ = 0,2% — 0,0%, /ü/ = 0,6% — 0,0%, /ü:/ = 0,6% — 0,0%, /ae/ = = 5,0% — 5,0%, /ao/ = 2,4% — 2,1%, /эф/ = 0,8% — 0,0%.

Обнаруживается явная и почти повсеместная соразмерность удельного веса каждой из пар аллофонов, т. е. их встречаемости в стандарте и в диалекте. Сходство долей порой поразительное — у манифестаций фонем /u:/, /ae/ и /ao/ абсолютное или почти абсолютное сходство относительных количественных показателей (в процентах). Весьма примечательно «поведение» фонемы (ae) в речи каждого из рассматриваемых языковых уров-

Манифестация стандартных фонем гипотетической диалектной речи в нормированном/ненормированном употреблении Таблица 3

Стандарт	Диалект																			Итого
	1 i	2 i:	3 ɛ:	4 ɛ	5 e:	6 a	7 a:	8 o	9 o:	10 u	11 u:	12 ö	13 ö:	14 ü:	15 ü:	16 ae͡	17 ao͡	18 эф	19 —	
1. i	4500			20						9									6	4535
2. i:	1	2417	2	426															642	3488
3. ɛ:			160	259	146		2													567
4. ɛ	5			1763	4	55													46	1873
5. e:			458	50	6400	2	9												2817	9736
6. a				103		3276		1152	35	7									131	4704
7. a:				2	260	246	2641	13	1190	533							249		100	5234
8. o	8			27				2610	5	341										2991
9. o:			1	1	6			4	739	103										854
10. u	2			56				26		1977									4	2065
11. u:				37					36	2	558								7	640
12. ö				64		1	1						2							68
13. ö:			1	16	80				1							1				99
14. ü	188			14				7		29									3	241
15. ü:	79	129		3	2			1	29	2	2								6	253
16. ae͡	4	5		4	18		339		10							1473			178	2031
17. ao͡						1	245		6	166						35	524			977
18. эф							1									338		4		343
19. Доп.	4			144	2															(150)
Итого:	4791	2551	622	2989	6918	3581	3238	3813	2051	3169	560		2			1847	773	4	(3940)	40699 36909

ней. Представленная достаточно хорошо (2031 уп.), она обнаружила в диалектной речи восемь разных звуковых решений, когда замещение происходит самыми далекими по качеству манифестациями фонем. См.: /i/, /i:/, /ɛ/, /e:/, /a:/, /o:/, /a͡e/, /—/. С другой стороны, по вертикали табл. 2 фонема /a͡e/ «вобрала в себя» манифестации четырех фонем, причем ни на одном из уровней общения не могло быть, разумеется их количественной взаимозависимости и обусловленности. Но общая доля по каждой из речевых форм абсолютно совпадает — 5,0%.

Невольно возникает мысль о какой-то закономерности для каждой фонемы, статистической нормы, распространяющейся на все функциональные стили, на любой узус. Характерно ли это явление для немецкого языка в целом или для других языков мира вне зависимости от степени родства? Далеко не в каждом языке возможно такое, как у нас, удобное поле для наблюдений, когда в устном языке обнаруживается такая высокая степень вариационной способности. Известную роль играет и то обстоятельство, что мы имеем дело со смешанным говором, который вновь и вновь получает импульсы для смешения, возникающие под воздействием демографических факторов. Самое главное, что, на наш взгляд, могло способствовать такого рода наблюдениям,— это то обстоятельство, что мы имеем дело с островным диалектом, никогда не испытывавшим заметного влияния немецкого литературного языка и сохранившим вследствие этого психологический настрой его носителей на устную речь.

Равновесие относительных данных по фонемам немецкого языка позволяет делать выводы и другого плана: оно свидетельствует, прежде всего, об общенациональной значимости немецких фонем, кодифицированных письменностью как графемы, о том, что отрыв нормированного языка и его «подъязыков», как иногда называют социальные диалекты, народные говоры и другие уровни языкового общения в пределах нации, в немецком языке мало заметен.

3. Сопоставление по способу образования.

Несмотря на несомненное сходство систем гласных стандарта и диалекта, обнаруживается и определенное своеобразие, которое достаточно отчетливо выявилось в первом разделе. Возникает вопрос, насколько регулярны несоответствия норме? Если распределить наш материал по способу образования гласных, то обнаруживается следующее (см. табл. 4 и 5).

В сопоставлении со стандартом в диалекте наблюдается некоторое преобладание удельного веса гласных среднего подъема и одновременное уменьшение доли гласных нижнего подъема. И снова можно констатиро-

Таблица 4

Статистическая характеристика гласных стандарта по подъему языка

Подъем	Ряд				Итого	
	Передний		Задний			
	уп.	%%	уп.	%%	уп.	%%
Верхний	8517	33,3	2705	23,0	11222	30,0
Средний	12343	48,3	3845	32,0	16188	43,3
Нижний	4704	18,4	5234	44,4	9938	26,6
Итого:	25564	100,0	11784	100,0	37348	100,0

Таблица 5

Статистическая характеристика гласных диалекта по подъему языка

Подъем	Ряд				Итого:	
	Передний		Задний			
	уп.	%%	уп.	%%	уп.	%%
Верхний	7342	34,2	3729	29,1	11071	32,3
Средний	10531	49,1	5864	45,7	16395	47,8
Нижний	3581	16,7	3238	25,2	6819	19,9
Итого	21454	100,0	12831	100,0	34285	100,0

Таблица 6

Сопоставление процентных данных стандарта и диалекта по месту образования звука

Ряд	Подъем						Итого:	
	Верхний		Средний		Нижний			
	станд.	диал.	станд.	диал.	станд.	диал.	станд.	диал.
Передний	75,9	66,3	76,2	64,2	47,3	52,5	68,4	62,6
Задний	24,1	33,7	23,8	35,9	52,7	47,0	31,6	37,4
Итого:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

вать определенную идентичность в пропорциях, которая особенно заметна у гласных переднего ряда. Гласные заднего ряда обнаруживают в диалекте явное своеобразие: очень большую разницу долей у гласных среднего и нижнего подъема.

Стандарт и диалект обнаруживают следующие соотношения пропорций, если расположить материал по месту образования звука (см. табл. 6).

Сопоставление данных по параметрам так называемой трапеции (четырехугольника) немецких гласных проводилось по материалу монофтонгов, хотя количественные данные двугласных можно было бы также использовать в этом случае, предварительно разделив последние на составляющие, а количественную представленность разделив поровну по месту артикуляции каждого компонента. Так, /a͡e/ распадается на /a/ и /e/ (но не на /i/), так как по звучанию неслоговой гласный у дифтонга ближе к /e/ [5], причем первый — гласный переднего ряда нижнего подъема, а второй — гласный переднего ряда среднего подъема. Таким образом удается ввести для рассмотрения весь материал по гласным. Проверка показала, однако, что, хотя процентные отношения таблиц, аналогичных приведенным табл. 4, 5, 6, несколько отличаются, общие выводы по материалу остаются теми же, что и у монофтонгов. Это и позволяет обходиться только материалом монофтонгов.

[5] См. по этому поводу мнение О. Н. Никоновой («Фонетика немецкого языка», М., 1958, стр. 44). Вопрос о правомерности такого рода разделения единого звука, единого фонематического целого достаточно спорен.

4. Сопоставление по силе звучания

Единственным, насколько известно, методом измерения силы звучания человеческой речи и ее сегментов является определение числа колебаний, выражаемого в герцах. Таким образом становятся известными не только количественные показатели силы звучания (здесь в указанном выше значении) основных вариантов фонем, но и слогов, морфем, слов и даже предложений. Мы не знаем пока работ, где использовался бы этот принцип анализа звукового материала, но то, что он вполне оправдан, не представляет сомнения.

Для целей нашего исследования, рассматривающего наименьшую единицу языка — фонему, шкала колебаний в герцах для немецкого языка может оказаться весьма полезной и стать одним из дополнительных способов сопоставления материала. Воспользуемся экспериментальными данными О. Х. Цахера [6]. Метод сопоставительного анализа представляется следующим. Шкала О. Х. Цахера дает мини- и макси- оценки колебаний при звучании каждой из гласных фонем. Нам известна численная представленность каждой гласной фонемы. Умножение числа колебаний каждой фонемы в герцах на количество ее употреблений даст нам общее число герц, затраченных всеми информантами на артикуляцию соответствующей фонемы. Сумма такого рода общих чисел каждой из фонем будет представлять общее количество герц, затраченное на весь текст. Последующее деление на общее количество употреблений приводит нас к искомой средней величине звучания одной «аллоединицы», которая может стать удобным средством измерения соотносительной близости двух и более языков по силе звучания. Сама процедура выделения этой средней, таким образом, исключительно проста. Сложность состоит, однако, в том, что шкала О. Х. Цахера составлена по данным образцовой немецкой речи. Это позволяет вывести на достаточно объективных началах усредненную величину для стандарта, но ставит под сомнение приложение оценок шкалы для диалекта. У нас же нет, к сожалению, экспериментальных данных по рассматриваемому средненемецкому диалекту. Выход видится в том, чтобы использовать для оценок звуков сопоставляемых совокупностей нижнюю шкалу оценок О. Х. Цахера. Думается, что измерять стандарт по макси-шкале, а диалект по мини-шкале оценок Цахера было бы неправильным, так как не давало бы уверенности в достаточной корректности выводов. Сказанное можно было бы резюмировать следующим образом: полученные ниже данные имеют не столько абсолютную ценность, сколько ценность сопоставительную, т. е. представляют интерес в плане реализации основной идеи исследования — определения параметров общности между двумя языками.

Было обнаружено, что у стандарта суммарное количество герц составляет 55 439 тыс. (или 55 439 килогерц, кГц), общее количество «аллоединиц» — 40 699. Частное составляет 1,362 кГц. У диалекта: сумма кГц — 48 236, сумма «аллоединиц» — 36 909, усредненная величина — 1,307 кГц. Разница в средней величине колебаний составляет, таким образом, 55 герц в пользу стандарта. По уже упоминавшимся причинам мы воздерживаемся от каких-либо категорических оценок степени близости диалекта и стандарта. Здесь было бы важно иметь аналогичные данные из других немецких диалектов. Но уже то, что полученная разница в силе звучания составляет только 4,0%, говорит о ее незначительности и о достаточной близости сравниваемых совокупностей.

Усредненные показатели по количеству колебаний можно получить и по каждой из групп аллофонов, расположенных по параметрам фоне-

[6] O. Zacher, Deutsche Phonetik, 2. Aufl., Leningrad, 1969, стр. 65—75.

тического четырехугольника. Так мы получим усредненную силу звучания по каждому типу гласных в зависимости от подъема языка и места артикуляции.

Таким образом, фонетическое сопоставление со стандартом, а в конечном счете с немецкой кодифицированной нормой, позволяет использовать статистические данные для измерения степени близости этих совокупностей. В то же время обнаруживается: а) заметная разница в использовании диалектом фонемных возможностей; б) сходство долей каждой из фонем стандарта и диалекта, позволяющее предполагать определенное равновесие в системе национального языка, наличествующее у каждого из его носителей и проявляющееся в речи; в) определенное сходство фонетических систем, что предполагает и фонематическое сходство по типу образования и свидетельствует также о равновесии в системе. Просматривается и определенное своеобразие — более высокое звучание гласных заднего ряда в диалекте; незначительная разница в общем количестве колебаний (этот вывод, как уже говорилось, весьма спорен и должен быть проверен на экспериментальных данных по диалекту).

Каждый из приведенных четырех параметров можно было бы использовать для целей сопоставительного анализа, а в еще большей мере для нужд типологического изучения языков. Весьма заманчивой представляется, в этой связи, перспектива интеграции самых различных статистических показателей того или иного уровня языка в один количественный показатель, выраженный в относительных величинах или индексах. Это позволит однозначно определять типологическое сходство языков, что, в свою очередь, может стать фундаментом для выработки лингвистических универсалий.

Если обратиться к нашему материалу, то обнаруживается, что каждый из приведенных статистических показателей по четырем темам может стать базой для выведения одного или нескольких индексов. Здесь можно было бы предложить для рассмотрения пять:

а) Индекс стандартности. Это отношение общего числа аллофонов стандарта к числу стандартных аллофонов в нормированном употреблении в диалекте, т. е. 24440 : 40699 = 0,600;

б) Индекс материального соответствия. Отношение общего числа аллофонов стандарта к числу аллофонов диалекта, т. е.: 36909 : 40699 = 0,907;

в) Индекс гласных переднего ряда (аналогично — заднего ряда)

Отношение числа гласных переднего ряда стандарта к соответствующему в диалекте: 21454:25564 = 0,839;

г) Индекс силы звучания. Отношение количества килогерц (кГц) в стандарте к соответствующему в диалекте: 48236 : 55439 = = 0,870;

д) Индекс насыщенности гласными. Отношение усредненного показателя насыщенности гласными (т. е. частного от деления числа согласных на число гласных) стандарта к такому же числу в диалекте: 1,476 : 1,516 = 0,974.

Теперь можно дать и однозначный ответ на поставленный вопрос: насколько фонетический инвентарь диалекта соответствует аналогичному инвентарю стандарта? Для этого необходимо привести показатели пяти индексов к одному. Здесь мы предложим лишь приблизительный метод получения такого рода единого показателя, который никак не претендует на математическую корректность. Быть может, был бы удобен метод квадратичного отклонения Гаусса, но он довольно сложен для вычислений и вряд ли будет принят лингвистами. Наиболее просто сложить показатели

всех индексов и разделить сумму на общее число индексов. «Индекс идентичности гласных», как его можно было бы назвать, соответствует стандартной единице, т. е. «1,000», на 0,838, или на 83,8%. Мы далеки от мысли придавать этой величине самостоятельное значение. Другими словами, трудно утверждать, что инвентарь гласных в рассматриваемом диалекте соответствует норме литературного языка именно на 83,8%. Здесь достаточно изменить содержание одной из величин или увеличить число сопоставляемых индексов до 10—15, как тотчас же изменится и величина «индекса идентичности гласных». Но значение такого рода показателей сильно возрастает, когда появляется возможность для сопоставления данных, полученных на материале другого диалекта или языка любой степени родства, но с соблюдением приведенных здесь условий наблюдения. В таком случае данные подобного рода приобретают статус объективного показателя, а результаты сравнения покажут реальную картину соотношений диалектов или языков внутри избранной совокупности. На немецком материале, таким образом, можно было бы расположить в ранговой таблице по степени близости гласных (и не только их) все известные и еще живые немецкие диалекты.

Но не только на материале конкретных типологий возможны работы такого рода. Они приобретают особое значение, если воспользоваться предложенной методикой для решения вопроса ранговой соотнесенности языков различной типологии в сопоставлении с общим языком-эталоном.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

ПАНФИЛОВ В. С.

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ

§ 1. Актуальное членение — это логико-грамматический анализ предложения, выделение в предложении состава «данного» (то, из чего исходит говорящий) и состава «нового» (та часть сообщения, на которую говорящий хочет обратить внимание слушающего). В отличие от анализа по членам предложения, который опирается прежде всего на формальные признаки, для актуального членения предложения решающими являются соображения логического порядка. Грамматическая же сторона актуального членения состоит в том, что противопоставление «данного» и «нового» поддерживается определенными формальными средствами (интонация, порядок слов, служебные слова). Само по себе изменение актуального членения не влияет на анализ по членам предложения, если при этом не происходит изменения формальных признаков последних.

Высказывание может быть нерасчлененным в коммуникативном плане, т. е. исчерпываться составом «нового». Семантически такого рода высказывания можно охарактеризовать как «сообщение о факте». Высказывания расчлененные можно подразделить на две группы в зависимости от того, является ли «данное» названием предмета беседы, к которому относится содержание «нового», или же оно («данное») излагает ситуацию, которая в том или ином отношении уточняется составом «нового». Таким образом, существуют три основных разновидности актуального членения предложения:

(I) Сообщение о факте (нерасчлененные высказывания): hết tiền «Кончились деньги»;

(II) Характеристика предмета беседы («данное», как правило, выражено существительным): phim này tôi đã xem «Этот фильм я уже видел»;

(III) Уточнение ситуации («данное» выражено предикативом, как правило — глаголом): học tiếng Nga tích cực nhất là Nguyễn «Активнее всех занимается русским языком Нгуен». Как будет показано ниже, внутри каждой из этих разновидностей может быть произведено дальнейшее подразделение, результаты которого мы будем называть коммуникативными типами вьетнамского языка.

В составе «нового» иногда бывает целесообразно выделить наиболее нагруженную в коммуникативном плане часть, которую можно условиться называть ядром сообщения [1]. В таком случае ядро сообщения можно определить как логически господствующую часть в составе «нового», к которой может быть сведен эллиптический ответ на вопрос, относящийся к данному предложению. Ср. два примера: Cái trách nhiệm nặng nề này Lê Lợi đã giao một phần quan trọng cho Nguyễn Trãi (Văn Tân) «Эта нелегкая задача — Ле Лой доверил значительную ее часть Нгуен Чаю»; Cái việc

[1] Ср.: Ю. Х. Сирк, Об актуальном членении и формально-грамматической структуре предложения в индонезийском языке, «Краткие сообщения Ин-та народов Азии», М., 1964, 68, стр. 175.

này xin làng cứ giao cho tôi một con trâu với một thúng gạo (Nguyễn Văn Ngọc) «Это дело — прошу вас, доверьте мне одного буйвола и одну корзину риса». В первом примере «данным» является сочетание «эта нелегкая задача», во втором — «это дело». Остальная часть в каждом из предложений представляет собой состав «нового», в котором, однако, по-разному (в коммуникативном плане) распределены некоторые участники ситуации «доверять»: в первом примере ядром сообщения является адресат (задача доверена Нгуен Чаю, а не кому-то другому), во втором примере — объект (доверить одного буйвола и одну корзину риса, а не что-то другое).

Следует подчеркнуть, что компоненты актуального членения («данное», «новое», «ядро сообщения») должны быть осмысленными. При таком подходе следует отказаться от анализа, в соответствии с которым в русском примере типа *Такой жизни не выдержал Иванов* (с ударением на сказуемом) усматривается разорванный состав «данного»: *Такой жизни... Иванов* [2].

В предложении могут быть слова, поясняющие его в целом и стоящие вне актуального членения. Примером может служить слово quả nhiên «действительно» в следующем предложении: Quả nhiên chập tối đổ một trận mưa như trút (Nguyễn Đức Thuận) «Действительно, к вечеру хлынул жуткий ливень» [3].

При нейтральной интонации состав «данного» предшествует составу «нового» (объективный порядок слов). При наличии специальной интонации, которая может сопровождаться и некоторыми выделительными средствами в составе «нового» (наречия степени, восклицательные частицы), «новое» предшествует «данному», и мы имеем дело с субъективным порядком слов: Sung sướng thay những người dễ quên (Khái Hưng) «Как счастливы те, которым дано легко забывать!». Субъективный порядок слов используется в основном либо в вопросительных предложениях, либо в сфере эмоциональной речи и не имеет непосредственного отношения к актуальному членению как таковому. Так, в частности, актуальное членение последнего примера то же самое, что и в предложении: Những người dễ quên thật là sung sướng «Те, которым дано легко забывать, поистине счастливы». В последующем изложении мы не выделяем высказывания с субъективным порядком слов в самостоятельные коммуникативные типы, но учитываем их как «эмоциональный» коррелят соответствующих высказываний с объективным порядком слов.

§ 2. Каждое конкретное высказывание употребляется говорящим для реализации вполне определенного коммуникативного задания, находится в соответствующем контексте и допускает единственное актуальное членение. Что же касается синтаксических конструкций как таковых, то, как показывает фактический материал, большинство исходных конструкций может быть использовано для реализации нескольких коммуникативных заданий [4]. В этих случаях порядок слов не участвует в выражении актуального членения и в качестве формальных признаков последнего выступают интонация и служебные слова, а иногда актуальное членение может вообще не быть выраженным формально и узнается исключительно по контексту (см. ниже). Трансформы исходных конструкций, как пра-

[2] И. П. Распопов, Актуальное членение предложения (На материале простого повествования преимущественно в монологической речи), Уфа, 1961, стр. 73—74.

[3] Слова, стоящие в начале предложения, но не участвующие в его актуальном членении, можно, если в этом есть необходимость, условиться именовать специальным термином. В. Матезиус называл их исходной точкой высказывания (В. Матезиус, О так называемом актуальном членении предложения, «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 241).

[4] Ср.: В. В. Виноградов, Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения, ВЯ, 1954, 1, стр. 23; О. А. Лаптева, Нерешенные вопросы теории актуального членения, ВЯ, 1972, 2, стр. 44.

вило, используются для реализации единственного коммуникативного задания, поэтому актуальное членение соответствующего высказывания оказывается возможным установить вне контекста, на основании одного лишь порядка слов.

Рассмотрим коммуникативные возможности характернейших глагольных конструкций, оставляя пока в стороне выяснение условий реализации этих возможностей. Конструкция с переходным глаголом может быть представлена примером tôi đọc sách «Я читаю книгу». В этой конструкции можно установить следующие коммуникативные границы: перед конструкцией в целом, перед подлежащим, перед сказуемым и перед дополнением. Если учесть еще и трансформы данной конструкции, то полный набор ее коммуникативных возможностей будет выглядеть следующим образом [5]: (I, 1) Tôi đọc sách «Я занят чтением» (действительно имеет место именно это событие); (II, 1) Tôi đọc sách (chứ không nghỉ) «Я читаю» (а не отдыхаю); (II, 2) Sách (này) tôi đọc rồi «Эту книгу я прочел»; (III, 1) Đọc sách (nhiều nhất) là tôi (Больше всех) читаю я»; (III, 2) Tôi đọc sách (chứ không phải báo) «Я читаю книгу» (а не газету).

В каждом из перечисленных коммуникативных типов граница состава «нового» может быть обозначена при помощи служебного слова là, а в коммуникативном типе (III, 1) наличие этого служебного слова обязательно. Служебное слово là имеет отрицательную форму không phải (là), которую мы для краткости условимся называть связочным отрицанием, в противоположность обычному отрицанию không «не». При объективном порядке слов после là следует состав «нового», при субъективном — состав «данного»: Đọc sách nhiều nhất là tôi «Больше всех читаю я»; Chính tôi là đọc sách nhiều nhất «Именно я читаю больше всех».

Конструкция không phải tôi đọc sách двусмысленна, и эта двусмысленность устраняется только при помощи интонации: если ударение падает на связочное отрицание, после которого имеет место небольшая пауза, то высказывание приобретает смысл «неверно, что я читаю» (коммуникативный тип I, 1); при ударении на подлежащем, которое произносится слитно со связочным отрицанием, высказывание означает «вовсе не я читаю» (коммуникативный тип III, 1 при субъективном порядке слов) [6].

В свете изложенного становится ясным, что различие между примерами tôi không đọc sách «Я не читаю книгу» и tôi không phải đọc sách «Я вовсе не занят чтением» состоит в том, что в первом употреблено обычное отрицание, которое никак не связано с формальным выражением актуального членения, в то время как употребленное во втором примере связочное отрицание является формальным обозначением границы «нового». Второй пример относится к коммуникативному типу (II, 1), тогда как первый, рассматриваемый, конечно, не как конкретное высказывание, но как синтаксическая конструкция с переходным глаголом в качестве ядра, может соответствовать любому из перечисленных выше коммуникативных типов конструкции tôi đọc sách «Я читаю книгу». Коль скоро в коммуникативном типе (II, 1) оказывается возможным «сосуществование» конструкций с обычным и связочным отрицаниями (первому в утвердительной форме соответствует нуль, второму — служебное слово là), между этими конструкциями возникает и смысловое различие (см. § 4), так что данный коммуникативный тип распадается на два подтипа.

---

[5] В приводимых ниже примерах одной чертой подчеркивается состав «данного», двумя — состав «нового».

[6] Ср.: Nguyễn Kim Thản, Vài nhận xét về cách bày tỏ ý phủ định trong tiếng Việt, «Ngôn ngữ», 1972, 2, стр. 19.

Поскольку главное при выделении коммуникативных типов — это актуальное членение и условия его реализации, в одном типе могут объединяться примеры, по-разному анализируемые по членам предложения. Так, в частности, в коммуникативный тип (II, 2) могут быть зачислены не только высказывания с инверсией дополнения, но и высказывания с инверсией зависимого подлежащего, ибо условия инверсии этих членов предложения сходны (см. ниже). В связи с этим при дальнейшем рассмотрении материала мы будем учитывать не все коммуникативные возможности той или иной конструкции, но лишь те из них, которые не могут быть подведены под какой-либо из коммуникативных типов, установленных для конструкции tôi đọc sách «Я читаю книгу».

Рассмотрим конструкции с глаголами, оптимальное окружение которых включает два дополнения. Таковы, например, глаголы, обозначающие перемещение объекта (tôi đặt con gà vào mâm «Я положил курицу на поднос») и глаголы давания (tôi đưa anh tiền «Я даю тебе деньги»). В каждой из подобных конструкций односложные беспредложные дополнения имеют единственный порядок взаиморасположения, который можно условиться считать исходным. Как видно из приведенных примеров, исходным порядком дополнений для глаголов, обозначающих перемещение объекта, является предшествование дополнения-объекта дополнению со значением места, а для глаголов давания — предшествование дополнения-адресата дополнению со значением объекта. С помощью предлогов или иных средств, которые нас сейчас не интересуют, исходный порядок дополнений может быть изменен: tôi đặt vào mâm hai con gà này «Я положил на поднос эти две курицы»; tôi đưa tiền cho anh «Я даю деньги тебе».

По своим коммуникативным возможностям конструкции с двумя дополнениями совершенно аналогичны рассмотренным выше конструкциям типа tôi đọc sách «Я читаю книгу». Объясняется это тем, что при одновременном наличии после глагола двух дополнений, одно из них — то, которое в данном конкретном высказывании непосредственно примыкает к глаголу — лишено коммуникативной самостоятельности и в плане актуального членения может только образовывать единое целое с глаголом-сказуемым. Так, в примере tôi đưa anh tiền «Я даю тебе деньги» коммуникативная граница не может проходить между глаголом đưa «давать» и дополнением-адресатом anh «ты». В этом месте невозможно и употребление служебного слова là. Равным образом в примере tôi đưa tiền cho anh «Я даю деньги тебе» невозможна коммуникативная граница между глаголом и дополнением-объектом tiền «деньги».

Конструкции с бытийными глаголами (tôi hết tiền «У меня кончились деньги») содержат, как известно, два подлежащих: тематическое (tôi «я») и зависимое (tiền «деньги»). По своим коммуникативным возможностям эти конструкции отличаются от рассмотренных выше тем, что коммуникативный тип (III) возможен для них лишь в порядке исключения. Кроме того, конструкции с бытийными глаголами даже и при отсутствии тематического подлежащего образуют вполне законченные предложения, которые, помимо коммуникативного типа (I, 1), могут иметь еще один, вполне самостоятельный по значению и условиям реализации коммуникативный тип: (I,2) Hết tiền Кончились деньги».

Учет коммуникативных возможностей конструкций с глаголами движения дополнит наш перечень коммуникативных типов еще двумя. Прежде всего это нерасчлененные высказывания, в которых постпозиция подлежащего обусловлена обязательным наличием обстоятельства в начале конструкции: (I,3) Từ cổng chạy đến một anh thanh niên «От ворот подбежал молодой человек». Кроме того, исходные конструкции с глаголами

движения могут, помимо коммуникативного типа (I, 1), представлять собой нерасчлененные высказывания, общее значение и условия реализации которых позволяют выделить их в отдельный коммуникативный тип: (I, 4) Bác về «Дядя вернулся».

§ 3. Мы рассмотрели коммуникативные возможности конструкций, состоящих из глагола-ядра и членов его оптимального окружения. Обратимся теперь к членам предложения, которые относятся к предложению в целом. В плане актуального членения их можно классифицировать следующим образом: 1) определение к предложению: не может быть ни «данным», ни «новым», т. е. всегда находится вне актуального членения предложения; 2) слово-тема: выступает всегда только в качестве «данного»; 3) обстоятельство (места, времени, причины и т. д.): может как участвовать в актуальном членении, так и выводиться из него. В первом случае может либо входить в состав «нового», либо исчерпывать собой состав «нового», В качестве «данного» обстоятельство выступать не может.

Определение к предложению помещается либо в начале предложения (см. пример со словом quả nhiên «действительно» в § 1), либо между подлежащим и сказуемым, фонетически примыкая к последнему. Понятно, что определение к предложению представляет минимальный интерес в плане актуального членения.

Для слова-темы возможна единственная позиция в предложении — в абсолютном начале, что отличает слово-тему от инверсированного дополнения, которое всегда может быть возвращено в послеглагольную позицию. Другой формальный признак слова-темы — обязательное отсутствие предлога [7]. Присоединение предлога (về «о», đối với «для; относительно») превращает слово-тему в дополнение или обстоятельство с соответствующими последствиями как для способности менять позицию в предложении, так и для участия в актуальном членении. Сказанное не относится к сочетанию слова-темы со служебным словом còn «что касается», которое обычно называют предлогом, однако эта квалификация сомнительна.

Отличия слова-темы от подлежащего сводятся к следующему: во-первых, слово-тема, подобно обстоятельству или определению к предложению, может распространять конструкции с любым глаголом в качестве ядра и присутствовать в конструкции одновременно с подлежащим: áo này, tôi đưa anh tiền «На эту рубашку я дал тебе деньги»; sách này, tôi hết tiền «На эту книгу у меня нет денег»; во-вторых, перед конструкцией с подлежащим можно употребить каузативный глагол, превратив подлежащее в дополнение каузативной конструкции [8]: nó bắt tôi đưa anh tiền «Он заставил меня дать тебе деньги». Эту операцию нельзя проделать, если конструкция начинается не с подлежащего, но со слова-темы. Так, в нижеследующем примере việc «дело» есть именно слово-тема, а не тематическое подлежащее: Việc đã có quan (Ngô Tất Tố) «Это дело рассмотрено чиновником» (досл.: «дело — имелся — чиновник»).

Итак, учет высказываний с участием слова-темы подволяет выделить следующий коммуникативный тип: (II, 3) Áo này, tôi đưa anh tiền «На эту рубашку я дал тебе деньги».

Обстоятельства могут присоединяться к предложению либо «справа», т. е. после группы сказуемого, либо «слева», т. е. перед группой подлежащего. Присоединением обстоятельства «справа» ликвидируется возмож-

[7] Ср.: И. С. Быстров, Н. В. Станкевич, Опыт классификации членов предложения, «Вьетнамский лингвистический сборник», М., 1976, стр. 223.

[8] С. Е. Яхонтов, Принципы выделения членов предложения в китайском языке, «Языки Китая и Юго-Восточной Азии», М., 1971, стр. 253.

ность коммуникативной границы между глаголом и следующим за ним дополнением (в случае с двумя дополнениями — между глаголом и любым из следующих за ним дополнений). Так, в примере tôi đưa anh tiền ở trong phòng «Я дал тебе деньги в комнате» коммуникативная граница невозможна ни перед дополнением anh «ты», ни перед дополнением tiền «деньги», но возможна перед обстоятельством ở trong phòng «в комнате».

Помещаясь перед группой подлежащего, обстоятельства при нейтральной интонации и отсутствии выделительных средств не участвуют в актуальном членении предложения, напоминая в этом отношении определение к предложению, а при наличии хотя бы специальной интонации выступают в качестве «нового», что дает субъективный порядок слов. Рассмотрим пример: Qua tâm hồn ta, chúng ta có thể đoán biết được tâm hồn mọi người (Thạch Lam) «Через собственную душу мы можем понять души других». Поскольку перед обстоятельством qua tâm hồn ta «через собственную душу» отсутствуют выделительные слова (chỉ «только», chính «именно» и т. п.), его участие в актуальном членении предложения зависит исключительно от интонации (точнее: интонация, с которой мы должны произнести наш пример, зависит от того, хотим ли мы представить стоящее в начале обстоятельство в качестве «нового»).

Некоторые обстоятельства имеют свою типичную позицию в предложении и, следовательно, свою типичную роль в актуальном членении. Типичная позиция узнается по тому, какое значение получает в ней двусмысленное вне контекста сочетание. Так, например, само по себе сочетание ba giờ может значить либо «в три часа», либо «в течение трех часов», однако позиция в предложении ликвидирует эту двусмысленность: Ba giờ tôi đi chơi «В три часа я пойду гулять» (позиция перед группой подлежащего — типичная для обстоятельства времени со значением момента); Tôi đi chơi ba giờ «Я гулял три часа» (позиция после группы сказуемого — типичная для обстоятельства времени со значением длительности).

Таким образом, для обстоятельства со значением момента наиболее характерно, поясняя предложение в целом, не участвовать в его актуальном членении (приводимый ниже пример 1); статус «нового» это обстоятельство может обрести либо с помощью интонации и выделительных средств (пример 2), либо путем постановки после группы сказуемого (пример 3): 1) Dạo hè năm ngoái, nó đã lấy của nàng hơn chục bạc (Thạch Lam) «Летом прошлого года он взял у нее более десятка донгов»; 2) Không phải bây giờ mà từ đầu mùa xuân năm ngoái, Khuê đã quá quen thuộc với khung cảnh này (Nguyễn Minh Châu) «Не сейчас вовсе, но уже с прошлогодней весны Кхюе куда как привык к таким картинам»; 3) «— Ông đã trông thấy cảnh này bao giờ chưa hả ông Khuê? — Tôi đã trông thấy hồi năm ngoái /.../» (Nguyễn Minh Châu) — «Вы видели такое когда-нибудь, Кхюе? — Видел в прошлом году».

Для обстоятельства со значением длительности, напротив, наиболее характерен именно статус «нового» как при объективном, так и при субъективном порядке слов: Nước ta độc lập vừa 5 năm. Đã 5 năm, dân ta kháng chiến (Hồ Chí Minh) «Наша страна независима всего лишь пять лет. И вот уже целых пять лет наш народ сражается».

Как уже было отмечено выше, обстоятельство может либо входить в состав «нового», либо исчерпывать его. В последнем случае совпадение состава «нового» с обстоятельством может быть формально выражено с помощью служебных слов: при обстоятельствах со значением длительности во времени или протяженности в пространстве для этой цели используется, как правило, служебное слово đã, при остальных обстоятельствах — служебное слово là: Bác làm đê đã mấy hôm nay? (Vũ Trọng Phụng) «Вы работали на плотине сколько дней?»; Nhưng chị bực nhất Nhương là ở

điểm khác kia (Bùi Hiền) «Но больше всего она сердилась на Нионг совсем за другое»; Trước kia Mịch tự tử là vì ái tình (Vũ Trọng Phụng) «Раньше Мить пыталась покончить с собой именно из-за любви».

Учет роли обстоятельств в актуальном членении позволяет дополнить наш список коммуникативных типов двумя следующими: (II, 4) Tôi nghe điều đó qua ra-đi-ô «Я слышал это по радио»; (III, 3) Toi nghe điều đó qua ra-đi-ô «Я слышал это по радио». Коммуникативный тип (II, 4) в свою очередь распадается на два подтипа: с обычным и со связочным отрицанием перед группой сказуемого.

Результаты инвентаризации основных коммуникативных типов вьетнамского языка можно предствить следующим образом:

(I, 1) Không phải tôi đọc sách «Неверно, что я читаю»;

(I, 2) Hết tiền «Кончились деньги»;

(I, 3) Từ cổng chạy đến một anh thanh niên «От ворот подбежал молодой человек»;

(I, 4) Bác về «Дядя вернулся»;

(II, 1) а) Tôi không đọc sách «Я не читаю»;

б) Tôi không phải đọc sách «Я вовсе не занят чтением»;

(II, 2) Sách này tôi đọc rồi «Эту книгу я прочел»;

(II, 3) Áo này, tôi đưa anh tiền «На эту рубашку я дал тебе деньги»;

(II, 4) а) Tôi không nghe điều đó qua ra-đi-ô «Я не слышал это по радио»;

б) Tôi không phải nghe điều đó qua ra-đi-ô «Я вовсе не слышал это по радио»;

(III, 1) Đọc sách nhiều nhất là tôi «Больше всех читаю я»; Chính tôi là đọc sách nhiều nhất «Именно я читаю больше всех»;

(III, 2) Tôi đọc sách này «Я читаю эту книгу»;

Chỉ sách này là tôi đọc «Только эту книгу я и читаю»;

(III, 3) Toi nghe điều đó qua ra-đi-ô «Я слышал это по радио»;

Chính qua ra-đi-ô tôi nghe điều đó «Именно по радио я это слышал».

§ 4. Рассмотрим условия, определяющие реализацию выделенных выше коммуникативных типов.

Некоторые из высказываний могут быть использованы в качестве ответа на тот или иной вопрос, тогда как другие подобного использования не допускают. Относительно последних будем говорить, что они употребляются только по инициативе говорящего.

Необходимо также уточнить два неформальных понятия: детерминированность предмета и детерминированность ситуации.

Недетерминированным будем называть предмет, не выделенный из класса однородных предметов: *Книга — источник знаний* (*книга* в этом примере выступает как представитель класса). Детерминированность предмета означает его выделенность из класса однородных предметов, что проявляется, в частности, в возможности употребить указательное местоимение или определение с ограничительным значением: *Эта книга — целая энциклопедия*; *Книга, которую ты мне дал, очень интересная* [9]. Понятно, что всегда детерминированы имена собственные и названия единственных в своем роде явлений.

[9] Ср.: И. И. Ревзин, Некоторые средства выражения противопоставления по определенности в современном русском языке, «Проблемы грамматического моделирования», М., 1973, стр. 130.

Недетерминированная ситуация — это ситуация, неизвестная слушающему, о которой он узнает только в момент сообщения о ней говорящим: *Дядя приехал*!. Детерминированная ситуация известна как говорящему, так и слушающему: *Ведь из-за тебя я опоздал*! (оба собеседника знают о факте опоздания). Часто, хотя и не всегда, недетерминированность соответствует первому, а детерминированность — повторному упоминанию ситуации в тексте.

Коммуникативный тип (I, 1) возможен при любом, в том числе и связочном сказуемом; кроме того, он противостоит остальным разновидностям нерасчлененных высказываний в том отношении, что речь в нем может идти только о детерминированной ситуации, точнее — о ее подтверждении или опровержении. К таким высказываниям можно поставить вопрос: có phải thật như thế này không? «Действительно ли это так?». Несколько примеров: Hôm nay là họ ăn vạ lão Sửu (Ngô Tất Tố) «Сегодня они-таки решили ударить по карману старика Шыу» (сам по себе этот факт известен из предшествующего изложения и сейчас только окончательно подтверждается); «— Ông Long, ông điên mất rồi.— Thưa ông, chẳng phải tôi không biết như thế là điên» (Vũ Trọng Phụng) «— Господин Лонг, Вы с ума сошли.— Неверно, господин, будто я сам не понимаю, что это безумие».

Коммуникативные типы (I, 2), (I, 3), (I, 4) описывают только недетерминированную ситуацию. Тип (I, 2), реализующийся при сказуемом — бытийном глаголе, представляет собой сообщение о наличии, появлении, исчезновении того, что обозначено зависимым подлежащим, детерминированность которого несущественна. Подобные высказывания отвечают на вопросы xảy ra cái gì? «Что случилось?», gì thế? «В чем дело?»: Hết cảnh đầu (Nguyễn Công Hoan) «Кончилось первое действие»; Chợt có tiếng kẻng (Bùi Hiền) «Вдруг раздался звук гонга».

Смысловые особенности и условия функционирования бытийных высказываний хорошо описаны на китайском материале [10], который в этом отношении вполне аналогичен вьетнамскому.

Коммуникативные типы (I, 3) и (I, 4) реализуются при сказуемом — глаголе движения и по значению напоминают бытийные высказывания, но имеют и некоторые отличия от них: во-первых, подлежащее в этих коммуникативных типах выражается обычно существительным со значением лица; во-вторых — в высказываниях (I, 3) имеет место обязательная недетерминированность, а в высказываниях (I, 4) — обязательная детерминированность подлежащего.

Высказывания (I, 3) не могут использоваться как ответ на вопрос; они употребляются исключительно по инициативе говорящего для того, чтобы сообщить о появлении новых, доселе неизвестных действующих лиц, которым тут же дается характеристика, так как дальше речь пойдет именно об этих лицах: Từ trên máy bay bước xuống hai người: một Mỹ, một Việt (Đặng Thanh) «Из самолета вышли двое: американец и вьетнамец» (следует описание вышедших из самолета); ở ngoài cổng đình lù lù tiến vào một lũ độ trên mười ông lão già (Ngô Tất Tố) «От ворот дома проследовали человек десять почтенных старцев» (описывается, как выглядели и что стали делать пришедшие).

Высказывания (I, 4) отвечают на те же вопросы, что и бытийные предложения, однако употребляются, когда речь идет о появлении лица, известного собеседникам: (Герои ждут возвращения старца — гостя их хозяина; раздается стук в дверь) «— Cái gì? — Bìm, cụ về» (Vũ Trọng

[10] А. А. Драгунов, О зависимых членах предложения в современном китайском языке, ИАН ОЛЯ, 1946, 6, стр. 487—488; С. Е. Яхонтов, Категория глагола в китайском языке, Л., 1957, стр. 29—32.

Phụng) «— В чем дело? — Старец вернулся». Понятно, что к последнему предложению, учитывая его контекст, нельзя поставить вопросов вроде «кто вернулся?» или «что сделал старец?».

Высказывания (II, 1) и (II, 4) имеют много общего в условиях реализации как подтипа (а), так и подтипа (б).

Важнейшим условием реализации подтипа (а) в коммуникативных типах (II, 1) и (II, 4) является недетерминированность ситуации; детерминированность/недетерминированность дополнения значения не имеет (применительно к обстоятельству вопрос о детерминированности вообще не ставится). Высказывания (а) соответствуют общему вопросу, образуемому с помощью сочетаний có... không (вопрос о наличии ситуации) или đã... chưa (вопрос о наступлении ситуации): «— Thế cụ có giận Xuân không? — Cũng giận mà cũng không giận» (Vũ Trọng Phụng) «— Так Вы сердитесь на Суана? — И сержусь, и не сержусь»; «— Cụ nghị đã gặp ông chủ chưa? — Chưa gặp» (Vũ Trọng Phụng). «— Господин депутат уже виделся с хозяином? — Еще не виделся».

Чтобы нагляднее продемонстрировать значение детерминированности ситуации для актуального членения рассматриваемых высказываний, сравним два следующих примера: 1) Tôi rất khó chịu về cái giọng ngọt ngào giả dối của bác Trung (Hữu Mai) «Мне было противно от слащаво-фальшивого голоса Чунга»; 2) Cụ yêu tôi về tính hoạt động (Ngô Tất Tố) «Старик любил меня за деятельную натуру». Поскольку актуальное членение в этих примерах не выражено формально, для его уточнения следует обратиться к соответствующим контекстам, из которых становится ясным, что ситуация «мне было противно» является недетерминированной, тогда как ситуация «старик любил меня» известна из предшествующего повествования и упомянута исключительно ради ее пояснения. В связи с этим, если в первом примере опустить обстоятельство, высказывание хотя и изменится, но не станет бессодержательным. Эту операцию по соображениям логического порядка нельзя проделать во втором примере. Таким образом, первый пример относится к коммуникативному типу (II, 4), а второй — к типу (III, 3).

Высказывания подтипа (б) в коммуникативных типах (II, 1) и (II, 4) являются подтверждением или опровержением детерминированной ситуации и соответствуют вопросу có phải ... không? «Действительно ли (это так)?»:«Thế mày ở đây nghỉ vài hôm nhé — Không! Thưa ông, tôi không phải lên đây để chơi...» (Vũ Trọng Phụng) «Отдохни здесь несколько дней! — Нет. Я ведь, господин, приехал сюда не для развлечений....».

Высказывания подтипа (б) очень близки по значению к высказываниям (I, 1). Различие между ними состоит в том, что опровержение ситуации в высказываниях (I, 1) вполне закончено в смысловом отношении, тогда как высказывания со связочным отрицанием перед группой сказуемого содержат идею противопоставления: tôi không phải đọc sách «Я вовсе не занят чтением» подразумевает намек на другое занятие, что может быть выражено эксплицитно: tôi không phải đọc sách, tôi nghỉ «Я вовсе не читаю, я отдыхаю». На основе именно такого употребления связочного отрицания сформировались парные союзы không phải... mà... «не..., а...», không phải chỉ... mà còn... «не только... но и...».

Высказывания (II, 2) соответствуют вопросу, относящемуся к сказуемому: sách này anh đã đọc chưa? «Эту книгу ты прочел?». Семантически их можно определить как характеристику детерминированного предмета, ибо детерминированность является обязательным условием инверсии как дополнения, так и зависимого подлежащего. Сказуемое при этом, как правило, имеет при себе какие-либо зависимые слова, знаменательные или служебные, которые, указывая на ту или иную сторону в развитии действия

(завершенность, неожиданность, быстрота и т. д.), тем самым оправдывают сосредоточение внимания слушающего на этом действии: Việc này đảng viên của ta ở nước ngoài cũng biết được sơ lược (Phan Bội Châu) «Об этом деле члены нашей партии за границей кое-что узнали» Cơn giận của tôi đã hết rồi (Thạch Lam) «Мой гнев уже прошел».

Высказывания (II, 3) отличаются от случаев инверсии дополнения или зависимого подлежащего тем, что детерминированность не является обязательным признаком слова-темы и тем, что к сказуемому высказываний (II, 3) не предъявляется требований, сопутствующих инверсии дополнения или зависимого подлежащего. Хотя высказывания с участием слова-темы и могут употребляться не только по инициативе говорящего, тем не менее трудно в общем виде сформулировать соответствующий им вопрос. В известной мере это объясняется тем, что слово-тема может обозначать предмет, *никак не связанный с действием, выраженным сказуемым:* Cái ảnh cậu mới gửi sang, sao tôi trông gầy thế? (Nguyễn Công Hoan) «Снимок, который ты прислал — почему я выгляжу такой худой?».

Относительно коммуникативного типа (III) в целом можно сказать, что непременным условием реализации любой из его разновидностей является детерминированность ситуации. Это вполне понятно, ибо уточнять в каком-то отношении можно только ситуацию известную. Если, например, известно, что Фан Бой Тяу писал литературные произведения, то эту детерминированную ситуацию можно конкретизировать различными способами: Phan Bội Châu đã viết rất nhiều. Viết văn chữ Hán. Viết văn tiếng Việt. Viết đủ thể văn. Viết từ ngày thanh niên, còn ở trong nước. Viết trong khi bôn tẩu ở nước ngoài ((Đặng Thai Mai) «Фан Бой Тяу писал много. Писал произведения на китайском языке. Писал по-вьетнамски. Писал в разных жанрах. Писал с юных лет, когда еще жил на родине. Писал во время заграничных скитаний».

Высказывания (III) возможны при любом глаголе-сказуемом, однако, как уже говорилось выше, они не характерны для бытийных глаголов. Именно потому, что бытийные высказывания описывают, как правило, недетерминированную ситуацию, разного рода обстоятельства в позиции «справа» не обретают в составе этих высказываний статуса «нового». Так, в нижеследующем примере мы имеем нерасчлененное высказывание (I, 2): Có tiếng chó cắn ở ngoài ngõ (Nguyễn Công Hoan) «Раздался лай в переулке».

Коммуникативный тип (III) может оказаться реализованным в бытийной конструкции, если, например, контекст выявляет бытийную ситуацию еще до ее упоминания: (Несколько человек беседуют в комнате, снаружи слышатся шаги, резко распахивается дверь. Этим контекстом задана ситуация появления, и вопрос теперь лишь в том, кто именно появился) Giữa khung cửa mở rộng, hiện ra trước mắt họ là Trần Lệ Xuân mặt mày hớt hải (Đặng Thanh) «В широко раскрытых дверях появилась Чэн Ле Суан с испуганным лицом».

Коммуникативный тип (III, 1) реализуется при детерминированном подлежащем (для дополнения это требование несущественно). При объективном порядке слов эти высказывания соответствуют вопросу типа đọc sách (nhiều nhất) là ai? «Кто же именно читает (больше всех)?»: Ngồi bên cạnh tôi là một anh cán bộ địa chất trẻ tuổi (Hoàng Tiến) «Рядом со мной сидел молодой геолог».

При субъективном порядке слов высказывания (III, 1) употребляются в эмоциональной речи и только по инициативе говорящего: «— Tôi? Tôi phụ cô?» (Vũ Trọng Phụng) «Я? Я обманул тебя?»

Условия реализации высказываний (III, 2) аналогичны только что рассмотренным, с той, конечно, разницей, что требуется детерминирован-

ность дополнения (детерминированность подлежащего значения не имеет) и высказывание при объективном порядке слов соответствует вопросу типа anh đọc (là) gì? «Что же именно ты читаешь?».

Коммуникативный тип (III, 3) отличается от двух предшествующих только тем, что относительно обстоятельства не возникает вопроса о детерминированности. В остальном все обстоит аналогично уже рассмотренным разновидностям высказываний (III): объективный порядок слов соответствует вопросу о том или ином обстоятельстве, субъективный — эмоциональной речи по инициативе говорящего: Côn-đảo thấy niềm vui của con người như thế nào là trong những ngày ấy (Nguyễn Đức Thuận) «Пуло-Кондор увидел, что такое человеческая радость — именно в эти дни»; Bảy năm liền là chiến sĩ thi đua trồng /.../ (Hoàng Tuấn Nhã) «И вот целых семь лет бойцы соревновались в посадке деревьев».

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ХУШЕНОВА С. В.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Изучение фразеологии таджикского языка началось сравнительно недавно. До начала 60-х годов, когда таджикская фразеология еще не составляла самостоятельной научной дисциплины в таджикском языкознании, первые отрывочные сведения и отдельные теоретические заметки об устойчивых оборотах встречаются в некоторых трудах по грамматике и стилистике, принадлежащих перу таких известных таджикских ученых, как акад. А. Мирзоев, Н. Масуми, Ш. Ниязи, Д. Таджиев. И по сей день не утратили своего значения заметки А. Мирзоева об употреблении народных устойчивых оборотов в произведениях представителей литературы классического периода Камолиддина Бинои (XV—XVI вв.) и Сайидо Насафи (XVII в.) [1].

Н. Масуми, определяя художественно-стилистические функции фразеологизмов в произведениях С. Айни, обратил внимание на один из наиболее показательных структурно-грамматических разрядов устойчивых оборотов — глагольные фразеологические единицы [2].

В грамматических исследованиях Д. Таджиева — по синтаксису (атрибутивные словосочетания) и Ш. Ниязи — по морфологии (именные части речи) впервые были отграничены от синтаксических словосочетаний сложные устойчивые словесные комплексы и подмечены семантико-грамматические особенности, функционально сближающие их со словом [3].

Таджикские лексикографы, создавая в этот период таджикско-русские словари [4], регистрировали достаточное количество фразеологизмов, используя особые лексикографические приемы.

Специальному изучению таджикские фразеологические единицы подверглись в начале 60-х годов, когда вышел «Фразеологический словарь современного таджикского языка» М. Фазылова [5] и были опубликованы

---

[1] А. Мирзоев, Сайидо ва мақоми ӯ дар таъриҳи адабиёти тоҷик, Сталинобод, 1947, стр. 115—120; его же, Биной, Сталинобод, 1957, стр. 115.

[2] Н. Масуми, Язык повести С. Айни «Смерть ростовщика» (К вопросу о развитии языка современной художественной прозы). АКД, Сталинабад, 1954, стр. 13—14; его же, Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик, Сталинобод, 1959, стр. 145—159.

[3] Д. Т. Таджиев, Слово *об* «вода» в современном таджикском языке, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», I, М., 1952; его же, Способы связи определения с определяемым в современном таджикском литературном языке, Сталинабад, 1955, стр. 28—30, 37; Ш. Н. Ниязӣ, Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ, «Очеркҳо оид ба грамматикаи забони тоҷикӣ», 7, Сталинобод, 1954, стр. 15, 24—30, 42—48.

[4] «Таджикско-русский словарь», под ред. М. В. Рахими и Л. В. Успенской, М., 1954; «Краткий таджикско-русский словарь», М., 1955.

[5] Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (фарҳанги фразеологӣ), тартибдиҳанда М. Фозилов, таҳрири Р. Ҳошим, 1, Душанбе, 1963; 2, Душанбе, 1964.

статьи Р. Гаффарова, посвященные анализу особенностей таджикских фразеологических единиц [6]. Именно эти работы сыграли большую роль в развитии теории и практики таджикской фразеологии и положили начало собственно фразеологическим исследованиям по таджикскому языку. Во фразеологическом словаре М. Фазылова, представляющем собой первый толковый словарь подобного типа в нашей стране [7], впервые на материале таджикского языка произведено фиксирование фонда устойчивых оборотов [8]. Задачи лексикографической интерпретации таджикских фразеологизмов выдвинули ряд проблем, не решенных теоретически не только для таджикского языка: природа фразеологической единицы, ее определяющие свойства и критерии отличия от смежных явлений лексики, синтаксиса и морфологии, выявление структурных разновидностей, синонимия и вариантность, многозначность, функционирование в речи, историческая преемственность в сфере фразеологии и др. Словарь, таким образом, пробудив интерес исследователей к дальнейшему собиранию таджикских фразеологизмов и определению их состава в языке, стимулировал теоретические исследования по фразеологии и сам явился для них одним из важных источников.

Теоретические статьи Р. Гаффарова «Фразеологические обороты в таджикском языке» и «Существенные признаки фразеологических оборотов» посвящены рассмотрению одного из наиболее существенных явлений фразеологизации — семантической спаянности составных частей фразеологизма в результате их переосмысления, в чем прежде всего и состоит основное значение этих статей, затрагивающих актуальный вопрос, связанный с понятием фразеологической устойчивости. Иными словами, в статьях Р. Гаффарова впервые для таджикского языка была предложена так называемая семантическая классификация фразеологизмов, получившая дальнейшее более конкретное выражение в специальном фразеологическом разделе его монографии о языке и стиле Р. Джалила [9]. Р. Гаффаровым выделены три семантические группы таджикских фразеологизмов по аналогии с русскими фразеологическими сращениями, единствами, сочетаниями: а) «слитные обороты», компоненты в которых утратили самостоятельное значение (*дил бардоштан* «подбадривать», букв. «поднимать сердце»); б) «связанные», или «метафорические обороты», отличительным свойством которых признается образность (*мижа таҳ накардан* «бодрствовать», букв. «ресниц не смыкать»); в) третья группа (без названия) состоит из оборотов, в которых метафоризации подвержен один компонент (*устои гулдаст* «мастер — золотые руки», *гулдаст* — букв. «цветок-рука»). Несмотря на недостаточность одного критерия метафоричности, принятого исследователем (в классификации не нашлось места для фразеологизмов, возникших при иных семантических сдвигах), эта первая семантическая классификация таджикских фразеологических единиц так и остается наиболее приемлемой из тех, что основываются на предложенной В. В. Виноградовым группировке фразеологизмов.

---

[6] Р. Гаффоров, Ибораҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ, «Маориф ва маданият», 19 III 1963; его же, Хусусиятҳои муҳимми ибораҳои фразеологӣ, там же, 17 VII 1963.

[7] В частности, несколько позже увидел свет специальный словарь русских фразеологизмов. См.: «Фразеологический словарь русского языка», под ред. А. И. Молоткова, М., 1967.

[8] Оценка словаря дана в многочисленных рецензиях; см. об этом в кн.: С. В. Хушенова, Библиографический указатель литературы по таджикской фразеологии (с приложением библиографии по фразеологии памирских языков), Душанбе, 1977, №№ 108, 110, 112—114, 117—120, 123, 124 (далее: «Библиографический указатель...»).

[9] Р. Гаффоров, Забон ва услуби Раҳим Ҷалил (дар асоси материали романи «Одамони ҷовид»), Душанбе, 1966, стр. 67—87.

Дальнейшее изучение таджикской фразеологии в 60-х годах шло по двум основным направлениям: началось исследование отдельных структурных разновидностей таджикских фразеологических единиц и продолжалось изучение художественно-стилистических свойств фразеологизмов в составе арсенала изобразительных средств языка произведений советских таджикских писателей. Главным образом в рамках названных направлений разрабатывались многие специфические проблемы новой научной дисциплины и все больше определялся фразеологический состав таджикского языка.

Первое направление представлено собственно фразеологическими исследованиями. Начавшееся изучение фразеологических свойств таджикских устойчивых оборотов основывалось на конкретном и подробном анализе больших групп фразеологизмов определенной структуры, характерной для данного языка. Это давало сравнительно ясную картину тех глубинных процессов в языке, которые ведут к возникновению и становлению таджикских фразеологических единиц — особых образований, по ряду признаков сходных со словом, синтаксическим словосочетанием и свободным предложением, но в то же время принципиально отличающихся от них.

Наибольшее внимание в этот период было уделено изучению характерных для таджикского языка структурных типов устойчивых словосочетаний: 1) и з а ф е т н ы м фразеологизмам — одному из наиболее древних и до настоящего времени продуктивных структурных типов таджикских и м е н н ы х фразеологизмов, в основе которых лежит универсальная атрибутивная синтаксическая конструкция — изафетная, уходящая своими корнями в эпоху древне- и среднеиранских языков; 2) г л а г о л ь н ы м фразеологизмам — чрезвычайно многочисленному продуктивному типу таджикских устойчивых оборотов, обладающему особой экспрессивно-выразительной насыщенностью и богатому структурными разновидностями, в основе которых лежат многообразные модели синтаксических глагольных словосочетаний.

Совокупность определяющих свойств фразеологизма как особой единицы языка — воспроизводимость в готовом виде, устойчивость структуры и компонентного состава, разной степени утрата значений и грамматических свойств компонентов, целостность значения — анализируется в работах на материале изафетных комплексов [10], в них делается попытка найти относительно надежные критерии отграничения фразеологизма от сложного слова и свободного словосочетания и прослеживаются грамматические свойства изафетных фразеологических оборотов, которые зависят от особенностей семантики и структуры последних и, таким образом, обнаруживают функциональную соотнесенность их с определенными грамматическими категориями частей речи, свойственными таджикскому языку.

По глагольной фразеологии в 60-е годы выходит несколько специальных статей Х. Маджидова, наибольший интерес из которых представляют статьи о лексическом составе глагольных фразеологизмов современного таджикского языка, о путях их становления и дальнейшего развития, об их отличительных признаках [11]. В статьях преимущественно на материале

[10] Имеются в виду статьи автора данного обзора, публиковавшиеся с 1964 г. (см. «Библиографический указатель...», №№ 55—59), основные положения которых впоследствии уточнялись и отражены в его монографии «Изафетные фразеологические единицы таджикского языка» (Душанбе, 1971).

[11] Х. М а д ж и д о в, Некоторые вопросы фразеологии современного таджикского языка, «Сб. работ аспирантов», 4 (Серия филол. наук), Душанбе, 1966; е г о ж е, Ибораҳои фразеологии феъли, «Мактаби совети», 1967, 10; е г о ж е, Аломатҳои фарқкунандаи воҳидҳои фразеологии забони тоҷики, «Масъалаҳои забони тоҷики», Душанбе, 1967; см. также «Библиографический указатель...», №№ 27, 30.

таджикских фразеологических глаголов фразеологизм, основными признаками которого признаются устойчивость структуры, цельность значения, воспроизводимость, отграничивается от свободного (глагольного) словосочетания. Автор статей, правда, некоторые фразеологизмы-предложения с глагольным компонентом передавал в форме инфинитива (*димоғ сӯхтан* вместо *димоғаш сӯхт* «расстроился», букв. «нос (его) сгорел»)[12], хотя теоретически он уже признавал наличие фразеологизмов со структурой предложения [13]. В специальных исследованиях по глагольным фразеологизмам должны быть определены их структурно-функциональные особенности, не позволяющие смешивать с ними фразеологизмы-предложения.

Проблема семантической спаянности таджикских фразеологических единиц продолжает в этот период привлекать внимание ученых. Вопросу семантической классификации фразеологизмов был посвящен доклад Х. Маджидова [14]. Следуя схеме В. В. Виноградова и принимая терминологию последнего (фразеологические сращения, единства, сочетания), он выделил среди таджикских фразеологизмов еще и четвертую группу так называемых «фразеологических выражений», предложенную Н. М. Шанским [15].

Однако неудобство применения к фразеологическому материалу таджикского языка критериев семантической классификации, разработанных с учетом особенностей фразеологизмов русского языка, заставляло исследователей искать иной путь решения вопроса о семантической структуре таджикских фразеологизмов. Более пригодным для этой цели нам представляется метод компонентного анализа, используемый применительно к таджикским изафетным фразеологическим единицам и состоящий в соотношении целостного значения фразеологизма с исходными значениями его компонентов[16]. По убывающей степени семантической слитности компонентов в зависимости от мотивированности/немотивированности общего значения единицы значениями ее частей выделены три группы фразеологизмов по семантической структуре: немотивированные (*ноомади кор* «неудача»), частично мотивированные (*замини маст* «плодородная почва») и мотивированные неидиоматические фразеологизмы (*рӯзи меҷнат* «трудодень»).

Результаты проведенных исследований изафетных и глагольных фразеологических оборотов составили содержание первых двух диссертаций, защищенных на собственно фразеологическом материале современного таджикского языка [17]. В диссертациях уточняются отдельные положения о фразеологических свойствах и семантической классификации

---

[12] Х. Маджидов, Некоторые вопросы фразеологии..., стр. 88, 89.

[13] Ҳ. Маҷидов, Баъзе роҳҳои ташаккули воҳидҳои фразеологӣ дар забони ҳозираи тоҷик, «V Межвузовская научн. конф. по иранской филологии. Тезисы докладов», Душанбе, 1966, стр. 177.

[14] Х. Маджидов, К вопросу о классификации фразеологических единиц современного таджикского языка, «IV Всесоюзная научн. конф. по иранской филологии. Тезисы докладов», Ташкент, 1964, стр. 19—20.

[15] Н. М. Шанский, Фразеология современного русского языка, М., 1963, стр. 44—45.

[16] С. В. Хушенова, К вопросу об изафетных фразеологических единицах (на материале таджикского языка в сопоставлении с персидским), «Конф. аспирантов и молодых научн. работников (23—25 июня 1964). Тезисы докладов ИНА АН СССР», М., 1964, стр. 120—121.

[17] С. В. Хушенова, Изафетные фразеологические единицы таджикского языка. АКД, М., 1966; Х. Маджидов, Лексико-семантические особенности глагольных фразеологических единиц современного таджикского литературного языка. АКД, Душанбе, 1968.

устойчивых оборотов, о терминологических фразеологизмах, о синонимии и вариантности на материале именных изафетных единиц; серьезное внимание при исследовании глагольной фразеологии уделяется разработке специальной терминологии на таджикском языке.

Из прочих структурных типов таджикских фразеологизмов в этот период рассматривались лишь «тавтологические повторы» (изафетные, предложные обороты) в статье Х. Джалилова, предназначенной в помощь учителю [18], где говорилось об их морфологическом составе и некоторых синтаксических функциях. Следует, однако, заметить, что природа таджикских повторов неоднородна. Автор же причислил к разряду фразеологических биномов некоторые редупликации, не обладающие свойствами фразеологизма: слова-повторы (*ҳазор-ҳазор* «тысячами») и свободные словосочетания (*колхоз ба колхоз* «по колхозам»), в том числе особые удвоения как стилистический прием усиления (*камбағалтарини камбағалон* «беднейший из бедняков»).

В 60-е годы плодотворно шло изучение таджикской фразеологии в рамках другого направления. Давней традиционной теме — стилистическим функциям фразеологических единиц — были посвящены многие работы, диссертации по языку и стилю произведений таджикских советских писателей. Кроме упоминавшейся монографии Р. Гаффарова и специального раздела его диссертации о языке и стиле Р. Джалила [19], интересны работы о фразеологизмах в произведениях Д. Икрами (И. Хасанов[20]), С. Айни (М. Юсупова [21]), Х. Карима (Б. Камолиддинов [22]). В этих исследованиях стилистические функции фразеологизмов рассматриваются не только как одно из средств характеристики того или иного персонажа, но и как показатель высокой художественности авторской речи писателя, народности языка его произведений. Исследователи отмечают, что наряду с обычным употреблением бытующих в языке фразеологических оборотов в их привычном значении и с устоявшимся компонентным составом, писатели пользовались особыми стилистическими приемами структурно-семантической перестройки известных фразеологизмов. Созданные таким образом на основе веками шлифованных фразеологизмов совершенно новые, свежие обороты — плод индивидуального творчества писателя — усиливают выразительность языка произведения и его идейно-художественную ценность (см., например, новообразование *ҷон додану ҷон гирифтан* «стоять насмерть» из распространенных выражений *ҷон додан* «погибать» и *ҷон гирифтан* «оживать» [23]). Некоторые из подобных неологизмов способны при определенных условиях пополнить фразеологический фонд таджикского языка. Анализ фразеологизмов как одного из ярких языковых средств характеристики героев прозы занимает значительное место и в некоторых литературоведческих работах 60-х годов, посвященных творчеству С. Айни. Наибольший интерес в этом отношении

---

[18] Ҳ. Ҷ а л и л о в, Ибораҳои тавтологӣ дар забони тоҷики, «Мактаби советӣ», 1964, 10.

[19] Р. Г а ф ф а р о в, Язык и стиль Рахима Джалила (на материале романа «Пулат и Гульру»). АКД, Самарканд, 1964, стр. 13—17.

[20] И. Ҳ а с а н о в, Воҳидҳои фразеологӣ дар романи «Духтари оташ», «Маориф ва маданият», 1 X 1964; е г о ж е, Лексика и фразеология романа Джалола Икрами «Духтари оташ». АКД, Пенджикент, 1966; см. также: «Библиографический указатель...», №№ 82, 83.

[21] М. Ю с у ф о в а, Синонимикаи фразеологизмҳо (дар асоси материали асарҳои С. Айнӣ), «Армуғони олимони ҷавон», Душанбе, 1966.

[22] Б. К а м о л и д д и н о в, Забон ва услуби Ҳаким Карим, Душанбе, 1967, стр. 58—68.

[23] Б. К а м о л и д д и н о в, указ. соч., стр. 63, 67.

представляют монографии М. Шукурова об идейно-художественных особенностях «Воспоминаний»[24] и А. Сайфуллаева — о романе «Дохунда»[25].

В работах, раскрывающих богатые стилистические возможности таджикских фразеологизмов, ставятся и частично решаются и некоторые другие вопросы теории фразеологии. Б. Камолиддинов, в частности, на материале языка произведений Х. Карима определяет источники пополнения фразеологического фонда литературного языка: живой разговорный язык таджиков, обороты литературно-книжного стиля и заимствования или кальки[26].

Приходится отметить, что в исследованиях допускаются все же неточности в определении значения и формы некоторых фразеологических единиц, особенно с глагольным компонентом, что несомненно связано с недостаточной изученностью их структурной организации.

Исследования по таджикской фразеологии, проведенные в 60-е годы, подготовили почву для более широкого развертывания работ в этой области таджикского языкознания в последующий период.

70-е годы характеризуются не только продолжением исследования структурно-грамматических, семантических, стилистических свойств таджикских фразеологизмов, их лексикографического описания, но и проведением специальных исследований еще в трех направлениях: изучается фразеология современных таджикских диалектов, исследуются фразеологические единицы в плане диахронии, проводится сопоставление таджикских фразеологизмов с фразеологизмами других языков. В отдельных работах эти аспекты совмещаются.

Изучение характерных свойств отдельных структурных типов таджикских фразеологизмов остается одной из главных задач исследователей. Началось монографическое описание структурных групп. Такому описанию (в синхронном плане) подверглись пока только изафетные фразеологизмы, приведенные в определенную систему в соответствии с их внутренней структурной организацией и компонентным составом, функционально-грамматическими особенностями и степенью семантической слитности. Ряд структурно-функциональных особенностей изафетных оборотов все же остается еще не выясненным.

Из других структурных разновидностей анализировались таджикские фразеологические повторы, в частности, А. Ахмеджанов выявляет некоторые общие признаки так называемых «биномальных конструкций» в таджикском, узбекском и английском языках[27]. В плане сопоставления с аналогичными конструкциями английского языка описывает сравнительные обороты Э. Бабаев[28]. Х. Талбакова рассматривает некоторые предложные фразеологизмы[29].

---

[24] М. Шукуров, Хусусиятҳои ғоявии бадеии «Ёддоштҳо»-и устод Садриддин Айнӣ, Душанбе, 1966, стр. 227—234.

[25] А. Сайфуллоев, Романи устод Садриддин Айнӣ «Дохунда», Душанбе, 1966, стр. 129—138.

[26] Б. Камолиддинов, указ. соч., стр. 60—63.

[27] А. Ахмеджанов, К семантическим связям компонентов биномальных структур (на материале таджикского, узбекского и английского языков), «Труды [СамГУ им. А. Навои]», Новая серия, 246 (Вопросы семантики индоевропейских языков), Самарканд, 1973; «Библиографический указатель...», №№ 3—8, 147; см. также диссертацию М. Шукуровой «Повторы в таджикском языке» (АКД, Душанбе, 1978), где, к сожалению, фразеологизмы не выделены в специальный раздел или параграф.

[28] Э. Бабаев, Оценочное значение образных сравнительных оборотов в современном английском и таджикском языках, в кн.: «Исследования по лексикологии и фразеологии», М., 1976.

[29] Ҳ. Талбакова, Фразеологизмҳои пешояндҳо дар «Маъвои дил»-и Р. Ҷалил, в кн.: «Мақолаҳои доир ба забон ва адабиёти тоҷик», Душанбе, 1974.

Статьи Х. Маджидова «Фразеологические предложения» и «Группы глаголов таджикского языка»[30] посвящены таджикским устойчивым оборотам с глагольным компонентом и вносят определенную ясность в сложный и важный вопрос о разграничении таких двух различных по строению и функциям типов устойчивых словесных комплексов, как глагольные фразеологизмы, с одной стороны, и фразеологизмы-предложения,— с другой, которые многими все еще смешиваются. Отметим, что существующая пока неупорядоченность фразеологической терминологии на таджикском языке затрудняет решение теоретических и практических вопросов изучения таджикской фразеологии.

В некоторых работах этого периода рассматривается сложный вопрос о соотношении фразеологизмов и составных терминов [31].

Практика преподавания родного языка в школе и вузе потребовала уделить больше внимания грамматическим особенностям таджикских фразеологических единиц. Их синтаксическим функциям посвящены некоторые статьи, диссертация и методическое пособие [32]. Интерес к этому вопросу и создание методических пособий заслуживают одобрения, тем более что изучение грамматических свойств устойчивых оборотов важно не только для выработки рекомендаций по преподаванию. Однако рассмотрение синтаксических функций фразеологизма в отрыве от всего комплекса их грамматических свойств, которые соотносительны со свойствами той или иной категории частей речи и зависят от конкретного структурного типа оборотов, их морфологического состава, привело к неточностям в отдельных методических пособиях [33].

В публикациях Б. Тахохова [34] содержатся полезные методические указания для эффективного усвоения русских фразеологизмов учащимися-таджиками. Рекомендуя учитывать при обучении русскому языку особенности родного языка учащихся, автор дает анализ таджикских фразеологизмов, подлежащих использованию в качестве эквивалентов русских оборотов. К учебному пособию для студентов он прилагает краткий русско-таджикский фразеологический словарь [35]. В связи с возросшими за последнее время требованиями к преподаванию русского языка в учебных заведениях республики ощущается потребность в работах подобного рода.

---

[30] Ҳ. Маҷидов, Ҷумлаҳои фразеологӣ, «Мактаби советӣ», 1978, 5; его же, Гурӯҳҳои феъли забони тоҷикӣ, «Маориф ва маданият», 4 IV 1978.

[31] С. В. Хушенова, О соотношении фразеологических и терминологических единиц, в кн.: «Восточная филология. Характерологические исследования», М., 1971; Н. Ш. Абдуллаев, Формирование таджикской астрономической терминологии и космонимии. АКД, Душанбе, 1978, стр. 18—20; Х. Н. Мухаммадиева, Профессиональная и бытовая лексика кулинарного искусства в таджикском языке. АКД, Душанбе, 1979, стр. 14—18.

[32] С. Иззатмуродова, Ифодаи мубтадо бо ибораҳои фразеологӣ ва синонимӣ, «Мактаби советӣ», 1970, 5; С. Сабзаев, Дар бораи як вазифаи синтаксисии ибораҳои фразеологӣ, «Мактаби советӣ», 1975, 4; Х. Джалилов, Структурно-семантические особенности и синтаксические функции фразеологических единиц в современном таджикском литературном языке. АКД, Душанбе, 1976; Т. Мақсудов, Ф. Зикриёев, Ҳ. Ҷалилов, Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо (ба ёрии студентони мактабҳои олӣ), Душанбе, 1976, см. также: «Библиографический указатель...», №№ 24, 133.

[33] Например, в указ. пособии для студентов вузов (1976) нечетко определены функции субстантивных оборотов типа *Рустами достон* «богатырь» (см. табл. на стр. 27) и глагольных фразеологизмов (стр. 43). См. также: С. Мирзоев, Ҳ. Рауфов, Тадқиқоти таҳрирталаб, «Садои Шарқ», 1968, 6.

[34] Б. Тахохов, Изучение фразеологических единиц русского языка в таджикских группах вузов (учебное пособие для студентов), Душанбе, 1974; см. также: «Библиографический указатель...», №№ 38, 143, 232—236.

[35] Б. Тахохов, Русско-таджикский фразеологический словарь, в его кн.: «Изучение фразеологических единиц...,» стр. 43—107.

Продолжается традиция изучения фразеологизмов в плане стилистики. Защищаются диссертации — по фразеологии одного из романов С. Айни (М. Юсупова), по лексике и фразеологии одной из повестей Р. Джалила (Х. Талбакова) [36]. И. Хасанов издает работу по лексике и фразеологии, используя главным образом материал романа «Духтари оташ» Д. Икрами [37], особенно привлекает исследователей идиоматика произведений С. Айни [38]. Вопросы фразеологии затрагиваются и в книге Р. Гаффарова «Писатель и язык», в которой рассматриваются проблемы лингвостилистики, народности языка и теории перевода [39]. Кроме того, стилистическим функциям фразеологизмов отведено место в практикуме для студентов по стилистике [40].

Характерен также возросший в последнее время интерес к изучению фразеологического состава языка произведений классического периода. Так, в исследованиях Р. Игамбердиева [41] на материале «Удивительных событий» Восифи (мемуарное сочинение, написанное языком, близким к народно-разговорной речи таджиков) рассматривается совокупность актуальных проблем современной фразеологии; структурно-функциональные, семантические и художественно-стилистические особенности фразеологизмов языка рубежа XV—XVI вв. Интерес представляют наблюдения А. Сангинова над фразеологизмами в словаре «Баҳори Аҷам» (XVIII в.) [42], Р. Набиевой — в произведении Соми (XIX—XX вв.) [43] и отдельные замечания Н. Масуми о языке А. Дониша [44].

В 70-е годы шире стали проводиться специальные фразеологические исследования по материалам современных таджикских говоров, преимущественно северных. Кроме описанных ранее устойчивых оборотов в говорах Ленинабада [45], изучаются также исфаринские (Т. Максудов [46]) и в говорах таджиков Самарканда (П. Холов [47]). Примечательно, что в рамках этого направления продолжается традиция лексикографического описания таджикских фразеологизмов: издан первый диалектный сло-

---

[36] М. Юсупова, Фразеология романа «Дохунда» С. Айни. АКД, Душанбе, 1971; Х. Талбакова, Лексические и фразеологические особенности повести Рахима Джалила «Маъвои дил». АКД, Душанбе, 1978.

[37] И. Ҳасанов, Лексика ва фразеология. Душанбе, 1974.

[38] Р. Саидов, Ду хели ибораҳои фразеологии феъли дар «Ғуломон», в кн.: «Ҷашниномаи Айнӣ», V, Душанбе, 1978; Р. Саидов, Б. Нозимов, Оид ба баъзе ибораҳои фразеологии «Дохунда», в кн.: «Масъалаҳои забони тоҷикӣ (Маҷмӯаи илмӣ), Душанбе, 1978; «Библиографический указатель...», № 136.

[39] Р. Ғаффоров, Нависанда ва забон, Душанбе, 1977, стр. 25—26, 75—77, 92—116, 164—167, 170—177, 194—196.

[40] Б. Камолиддинов, Услубшиносӣ (Маҷмӯаи машқҳо). Васоити дарсӣ барои студентони факультети филологияи университет ва институтҳои педагогӣ, Душанбе, 1973, стр. 50—52.

[41] Р. Игамбердиев, Художественно-стилистическая роль фразеологизмов в «Бадаи-ал-вакаи» Зайниддина Восифи. АКД, Душанбе, 1975; его же, Вазифаи услубии воҳидҳои фразеологӣ (Дар асоси воҳидҳои фразеологии «Бадоеъ-ул-вақоеъ»), в кн.: «Масъалаҳои филология ва робитаи адаби». Серияи нав, 318, Самарканд, 1977; см. также: «Библиографический указатель...», №№ 64—75.

[42] А. Сангинов. Ибораҳои фразеологӣ дар фарҳанги «Баҳори Аҷам», «Изв. АН Тадж. ССР. Отд. обществ. наук», 1973, 1 (71).

[43] Р. Набиева, Воҳидҳои фразеологӣ дар «Таъриҳи салотини манғития»-и Сомӣ, там же.

[44] Н. Маъсумӣ, Забон ва услуби Аҳмади Дониш, Душанбе, 1976, стр. 9—11, 14—15, 55—59, 68—72.

[45] А. Турсунов, Ибораҳои устувор дар лаҳҷаи Ленинобод, «Мақолаҳои забоншиносии тоҷик. Ахбороти илмии ИДПЛ ба номи С. М. Киров», 1968.

[46] Т. Мақсудов, Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикии Исфара, Душанбе, 1977; «Библиографический указатель...», № 102.

[47] П. Холов, Структурно-семантические особенности фразеологических синонимов говора таджиков Самарканда, «Изв. АН Тадж. ССР. Отд. обществ. наук», 1976, 1 (83); см. также: «Библиографический указатель...», №№ 46—52, 54.

варь уратюбинских народных оборотов речи, составленный Р. Абдуллозода [48]. Исследования по диалектной фразеологии — важная сторона в развитии современной фразеологической науки.

Еще один аспект изучения таджикских фразеологических единиц — их сопоставление с другими языками — получил более широкое освещение именно в последний период по сравнению с 60-ми годами [49]. В работах общего и частного характера делаются попытки провести параллели, выявить сходные и несходные черты между фразеологизмами таджикского и других иранских языков (персидского, курдского — из западноиранских языков, бесписьменных памирских — из восточноиранских [50]). Из сопоставляемых языков других семей в первую очередь следует назвать русский, узбекский, английский [51]. Данное направление представляется весьма перспективным.

В этот же период отдельным изданием выходит упомянутый выше «Библиографический указатель литературы по таджикской фразеологии» — систематизированный справочник для специалистов, охватывающий работы, опубликованные до середины 1977 г.

Современное состояние изучения таджикской фразеологии бесспорно свидетельствует о значительных достижениях советских ученых в этой области иранского языкознания. Вместе с тем критический обзор фразеологических работ обнаружил некоторую бессистемность при выборе тематики исследований; преимущественное изучение современного состояния отдельных структурных типов таджикских фразеологических единиц по сравнению с изучением их истории; недостаточное внимание к монографическим описаниям фразеологизмов, позволяющим решать ведущие, проблемные вопросы теории фразеологии; отсутствие должной координации и все еще недостаточное использование отдельными авторами результатов исследований по фразеологии (в том числе иранских языков).

Главная задача фразеологов на сегодняшний день: выявить все структурные типы и разновидности фразеологизмов таджикского языка; изучить особенности каждого из них: структурно-семантические, функ-

---

[48] Ибораҳои халқӣ (дар асоси материали лаҳҷаи Ӯротеппа), ҷамъоваранда ва тартибдиҳанда Р. Абдуллозода, Душанбе, 1974. Подробнее об этом словаре см.: С. В. Ушенова, Тысяча семьсот уратюбинских оборотов речи, «Изв. АН Тадж.ССР. Отд. обществ. наук», 1977, 4 (90).

[49] Кроме ранее упомянутых работ, см. также: Х. Икрамова, К взаимодействию лексики и фразеологии в русском и таджикском языках, в кн.: «Актуальные вопросы фразеологии», Самарканд, 1968; см. также: «Библиографический указатель...», № 18.

[50] См., например: М. Фазылов, Персидско-таджикские литературные пословицы и поговорки (материалы и исследования). АДД, Душанбе, 1976; Ю. А. Рубинчик, Фразеология иранских языков: состояние и проблемы изучения, «Труды [СамГУ им. А. Навои]», Новая серия, 227 (Вопросы фразеологии, 7), Самарканд, 1976; Ю. Ю. Авалиани, Сравнительно-типологическая валентность и сочетаемость в иранских языках (на материале фразеологии), в кн.: «Тезисы докладов I Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему „Теоретические проблемы восточного языкознания“», 1, М., 1977; С. В. Ушенова, О некоторых общих и специфических особенностях фразеологизмов западноиранских и восточноиранских языков (на персидско-таджикском и памирском языковом материале), там же, 2, М., 1977; см. также: «Библиографический указатель...», № 139, 140, 257; А. Каримова, Ибораҳои фразеологии забони рӯшонӣ дар муқоиса бо тоҷикӣ, в кн.: «Забоншиносии тоҷик», Душанбе, 1977.

[51] Кроме упомянутых работ А. Ахмеджанова, Б. Тахохова, см. также: Х. Турсунова, Сопоставительный анализ фразеологических параллелей таджикского и узбекского языков (на материале романа С. Айни «Ғуломон» — «Қуллар»). АКД, Душанбе, 1979; ее же, Тадқиқи муқоисавии фразеологизмҳои параллели забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ (дар асоси асари С. Айнӣ «Ғуломон» — «Қуллар»), Душанбе, 1979; «Библиографический указатель...», №№ 41—43.

ционально-грамматические (особенно в плане функционального соотношения с категориями частей речи), стилистические (в том числе в аспекте теории художественного перевода); для разграничения разных типов определить признаки, не допускающие их смешения, раскрыть механизм взаимодействия структурных типов устойчивых словесных комплексов (фразеологизмов).

На основе анализа структурных типов каждого в отдельности и всех в совокупности следует обнаружить признаки, дифференцирующие определенным образом организованные устойчивые словесные комплексы, слова и свободные словосочетания и предложения.

Не снимается с повестки дня и требует особого внимания один из центральных вопросов теории фразеологии — семантическая структура таджикских фразеологических единиц, освещение которого во многих работах страдает схематизмом и субъективизмом.

Для теории и практики таджикской фразеологии по-прежнему актуальным является исследование лексико-грамматического состава компонентов устойчивых единиц и решение проблемы варианта и инварианта, а также определение синонимических, антонимических отношений фразеологизмов с различным или похожим компонентным составом и разграничение явлений многозначности и омонимии.

Наряду с изучением фразеологии современного литературного таджикского языка предстоит активизировать исследования по исторической и диалектной фразеологии. При этом одной из главных задач является упорядочение на основе научного анализа фразеологической терминологии на таджикском языке, неразработанность которой особенно пагубно влияет на составление методических и практических пособий.

Одной из задач таджикских фразеологов является проведение целенаправленных сравнительно-типологических исследований. Для общей теории фразеологии весьма важным представляется сопоставление таджикской фразеологической системы с системами иных, родственных и неродственных, языков, например, иранских, тюркских, славянских, западноевропейских. Большую ценность будет иметь дальнейшее развитие лексикографической теории и практики в области фразеологии. В будущем целесообразно работать над фразеологическими словарями разного типа, объема и назначения — современными и историческими, литературного языка и диалектов, толковыми, двуязычными (особенно таджикско-русскими и русско-таджикскими) и многоязычными.

Для дальнейших систематических исследований и успешной лексикографической работы в области фразеологии желательно создание единого картотечного фонда фразеологизмов таджикского языка с организационным центром в Институте языка и литературы АН ТаджССР.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

РЕЦЕНЗИИ

***J. Petr.* Klasikové marxismu-leninismu o jazyce.**
Úvodní studie a výběr textů z Marxova, Engelsova a Leninova díla.— Praha, Nakladatelství «Svoboda», 1977. 369 стр.

Учение основоположников научного коммунизма К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина составляет методологическую и теоретическую основу любой отрасли научного знания. Это в полной мере относится и к языкознанию, объект которого — человеческий язык — непосредственно связан с взаимодействием материальных и идеальных элементов, а также с весьма многосторонними взаимоотношениями языка с мышлением, общественным сознанием и объективной действительностью. Классики марксизма-ленинизма в своих трудах и личной переписке неоднократно выступали с материалистическим истолкованием сущности языка как специфического общественного явления, высказывали свои суждения по многим проблемам общего языкознания, культуры речи и роли языковых факторов для правильного разрешения национального вопроса. Большое внимание уделяли они теоретическому и практическому изучению отдельных живых и мертвых языков, следили за развитием современного им языкознания. Хотя К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин всю жизнь интересовались проблемами языкознания, они, однако, не оставили после себя специальных языковедческих работ (кроме «Франкского диалекта» Ф. Энгельса). Их понимание философских проблем языкознания и анализ отдельных языковедческих проблем изложены в связи с более общими философскими, социологическими, экономическими и политическими проблемами. Тщательный учет и осмысление прямых высказываний основоположников марксизма-ленинизма о языке и языкознании, естественно, очень важен и не нуждается в дополнительном обосновании.

Но значение трудов классиков марксизма-ленинизма для материалистического языкознания заключается не только в их непосредственных высказываниях о языке. Для творческого развития языкознания первостепенное значение имеют марксистско-ленинская философия, материалистическое истолкование философских проблем языкознания (в частности, общего языкознания), диалектико-материалистический подход к изучению языка и его категорий. Именно они являются исходным пунктом при оценке гносеологических основ различных языковедческих школ и направлений, в особенности тех из них, которые в идеалистическом духе трактуют сущность языка и его отношение к мышлению и внеязыковой действительности. Марксистско-ленинская материалистическая онтология и гносеология дают возможность правильно истолковать такие проблемы, как связь языка и общества, языка и мышления, диалектическое единство языкового содержания и формы, общего и отдельного в языке, соотношение материальных и семантических элементов языковых явлений, проблему знаковости языка, сущность языковой абстракции и т. п. Ленинская теория познания, разработанная в «*Материализме и эмпириокритицизме*» и «Философских тетрадях», имеет первостепенное значение для разработки марксистского *языкознания*.

При всем этом нельзя отрицать важности и целесообразности издания хрестоматий и антологий, содержащих с необходимым комментарием высказывания К. Маркса, *Ф. Энгельса и В. И. Ленина* о языке и языкознании. В особенности полезны такие издания для научной молодежи, приобщающейся к исследовательской деятельности и нуждающейся в ознакомлении с теоретическими и практическими установками классиков марксизма-ленинизма в области языкознания.

В последние годы в Чехословакии большую и целеустремленную работу по изучению и систематизации лингвистической стороны деятельности К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина ведет директор

Института чешского языка АН ЧССР в Праге Я. Петр [1].

Рецензируемая книга Я. Петра «Классики марксизма-ленинизма о языке» одобрена Министерством просвещения ЧССР в качестве вузовского пособия, как это вытекает из решений семинара чехословацких языковедов-коммунистов (май 1973 г.). Книга состоит из двух частей. В первой автор в семи разделах (стр. 7—111) освещает важнейшие теоретические проблемы языкознания, которых касались классики марксизма-ленинизма, анализирует их конкретные высказывания о языке и языкознании, комментирует эти высказывания, ставя их в связь с историко-культурной ситуацией и оценивая их с позиций современного языкознания. Вторая часть книги (стр. 115—346) представляет собой антологию высказываний К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина о языке, материал которой распределен по 17 тематическим разделам. Книга завершается именным указателем (стр. 347—368).

Несомненным достоинством книги является наличие вводных глав, в которых автор на основе собственных исследований, анализа важнейших проблем современного языкознания с опорой на труды советских и чехословацких языковедов [2] в широком контексте излагает подход и конкретные оценки проблем языкознания в трудах и богатом эпистолярном наследии основоположников научного коммунизма. В этом отношении автор избежал ошибки, свойственной ряду советских хрестоматий (довоенного времени) и другим подобным изданиям [3].

Приступая к изложению концептуальной стороны учения основоположников научного коммунизма о языке, автор прежде всего указывает на историческую преемственность их учения. Классики марксизма-ленинизма оценивали философское понимание языка и его функций, выдвинутое предшествующими философами материалистического и идеалистического лагеря со времен Демокрита, Платона, Аристотеля, Гоббса, Юма и Лейбница вплоть до Канта, Гегеля и Фейербаха. Вместе с тем они преодолели границы философской трактовки языковых проблем, ибо рассматривали язык в качестве общественного *явления в прямой связи* с другими общественными явлениями, в его многообразии и *сложности*. «Диалектический и исторический материализм Маркса и Энгельса, примененный его творцами при изучении языковой проблематики, означал важную веху в истории языкознания. В эпоху распространения различных идеалистических языковых теорий Маркс и Энгельс высказали основополагающие идеи, которые официальная лингвистика выдвинула и сформулировала на несколько десятилетий позднее»,— отмечает автор (стр. 8). В связи с этим он выдвигает одну из важных задач своей работы: «Способствовать тому, чтобы концепция классиков марксизма-ленинизма была включена в общую историю мирового языкознания и чтобы ей *в последней* было отведено надлежащее место. В известной степени мы хотим показать, *сколь важное* значение отводили (в особенности Маркс и Энгельс) достижениям *языкознания, построенного* и развиваемого как общественная наука на базе метода исторического и диалектического материализма» (стр. 9).

Во втором разделе автор справедливо отмечает, что труды К. Маркса и Ф. Энгельса чаще всего были результатом их совместной работы. В связи с этим не всегда возможно и даже целесообразно ставить вопрос об индивидуальном авторстве применительно к тому или иному положению. Разделение научных интересов привело к тому, что в языковедческих проблемах специализировался Ф. Энгельс. К. Маркс признавал его авторитет в этой области и часто руководствовался его советами (стр. 13).

Значение материалистического учения о языке К. Маркса и Ф. Энгельса, по мнению автора, лучше всего можно понять на основе сравнения их концепции с современными им лингвистическими теориями формально-грамматического, натуралистического, психологического и младограмматического направления. Именно подобное сравнение позволяет оценить трактовку языка К. Маркса и Ф. Энгельса как поворотный пункт в истории мирового языкознания и по достоинству оценить их новаторство и прозорливость на фоне развития официального университетского языкознания.

Автор воссоздает историческую и идейную обстановку в Германии, когда К. Маркс и Ф. Энгельс стали задумываться над проблемами исторического материализма, проблемами сущности, раз-

[1] См.: ВЯ, 1975, № 5, стр. 140—143. Из других работ Я. Петра укажем: B. Engels a slovanská filologie, «Slavia», 43, 1974; Slavistické zájmy K. Marxe a B. Engelse, Praha, 1977; B. Engels — onomastik, «Zpravodaj místopisné komise ČSAV», 16, 1975; Zainteresowania K. Marksa i Fr. Engelsa językiem polskim, «Zeszyty Naukowe UJ Prace językoznawcze», 47, Kraków, 1975; B. Engels a románská jazykověda, «Cizí jazyky ve škole», 19, 1975—1976; B. Engels a germánská jazykověda, «Cizí jazyky ve škole», 20, 1976—1977; Teze klasiků marxismu-leninismu o jazyce, SaS, XXXIX, 1978, стр. 1—4; K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka, I. Hegelova filozofie, там же, стр. 86—95; K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka, II. Feuerbachova filozofie, там же, стр. 187—194.

[2] См. сб. «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962.

[3] См.: ВЯ, 1973, 2, стр. 120—122.

вития и возникновения языка в связи с материалистическим объяснением различных общественных сторон деятельности человека и человеческого общества. Исходным пунктом для них явилась критика системы Л. Фейербаха. Уже в «Немецкой идеологии» (1845—1846) К. Маркс и Ф. Энгельс сформулировали основные тезисы об общественном характере языка, решив одновременно проблему соотношения социального и индивидуального факторов в языковой практике человека. Автор анализирует отношение К. Маркса и Ф. Энгельса к общелингвистической концепции В. Гумбольдта, отмечая тождество динамического понимания языка и его постоянного развития — с одной стороны, и материалистического истолкования двух сторон языка (звуковая форма как материальное, мыслительное содержание как идеальное) — с другой. Вместе с тем К. Маркс и Ф. Энгельс, рассматривая язык прежде всего как средство взаимного общения людей, отвергли мнение В. Гумбольдта о том, что язык служит в первую очередь удовлетворению внутренней потребности человека в познании и отражает субъективный взгляд человека на окружающий мир, что было навеяно учением Канта о самодвижении априорных форм и категорий сознания. Не получили одобрения со стороны К. Маркса и Ф. Энгельса как убеждение В. Гумбольдта, что язык является специфической эманацией духа данного народа, внешним выражением единой внутренней формы (innere Sprachform), отражающей определенный взгляд на мир, так и его гипотеза языковой относительности, подрывающая материалистическое понимание сущности языка.

Я. Петр отмечает, что биологический натурализм А. Шлейхера противоречил общественному характеру языка, на котором настаивали К. Маркс и Ф. Энгельс, хотя мысль о непрерывности развития языка по свойственным ему внутренним закономерностям встретила у них положительное отношение. К. Маркс и Ф. Энгельс с одобрением относились к диалектическим основам сравнительно-исторического метода и полагали, что как на основе метода, так и изученного индоевропеистами материала можно формулировать обобщения, полезные и для специалистов других общественно-исторических дисциплин. Самыми крупными авторитетами для К. Маркса и Ф. Энгельса были Я. Гримм и Ф. Диц, которые стремились проследить пути исторического развития германских и романских языков и обращали внимание на важность исторической диалектологии задолго до выступления младограмматиков.

Автор весьма убедительно показывает, что К. Маркс и Ф. Энгельс отрицали психологические теории Г. Штейнталя и что Ф. Энгельс в своей научной деятельности, преодолевая ограниченность младограмматиков, следовал социолингвистическим принципам.

Опираясь на теорию отражения В. И. Ленина, Я. Петр говорит о взаимоотношении языка и мышления, показывает сущность абстракции, характеризует знаковый характер языковых единиц как материальных носителей социальной информации, отмечает общий характер языка и конкретный характер речи. Таков же подход автора и при анализе внутренних противоречий в системе языка, проявляющихся в речевой реализации, при разборе соотношения диахронии и синхронии, в предостережениях против механического переноса экономических и общественных отношений на развитие языка.

Я. Петр считает системность одновременно онтологической и гносеологической категорией. С этой позиции он критикует различные направления структурализма, включая Пражский лингвистический кружок. Однако его критические высказывания о гносеологических основах Пражского лингвистического кружка едва ли могут удовлетворить читателя. В частности, это обусловлено тем, что автор, сославшись на мнение В. А. Звегинцева о необходимости различать чешских и русских представителей пражского структурализма, солидаризируется с мнением последнего, что «концепция чешского крыла Кружка в своей сущности вообще не является структуралистической» (стр. 35).

Третий и четвертый разделы характеризуют языковые познания К. Маркса и Ф. Энгельса. Известно, что К. Маркс в совершенстве владел французским, английским, древнегреческим, латинским языками, бегло читал тексты на других германских и романских языках, пассивно владел русским и сербохорватским. Ф. Энгельс был подлинным полиглотом, владея не только многочисленными живыми и мертвыми языками, но и научно занимаясь проблемами славистики, германистики, классической филологии и романистики, албанским, кельтскими и семитскими языками.

Пятый, шестой и седьмой разделы посвящены характеристике вклада В. И. Ленина в проблемы языкознания и его лингвистических интересов. В. И. Ленин занимался проблемами языкознания в иных общественно-исторических условиях, чем К. Маркс и Ф. Энгельс. В его трудах эти проблемы связаны с углубленным обоснованием материалистической диалектики и ее защитой от оппортунистов, с практическими задачами пролетарской революции, с разрешением национального вопроса и потребностями строительства социалистического общества. В. И. Ленин сознательно исходил из определения сущности и функций языка, обоснованных К. Марксом и Ф. Энгельсом. Вместе с тем труды

В. И. Ленина содержат творческое развитие марксистской теории в области философских проблем языкознания и научного коммунизма, обосновывают множество теоретических и практических положений, составляющих исходные принципы национальной и языковой политики КПСС и ее отношение к языковым проблемам в период строительства социализма и коммунизма.

Глубокая и всесторонняя разработка В. И. Лениным теории познания включает характеристику важнейших сущностных сторон языка. Генетический и системный подходы к любому явлению, опирающиеся на принцип единства материального и нематериального мира, имеют важное значение для языкознания. Автор характеризует постоянный интерес В. И. Ленина к проблемам культуры речи и его личную заботу о развитии русского литературного языка. В. И. Ленин владел немецким, французским и английским языками, знал древнегреческий и латынь, понимал польскую и итальянскую речь, учился чешскому, болгарскому и шведскому языкам.

Представляется, что автор осветил подробно не все стороны многогранной лингвистической деятельности В. И. Ленина. Можно было бы указать на то, что В. И. Ленин следил за всем новым в языкознании, регулярно читал лингвистическую литературу, делал выписки и конспекты. Сам язык В. И. Ленина — важнейшее явление в истории современного русского языка и классический образец нашей научной и публицистической речи. Много ценного содержат воспоминания Н. К. Крупской и других родных и близких соратников вождя [4].

Вторая часть книги содержит хрестоматию отрывков из трудов Маркса — Энгельса—Ленина, посвященных проблемам языкознания и сгруппированных по 17 тематическим рубрикам: 1. Возникновение языка; 2. Развитие языка и его дифференциация; 3. Язык и мышление; 4. Слова и их значение; 5. Сравнительное языкознание; 6. Германская филология; 7. Славянская филология; 8. Романская филология; 9. Классическая филология; 10. Кельтская филология; 11. Семитская филология; 12. Ономастика; 13. Владение языками; 14. О переводе; 15. О стиле; 16. Языковая культура; 17. Национальный вопрос и языковая политика. Тексты высказываний классиков марксизма-ленинизма опираются на наиболее авторитетные чешские издания.

Таким образом, чешский читатель получил книгу, которая показывает идейный и научный вклад К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина в развитие общего языкознания, оценивает их конкретные взгляды на язык и языки, характеризует их место в истории мирового языкознания и наглядно демонстрирует значение трудов классиков марксизма-ленинизма для современной марксистской лингвистики. Думается, что последующие работы в этой области будут опираться на книгу Я. Петра.

Кондрашов Н. А.

---

[4] Ср., например: Р. М. Шамелашвили, В. И. Ленин и вопросы языкознания. АДД, Тбилиси, 1969.

К. Х. Ханазаров. **Решение национально-языковой проблемы в СССР.** — М., Изд-во политической литературы, 1977. 152 стр.

В советской социолингвистике на всех этапах ее развития важное значение придавалось изучению вопросов национально-языковой политики первого в мире социалистического государства. Их активная разработка языковедами началась в последние годы. Вместе с тем, эти вопросы привлекают внимание также социологов и философов. Книга К. Х. Ханазарова, наиболее активно из философов изучающего социологические проблемы языкового развития в СССР, заслуживает особого внимания.

Рецензируемая книга состоит из краткого предисловия, заключения и девяти глав. Первая глава «Сущность и характер развития языка» (стр. 5—13) охватывает круг вопросов, отражающих непосредственную связь языка с обществом. Стремясь путем целенаправленного воздействия на природу и общественные отношения улучшить условия своего существования, люди испытывают потребность в средстве общения и обмена мыслями, т. е. в языке.

Автор останавливается на двояком характере процесса развития языка, проявляющегося в двух формах — внутриструктурной и функциональной. В первом случае имеются в виду те изменения в языке, которые «касаются соотношения, взаимозависимости различных компонентов внутри языка» (стр. 9). Во втором случае (функциональное развитие языка) автор говорит о возникновении связей «между языком и обществом, отпочковании и становлении новых форм организации речевого материала в зависимости от практических потребностей общества» (стр. 10).

Автор справедливо подчеркивает, что «объективным показателем развитости языка является степень его функциональной расчлененности, то есть то, сколько общественных обязанностей, функций выполняет язык» (стр. 10).

Во второй главе (стр. 14—32) дается «Общая характеристика языковых процессов в СССР». Подчеркивается, что национальные языки при социализме —

исторически необходимые и обусловленные явления объективного характера, выступающие в качестве действенных орудий ускорения общественного прогресса, построения коммунизма.

Автор рассматривает языковые процессы по материалам переписей 1897, 1926, 1939, 1959 и 1970 гг. и приходит к выводу, что «при социализме происходят многосторонние и глубинные процессы „просеивания" языков на основе общественной практики, отбор и выдвижение тех национальных языков, на которых наиболее целесообразно организовать обучение. Но это не насильственное навязывание и насаждение языка одних наций в ущерб другим, а добровольный переход на обучение на этих языках на основе собственного опыта трудящихся» (стр. 29).

«Вопросы национальных языков в теории и политике КПСС» рассматриваются в третьей главе (стр. 32—43). Подчеркивается, что в теоретической и практической деятельности Коммунистической партии Советского Союза вопросы национальных языков занимают важное место. В своей политике Коммунистическая партия исходит из того, что каждый национальный язык выступает действенным средством сплочения трудящихся масс вокруг рабочего класса, пробуждения созидательной энергии и инициативы трудящихся, подъема экономики и культуры народов. С помощью национальных языков до сознания трудящихся всех национальностей доводятся идеи социализма, пролетарского интернационализма, дружбы народов, мировоззренческие и научно-технические знания.

Автор излагает основные принципы ленинской национально-языковой политики, процесс ее становления и претворения в жизнь Коммунистической партией.

В четвертой главе (стр. 43—80) рассматриваются «Основные аспекты развития национальных языков». Специально обсуждаются такие темы, как «Обогащение словарного фонда» и «Создание и совершенствование письменности».

В качестве одного из важнейших факторов обогащения лексики литературных языков автор указывает на их взаимодействие, которое способствует их обогащению и развитию, отнюдь не затрагивая специфики и внутренних законов совершенствования. Советские нации, народности, руководствуясь стремлением ускорить решение общих проблем подъема экономики и культуры, на основе равноправия и взаимного уважения широко обмениваются своими достижениями в развитии народного хозяйства и духовной жизни.

Автор подчеркивает, что национальная политика Коммунистической партии направлена на то, чтобы всемерно содействовать расцвету и сближению наций, народностей, ускорению исторического прогресса по пути коммунизма. Создание письменности для наций и народностей, ее дальнейшее совершенствование и активное использование в одинаковой мере служат интересам общественного прогресса, расцвету и сближению наций, народностей, укреплению их дружбы и единения (стр. 80).

«Двуязычие — характерная черта наций и народностей развитого социализма» — таково название пятой главы (стр. 81—120), в которой дается широкая панорама языковой жизни народов СССР, говорится об использовании наряду с родными языками межнационального языка.

К. Х. Ханазаров справедливо подчеркивает, что «свободное владение всеми гражданами СССР своим национальным (родным) и межнациональным русским языками и есть тот идеал, к которому стремится развитое социалистическое общество. Это первейшая задача в совершенствовании языковой жизни, стоящая перед всеми советскими нациями, народностями» (стр. 87).

В главе называются предпосылки превращения русского языка в межнациональный язык: 1) Русский язык — родной язык большинства населения страны; 2) Близость русского, украинского и белорусского языков; 3) Распространенность русского языка среди народов страны; 4) Влияние внутренних особенностей русского языка; 5) Богатство и выразительность русского языка; 6) Возрастание международного значения русского языка.

Разумеется, не все эти факторы равнозначны. Так, вызывает сомнение правомерность выделения четвертого и пятого пунктов. Вместе с тем, автор не вычленил такую важнейшую предпосылку становления русского языка средством межнационального общения, как выдающаяся роль русской нации, ее культуры в революционных преобразованиях и общем прогрессе в жизни всех народов СССР.

Седьмая глава «Равноправие языков — жизненная основа распространения межнационального языка в СССР» (стр. 120—128) посвящена вопросам ленинского принципа абсолютного равноправия всех народов и всех языков. Приводится конкретный материал из культурной жизни народов СССР, свидетельствующий о гармоничном функционировании родных языков и языка межнационального общения в различных сферах жизни советских народов.

В восьмой главе «Родной язык и язык обучения» (стр. 129—143) автор ставит вопросы использования различных языков в школах и вузах страны.

Последняя, девятая глава (стр. 143—150), посвящена философской проблеме «Родной язык и национальная принадлежность». Отмечается, что эти два понятия

не всегда абсолютно совпадают, что подтверждается данными переписей.

В кратком заключении (стр. 151) автор подчеркивает важность претворения в СССР в жизнь ленинских принципов равноправия языков.

Таким образом, перед нами серьезная работа, в которой поставлен целый ряд актуальных проблем национально-языкового развития в СССР. Стремясь к наиболее полному их решению, автор твердо стоит на позициях марксистско-ленинской теории научного коммунизма, умело оперирует категориями современной социолингвистики.

В книге удачно сочетаются научность постановки и решения проблем с доступностью, популярностью изложения материала. Поэтому книга может представить интерес как для ученых (философов, социологов, филологов), так и для широких читательских кругов — студентов, работников культуры и просвещения и т. д.

В книге много удачных формулировок, что относится и к несомненным достоинствам всей работы. Но имеются также исключения. Так, мы читаем: «Языковая жизнь народа—это совокупность языков, используемых им на данном этапе развития для достижения оптимально полноценного общения и обмена мыслями» (стр. 81). Тут прежде всего налицо погрешность в стиле («языковая жизнь народа — это совокупность языков ...!?). Но, как мне представляется, данное определение вообще не полностью отражает такое емкое социальное явление, как языковая жизнь современных народов. Можно указать и на такие частности, как неодинаковая насыщенность разделов фактическим материалом, отсутствие рекомендуемой литературы по рассматриваемым проблемам и т. п.

Однако, несмотря на имеющиеся отдельные недочеты, рецензируемая книга К. Х. Ханазарова несомненно, будет встречена с большим интересом советскими читателями. Более того, она представляет большую ценность и в плане распространения за рубежом нашего богатейшего опыта в решении сложных национально-языковых проблем.

Исаев М. И.

В. П. Нерознак. **Палеобалканские языки.** — М., «Наука», 1978. 231 стр.

Книга В. П. Нерознака посвящена индоевропейским языкам, известным так или иначе с древности. Однако (и в этом уже повинны размеры этих античных знаний или интереса тогдашней эллиноцентричной учености) не будет большим преувеличением сказать, что известны они были главным образом по названию. Эта скудость знаний тем более досадна и загадочна, что по крайней мере на некоторых из палеобалканских языков говорили крупнейшие, по сообщениям древних, народы (достаточно назвать при этом фракийцев); что эти языки и народы находились в ближайшем соседстве и всегдашнем общении, мирном и военном, с греками (достаточно сослаться на Троянскую войну), переплетались с собственно греческим лингвоэтническим элементом, образовав один из компонентов последнего (дорийцы с их палеобалканскими связями); что, наконец, именно индоевропейские древние Балканы служили истоком мощных миграций «народов моря» на острова Восточного Средиземноморья и берега Палестины.

Столь мало известные древние индоевропейские языки Балканского полуострова отнюдь не были какими-нибудь периферийными идиомами; совсем наоборот, на пространстве от Рейна до Волги, занятом индоевропейскими языками с раннего времени, балканский ареал образует примерно середину, а это делает вероятной или возможной мысль, что первоначально в этом ареале было значительно больше языков и что немалая часть мигрировавших языков и народов была прежде географически балканской. Исторический факт мессапской миграции на Апеннинский полуостров с Балканского означает типологическую возможность такого явления в ряде других случаев, которые приходится только реконструировать из-за недостатка письменных свидетельств.

Коротко говоря, бедность данных именно о центральных индоевропейских языках оборачивается большим и трудно восполнимым ущербом для сравнительного изучения всех индоевропейских языков в целом. Прошло время, когда можно было признать достаточно адекватным построение сравнительной индоевропейской грамматики на основе полудюжины «больших» письменных языков, а роль «малых», или, точнее, реликтовых индоевропейских языков, в их числе палеобалканских, оставивших по себе мало данных, в общей картине индоевропейского языкового прошлого была весьма невелика. В этих условиях особенно повышается актуальность дальнейших разысканий в области реликтовых языков древности, а затрудненность самих поисков и тем более попыток сводного описания обязывает нас к неизменной благодарности таким исследователям.

Книга В. П. Нерознака как раз и является таким сводом научных данных

о палеобалканских языках, первым в нашей литературе. Что касается содержания и объема понятия «палеобалканские языки» (самый термин удобен и имеет аналогии, ср. палеоазиатские языки), то совершенно ясно, и исследование В. П. Нерознака лишь подтверждает это, что споры по этому вопросу сохранятся и дальше. Согласно автору, в палеобалканские языки входят фригийский, мессапский, фракийский, мизийский, древнемакедонский, иллирийский, дакийский, догреческий-пеласгский, дарданский, пеонийский, мигдонский (стр. 12). Поскольку мы и сейчас плохо умеем отличать язык от диалекта, естественно сделать скидку на некоторую оправданность такого неразличения для древнего периода и для реликтового языка, хотя, например, кажется желательным трактовать древнемакедонский и особенно мессапский как диалекты иллирийского. Правда, автор склонен, вслед за некоторыми исследователями, скорее суживать рамки иллирийского. Как бы то ни было, уместно говорить о древней западнобалканской диалектной области, куда во всяком случае входит иллирийский, и о восточнобалканской диалектной области, куда входит фракийский. Это не исключает взаимосвязи обеих названных областей Балкан, как и естественного наличия переходных диалектов. В сущности В. П. Нерознак прав, определяя палеобалканский языковой ареал как в целом переходную диалектную зону, что особенно видно по сложному палеобалканскому отражению индоевропейских палатальных задненебных — с ассибиляцией и без нее даже в одном и том же языке (вспомним фригийские варианты *Mane-gordum* и *Mane-zordum* «город Манеса»). Общей палеобалканской чертой является отсутствие аспирации у индоевропейских смычных придыхательных, что четко отделяет палеобалканский от собственно греческого. Но о передвижении согласных можно говорить уже только как о восточнобалканской диалектной (фракийской и т. д.) черте, хотя здесь по-прежнему многое неясно.

Автор проводит ограничения обследуемого материала. Самое крупное из них — исключение ономастических данных. В результате этого оставляются в стороне так называемые «ономастические» языки (пеонийский, дарданский, мигдонский). На этом же основании, как правило, исключаются из анализа собственные имена лиц и мест на фракийском, иллирийском, т. е. важнейших языках ареала. Хотя автор и оговаривает это, такое ограничение все-таки не может не вызывать у нас сожаления, так как получаемая в итоге картина языка остается как бы без второй и, надо сказать, наиболее богатой своей половины. В реликтовой ономастике индоевропейские связи, лексический состав и прочие языковые особенности видны подчас лучше, чем в темных глоссах и плохо читаемых надписях. При суммарной трактовке палеобалканский ономастикон мог бы быть достаточно обозрим. Ниже, в некоторых своих аргументах мы намеренно отступаем от этого авторского ограничения, учитывая, к тому же, зыбкость границы между именем нарицательным и собственным.

В изложении присутствуют отдельные неясности в том, что касается диалектного членения в данном ареале. Я имею в виду дакский (у автора — «дакийский») язык, который, как некий фантом, то появляется в книге, то исчезает. В приводившемся выше перечне и некоторых других местах он назван как особый язык, но в оглавлении книги его уже нет, специального раздела ему не посвящено, а так называемые «Дакийские названия растений» (стр. 55 и сл.) включены в гл. II «Фракийский язык». Далее мы еще вернемся к вопросу о статусе дакских языковых остатков.

Как видно, В. П. Нерознак трактует палеобалканские языки расширительно, включая в них, в отличие, например, от Р. Катичича [1], фригийский в Малой Азии и мессапский на Апеннинском полуострове. Это правильно с точки зрения генетического языкознания и, кажется, может быть продолжено в том же направлении. Я имею в виду проблему киммерийского языка. Парадокс киммерийского состоит в наличии взаимоисключающих гипотез о его принадлежности. От киммерийцев не сохранилось даже ономастики (иранское имя их царя *Sandakšatru* еще ничего не дает). Известно сообщение Страбона об их связи с фракийцами-трерами. Собственно Киммерия находилась на берегу Керченского пролива — Боспора Киммерийского, и именно в Боспорском царстве был известен ряд несомненно фракийских личных собственных имен (Σπαρτοκος, Ῥοιμηταλκης и др.). Единственная киммерийская глосса ἄργιλλαι «подземные жилища» (Эфор у Страб. V.4.5) носит палеобалканский характер, ср. ἄργελλα· οἴκημα Μακεδονικόν (Гесихий) с албанскими и румынскими продолжениями. Отсюда проистекает гипотеза о фракийском происхождении киммерийского языка, которая также должна была, хотя бы кратко, быть упомянута в книге «Палеобалканские языки». Недавно западногерманский праисторик Г. Шрамм выступил с довольно эффектной теорией, согласно которой киммерийцы — это праармяне, носители языка с передвижением согласных [2]. Армянская концепция киммерийского была слишком

[1] R. Katičić, Ancient languages of the Balkans, The Hague — Paris, 1976.

[2] G. Schramm, Nordpontische Ströme, Göttingen, 1973, стр. 165.

слабо аргументирована и поэтому была отвергнута критикой [3]. Но это, так сказать, с одной стороны. А с другой стороны, если взглянуть на проблему шире, имея в виду и палеобалканский генезис армянского с его передвижением, и фракийские, т. е. тоже палеобалканские связи киммерийского, то непримиримое противоречие суждений о киммерийском языке уменьшается по крайней мере в теоретическом плане, в чем и состоит, по нашему мнению, уникальность киммерийского парадокса.

Видное место в монографии В. П. Нерознака занимает глава II «Фракийский язык» (стр. 21 и сл.), где в сжатой форме, но весьма информативно излагается весь материал по проблеме, содержится хороший библиографический аппарат по новой литературе. Главная заслуга автора — в том, что он сумел собрать в жестких рамках небольшой книги и сделать доступным для читателей корпус надписей, в данном случае фракийских. Для этого была проделана немалая филологическая работа и проявлен вкус и такт, в итоге чего мы получили полезное критическое издание этих трудных надписей, которые практически лишены билингв и, к сожалению, несмотря на понятность письма (греческая графика), до сих пор не могут считаться прочитанными. Разные прочтения и словоделения, конечно, существуют, но, к чести автора, следует отметить, что он проявил в отношении к ним сдержанность и трезвость, указав все слабые моменты. Конечно, прочтение этих надписей остается по-прежнему задачей для исследователей. По-прежнему их краткость и почти полное отсутствие повторяющихся мест (т. е. своего рода прямая противоположность монотонным повторениям фригийских надписей) будут затруднять интерпретаторов. Однако все-таки поиски параллелизмов, а также выявление моментов типологии, например, надписей на изделиях надо продолжать более упорно. В эпиграфике на изделиях употребительна на разных языках модель «N сделал меня» (изделие как бы говорит о себе от 1-го лица). Зная это, можно было бы принять отдельные моменты прочтения В. Пизани [4] надписи А4 на перстне из Дувалы: HYΣIH... ΔΕΛΕ MEZHNAI. Пизани читает: N. N. [δε]δελε με ζηναι «сделал меня женой» (см. стр. 33 книги В. П. Нерознака, там же и собственная интерпретация автора). Мы же, основываясь на отмеченной выше модели, прочтем скорее как N. N. [δε]δελε με Ζηναι, т. е. «...сделал меня для Зены». Выделение здесь перфекта на *-l-* [δε] δελε мы считаем наиболее ценной и перспективной идеей В. Пизани, которую можно распространить и на надпись А3 на серебряном блюде, тоже из Дувалы (стр. 32 у В. П. Нерознака): ΔΑΔΑΛΕΜΕ, которое следует разделить на два слова δαδαλε με «сделал меня» в упомянутом выше смысле, с повтором того же δαδαλε, δεδελε.

В число фракийских попадает у автора и надпись А10 с территории Румынии, т. е. древней Дакии: *Decebalus*, характеризуемое как известное дакийское имя (стр. 36). Все наиболее ясные контексты употребления этого имени у древних авторов отнесены к царю Дакии (ср. Дион 67.7: πρὸς τὸν Δεκέβαλον τὸν Δακῶν βασιλέα «к Декебалу, царю даков») [5]. Нам видится здесь глосса, которую можно прочесть *Dece-bal-* или, с учетом мены *a* > *e*, **Dace-bal-*, буквально «дакский царь». Это не первый случай, когда титул оказывается понятым как имя собственное. Существенно, что даки имели, по-видимому, для обозначения царя особый термин, отличный от фракийского, который дошел до нас тоже завуалированный в гомеровском личном имени «Ρῆσος» < и.-е. **rēĝ-*. Реконструируемое дак. **bal-* «царь» напоминает нам фригийское название царя — βαλ[λ]ήν· βασιλεύς· Φρυγιστί (Гесих.), с которым оно связано важной изоглоссой. В основе обоих лежит не и.-е. **bhel-*«белый, светлый, сиять», а **bol-* «сильный, сила».

Судя по всему, мы должны связывать с дакскими реликтами представления о самостоятельном языковом статусе. В. Георгиев говорит, например, об особом дакском, или дако-мизийском языке, причем главным источником для изучения этого языка ему служат именно дакские глоссы, представляемые дакскими названиями растений. Эти названия — интересный материал, позволяющий сделать определенные обобщения. Особенно часто среди них можно встретить сложения со вторым компонентом *-dila*, *-dela*, *-zela*, что В. Георгиев убедительно объяснил как колеблющуюся письменную фиксацию дакского названия травы с начальным *d* или *z*, из и.-е. **ĝhel-*[6]. Меньше убеждает попытка объяснить раздельно *-dila*, *-dela* из и.-е. **dhal*,-**dhəl-* «цвести, зеленеть», а *-zela*, *-zila* — из и.-е. **ghel-* «зеленый, трава». В исследования дакских названий растений закрался один анахронизм, восходящий еще к Дечеву [7]

[3] См. специально: Г. Б. Джаукян, Проблема киммерийцев и киммерийского языка в современной науке, «Историко-филологический журнал АН АрмССР», 1977, 4(79), стр. 73 и сл. (на арм. яз.).

[4] См. рецензируемую книгу, стр. 33.

[5] См.: D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957, стр. 124.

[6] См.: V. Georgiev, Die dakischen Glossen und ihre Bedeutung zum Studium der dakischen Sprache, «Linguistique balkanique», VIII, 1964, стр. 7—8.

[7] См.: D. Detschew, указ. соч., стр. 552.

и принимаемый вслед за ним В. Георгиевым, а также В. П. Нерознаком (стр. 60): дакское κοτίατα «пырей» (Диоскорид) прямо соотносится с чеш. *kot'ata*, мн. от *kotě* «котенок, котята», переносно — «сережки (на дереве)». Конкретная культурно-историческая деталь противится этому отождествлению: дело в том, что Диоскорид жил в I в. н. э., а слово **kotъ* заимствовано в славянский из латинского никак не ранее V—VI вв. В I веке н. э. ни домашней кошки, ни ее названия *catus* (откуда потом слав.) римляне еще не знали, и то и другое там появилось позже [8].

Самая большая и, видимо, центральная глава III посвящена фригийскому языку, в исследование которого В. П. Нерознак вложил максимум сил — и лично, и в соавторстве. Читатель может составить полное представление и о старофригийском, и о новофригийском корпусе, а также получает информацию о дальнейшем прогрессе в этой специфической области. По-своему интересно изучение новофригийских формул проклятия, этих многих десятков надписей, в сущности — вариаций одной очень устойчивой фразы, сложноподчиненного предложения, начинаемого союзным словосочетанием ιος νι «кто же», которым давно заинтересовались исследователи индоевропейского синтаксиса, увидевшие здесь важную параллель слав. (зап.-слав.) *jьnъ* из местоимения *jь* и частицы *-nъ*, ср. и греч. диал. (фессал.) ὅνε, τόνε [9].

Касаясь фригийских глосс, рассматриваемых В. П. Нерознаком весьма обстоятельно, можно сделать наблюдение о взаимосвязи (видимо, искаженных при записи?) глосс ἀδαγούς «некий бог у фригийцев» (Гесихий), Ἄγδιστις — о матери богов [видимо, **gdu-* — обозначение хтонического божества, которое следует реконструировать не из и.-е. **ǵg^{w}h-*«узкий» (стр. 135 рецензируемой книги), а в связи с названием земли Γδαν(μαυα)]. Кстати, соответствующая индоевропейская форма на стр. 154 реконструируется как **ǵhđem-/*ghđom-*, что как будто устарело, и лучше говорить о **dh(e)ǵhom* [10].

Небольшая глава IV «Иллирийский язык» (куда входит также раздел о месапском языке) суммарным своим характером обязана тому, что от иллирийского языка не сохранилось надписей и дошло очень мало глосс. К тому же ономастика, как и в других разделах книги, здесь привлекается очень ограниченно, хотя иллирийская ономастика довольно разнообразна и содержательна в апеллативном отношении. Автор полемизирует с преувеличениями панилиризма и скорее сближается с теми исследователями, которые сводят иллирийцев в собственном смысле слова до населения небольшой области, примыкавшей к Албании. Можно согласиться также, что иллирийская ономастика членится на ряд ареалов. Но существуют явно иллирийские изоглоссы, которые охватывают большие ареалы, проникая далеко на север от собственно Иллирии. Ср.: *Daleminze*, историческая область на востоке Германии (*Talaminzi, Sclavi qui vocantur Dalmatii*, IX в. [11], ср. прочную связь последнего с алб. *dele, delmë* «овца»). *Дукльа*, местное название в Черногории, античное Δόκλεα, объясненное из иллир. **dōkl-*, находит точное соответствие в названии карпатского перевала *Дукля* [12]. Польск. *Osobłoga*, чеш. *Osoblaha*, название реки в Силезии, оказывается глоссой **(v)oso-bolga*, причем переводу на славянский здесь подвергнуто иллир. **veso-*, **vesu-* «хороший, добрый, благой», ср. иллир. личное имя *Vescleves* [13].

Ни с каким другим этносом увязать эти изоглоссы нельзя. Таким образом, палеобалканский языковой ареал необходимо понимать довольно широко, с включением в него областей к северу от среднего Дуная, которые в географический Балканский полуостров уже не включаются. Точно так же венгерский язык, не являющийся языком балканским, вправе привлекать наше внимание при поисках следов палеобалканских индоевропейских языков. Уже давно замечено сохранение в венгерском отдельных иллирийских (паннонских) или фрако-дакских слов. Еще в 1959 г. я писал о досадном отсутствии в книге Г. Краэ об иллирийском языке упоминаний о венг. *tót* «словак», «славянин», сохранившем ценное свидетельство, видимо, иллирийского апеллатива **touta*, **teuta* «народ», известного в иллирийской ономастике: *Tautantum*, Τρι-τεύτα, *Teutmei-*

---

[8] См. переиздание классического труда: V. Hehn, Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe, Historico-linguistic studies, Amsterdam, 1976, стр. 349—351.

[9] Ср. о последних: Z. Rysiewicz, Zachodnio-słowiańskie *tъnъ, sьnъ, jьnъ*, в кн.: «Studia językoznawcze», Wrocław, 1956, стр. 65 и сл.

[10] См.: В. В. Иванов, Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, М., 1965, стр. 24 и сл.

[11] Подробнее об этой глоссе см.: E. Eichler, H. Walther, Die Ortsnamen im Gau Daleminze, Berlin, 1966, стр. 397 и сл.

[12] См.: О. Н. Трубачев, Названия рек Правобережной Украины, М., 1968, стр. 282.

[13] О. Н. Трубачев, Заметки по лехитской этимологии, сб. «Исследования по польскому языку», М., 1969, стр. 306.

tis, *Teutana*[14]. Венг. *katona* «солдат» объясняется, в конечном счете, из палеобалканского *k a - t n̥ t- «палатка», ср. сюда же виз.-греч. κατοῦνα «палатка, лагерь», алб. *katúnd*, *katúnt* «селение», рум. *cătún* «хутор»[15]. Венг. *Körös*, особенно *Fekete-Körös* «Черная Кёрёш», название притока Тисы, вместе с формами *Grisia* (Jord. Get.), Κρίσος (X в.) отражает дак. **kers-* «темный, черный», на что давно обращено внимание.

Говоря о мессапских глоссах, полезно выделить возможные дополнительные изоглоссные связи. Во-первых, название виноградарского ножа — βίσβην давно истолковано как суффиксальное производное **biθ-oa*, близкое слав. **bi-tva*[16]. Во-вторых, особого внимания заслуживает мессапский термин *tabara* «жрец, жрица» и его изоглоссные отношения. Второй компонент *-bara* «несущий» споров не вызывает, тогда как отождествление первого с нем. *dar-* и осмысление всего вместе как «приносящий жертву» маловероятно. В основе мессапского сложения, по-видимому, лежит слово, близкое арм. *tʿagavor* «царь», собственно, «венце-носец», где *-vor* < и.-е. **bhor-* (правда, арм. *tʿag* «венец» считается заимствованием из перс. **tăga-*); тождественное обозначение жреца, мага и царя — это архаичная особенность. Любопытно привлечь еще др.-перс. *takabara*, прилаг. «носящий волосы, заплетенные и уложенные венцом», о части греков-ионийцев: *yaunā takabarā-*, в надписи Дария[17].

Небольшая, суммарная глава V содержит сведения об остатках и проблематике исследования древнемакедонского языка. Между прочим, глоссовое македонское γόδα· ἔντερα, т. е. «кишки», сравниваемое с др.-инд. *gudaḥ* «кишки» (стр. 172), очень близко к картв., груз. *guda* «бурдюк, кожаная сумка», на что обратил мое внимание Г. А. Климов[18], и может соответственно оказаться бродячим культурным словом.

Заметной заслугой В. П. Нерознака является всестороннее исследование словаря Гесихия Александрийского и выделение в нем явных и скрытых палеобалканских элементов. Этому посвящена глава VI книги, содержащая хорошую филологическую критику. По поводу глоссы κάστον «дерево у афаманов» (стр. 183 рецензируемой книги) надо было учесть сближение В. Пизани с др.-инд. *kāṣṭhám* «дерево, полено»[19].

Последняя, VII глава «Палеобалканский вклад в современные балканские языки» как бы устанавливает связь между древней и новой балканистикой. Вклад этот неодинаков: если албанский — единственный продолжатель палеобалканской речи, а румынский сохранил довольно существенный автохтонный палеобалканский пласт, перекрытый восточнороманской языковой структурой, то славянские языки Балкан отражают уже немногое,— видимо, их приход состоялся в основном после грецизации и романизации палеобалканских автохтонов. Действительно, за вычетом субстратной топонимии, лишь немногие нарицательные лексемы могут претендовать на палеобалканские этимологии, например, фракийские в болгарском. Время от времени вскрывается спорность таких этимологий: так, болг. *газя*, объяснявшееся из фракийского, получило недавно объяснение как исконнородственное белорусск. диалектн. *газ* «брод». Это не исключает необходимости продолжения поисков палеобалканских субстратных элементов в болгарском и его лексике. Об аналогичных ресурсах венгерского уже сказано выше. Надо сказать, что в отдельных случаях палеобалканский вклад в лексику и культуру обретает европейское звучание, ср., например, такое важное современное слово, как русск. *силос*, которое, подобно нем. *Silo*, заимствовано в XIX в. из исп. *silo*, мн. ч. *silos* «яма, хранилище для зерна», а последнее — из греч. σιρός «зернохранилище», которое, видимо, отражает фрак. *siros* < **sūros* < **sūros* «кислый» (силосование — это заквашивание зеленых кормов; другие объяснения см. у В. П. Нерознака, стр. 54).

Таким образом, тема палеобалканистики имеет отнюдь не антикварное значение, она важна для истории и теории языка и для истории культуры. Потрудившийся автор во многом способствовал выяснению этой проблематики. Его монография — заметный этап в науке. В заключении своей книги В. П. Нерознак выдвигает новые задачи, одна из главных — это создание корпусов по реликтовым языкам Балкан. Монография В. П. Нерознака как книга трудная обнаруживает отдельные фактические недочеты и неточности (ср. неточный перевод на стр. 30—31: Διονύσιος Δημοσθένου Ἡρακλεώτης «Дионис, сын Демосфена,

[14] См.: О. Н. Трубачев, Лингвистическая география и этимологические исследования, ВЯ, 1959, 1, стр. 27, со ссылкой на Я. Мелиха; «A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára», főszerk. Benkő L., 3. k., Budapest, 1976, стр. 951.

[15] Там же, 2, стр. 409; обо всех этих словах, кроме венгерского, см. у В. П. Нерознака, стр. 205.

[16] См., вслед за Х. Педерсеном и Г. Краэ, «Этимологический словарь славянских языков», 2, М., 1975, стр. 101.

[17] См.: Chr. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, Berlin, 1961, стр. 626.

[18] Ср. и его «Этимологический словарь картвельских языков», М., 1964, стр. 66.

[19] M. Mayrhofer, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, I, Heidelberg, 1956, стр. 205.

Гераклеота», надо: «...сын Демосфена, гераклеот»; стр. 74: лат. *cura* «забота» связывается с и.-е. **k'eur-*, но ср. др.-лат. *coiraverunt*, пелигн. *coisatens* «curaverunt», т. е. индоевропейский дифтонг *oi̯/ei̯*), имеется ряд опечаток, но они нисколько не заслоняют важности и значительности этого исследования.

Трубачев О. Н.

М. Г. Булахов. **Восточнославянские языковеды.** Биобиблиографический словарь. II (*А—К*), 1977, 352 стр.; III (*Л—Я*), 1978, 384 стр.— Минск, изд-во Белорусского гос. ун-та им. В. И. Ленина.

Рецензируемые второй и третий тома продолжают и завершают подготовленный М. Г. Булаховым биобиблиографический словарь о восточнославянских языковедах; они в основном построены так, как и первый том [1]. Во втором томе 82, а в третьем 89 статей о деятельности лингвистов примерно с 80-х годов XIX в. до середины 70-х годов нашего века. В конце третьего тома как дополнение к первым двум дана еще 51 статья.

Изданный трехтомник содержит обширнейшую информацию о жизни, трудовой деятельности и научных работах 353 восточнославянских языковедов с XVI в. по настоящее время; представленные в нем бóльшие или меньшие статьи-очерки об отдельных авторах все вместе довольно рельефно и полно воссоздают историю становления и дальнейшего развития науки о восточнославянских языках, славистики в целом и теоретической лингвистики, историю выделения отдельных ее отраслей, направлений, историю применяемых методов и аспектов исследования; показывают, как много отечественные ученые внесли в сокровищницу мировой науки. Подготовка этого фундаментального справочника требовала от его автора напряженной и очень сложной работы по сбору различных данных, рассыпанных по сотням изданных у нас и за рубежом монографий, сборников, справочников и журналов, систематизации и изучению этих данных. И приятно констатировать, что эта колоссальная работа осуществлена М. Г. Булаховым в основном успешно и качественно.

Существенным достоинством рецензируемых томов является то, что в них по сравнению с первым томом, во-первых, значительно полнее привлекаются материалы иностранных источников, в частности славистических журналов и т. д., изданных как в славянских, так и неславянских странах, а во-вторых, намного шире используются архивные данные, в том числе и семейные архивы.

Трехтомник М. Г. Булахова — это и важный научный труд, в котором систематизируется, обобщается, оценивается и подытоживается большая сложная и многообразная работа многих поколений восточнославянских языковедов; но вместе с тем это и очень важное и весьма полезное практическое пособие, которым сразу же после его выхода из печати стали широко пользоваться преподаватели вузов, студенты, учителя и вообще все те, кого интересует история отечественного славяноведения.

Как и первый том, рецензируемые части справочника М. Г. Булахова содержат много оригинальных статей-очерков, дающих новую информацию, массу интересных подробностей и деталей, удачных обобщений, заключений и т.д. Эти статьи являются как бы конденсированными монографиями, довольно полно и объективно дающими представление о личном вкладе того или иного ученого в науку, о роли и месте его в истории языкознания. К числу лучших мы бы отнесли очерки о И. К. Белькевиче, В. А. Богородицком, Е. Ф. Будде, Л. А. Булаховском, И. А. Василенко, В. В. Виноградове, Н. Т. Войтович, Е. М. Галкиной-Федорук, В. Н. Добровольском, Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинском, В. М. Истрине, Е. Ф. Карском, М. И. Касперовиче, П. С. Кузнецове, Б. А. Ларине, Т. П. Ломтеве, Т. В. Назаровой, С. П. Обнорском, С. И. Ожегове, Л. И. Ройзензоне, А. М. Селищеве, Д. Н. Ушакове, Л. В. Щербе и др. Но, к сожалению, рассматриваемый справочник очень неровен. В нем содержатся статьи, которые в основном пересказывают сведения кратких некрологов (ср. статью об А. М. Иорданском с некрологом в ФН, 1975, 1, стр. 126, или статью об А. Н. Суровцеве и некролог в РЯШ, 1976, 5, стр. 117 и др.).

Важно отметить, что автор специально обращает внимание на оригинальное в той или иной мере освещение важных и сложных общих проблем или вопросов; ср., например, довольно подробное изложение и комментирование взглядов на вопрос о характере древнерусского литературного языка в статьях о В. В. Виноградове, Б. А. Ларине, С. П. Обнорском и Л. П. Якубинском. Читатель таким образом получает довольно четкое представление об истории разработки и изучения таких проблем.

[1] См. нашу рецензию: ВЯ, 1977, 5, стр. 132.

Правильно делает М. Г. Булахов, когда при характеристике научного наследия какого-то ученого более или менее подробно характеризует его важнейшие труды, основные теоретические положения, обобщения, выводы, то новое, что внес этот ученый в разработку каких-то вопросов, а менее важные работы только упоминает. Правда, в этом нет четкой последовательности. Например, в нескольких статьях (о Г. О. Винокуре, Б. А. Ларине, С. И. Ожегове и др.) только упоминается «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (I—IV, М., 1935—1940), но нигде нет конкретного анализа или характеристики этого первого советского словаря такого рода, составленного по заданию В. И. Ленина. Вероятно, удобнее всего это было сделать в статье о Д. Н. Ушакове. В статье о П. П. Плюще, считаем, следовало дать характеристику его оригинальной монографии «Нариси з історії української літературної мови» (1958) (переработанный и значительно дополненный вариант ее вышел в 1971 г. под названием «Історія української літературної мови»), которая вот уже около тридцати лет является основным вузовским пособием. Безусловно, необходимо было дать разбор таких трудов А. Е. Крымского, как «Украинская грамматика» (М., I—II, 1907), «Древнекиевский говор» (ИОРЯС, 1906, кн. 4), «Филология и погодинская гипотеза» («Киевская старина», 1898—1899), «Деякі непевні критерії для діалектологічної класифікації староруських рукописів («Науковий збірник, присвячений проф. М. Грушевському», Львів, 1906, стр. 91—153) и некот. др. В словаре не отмечено, что исследование «Филология и погодинская гипотеза» со значительными дополнениями вышло отдельной книгой в Киеве (1904 г.). Интересно было бы остановиться на предложенной А. Е. Крымским классификации украинских говоров на восточную и западную диалектные группы и некоторых других вопросах.

Считаем, что полезно было бы дать хотя бы краткую характеристику трудов: «Галицько-Волинський літопис (Процес складання. Редакції і редактори)» (Київ, 1958), «Галицько-Волинський літопис (Лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості)» (Київ, 1961) А. И. Генсерского, «Спроба пояснити процес зміни *о*, *е* в нових закритих складах у південній групі українських діалектів» (Київ, 1928) Е. Б. Курило и почему-то вообще не упомянутой ее книги «Уваги до сучасної української літературної мови» (изд. II — Київ, 1923; изд. III — Київ, 1925) и ряда других работ (см. об этом ниже).

Довольно обстоятельную характеристику в словаре М. Г. Булахова получили «Смоленский областной словарь» (Смоленск, 1914) В. Н. Добровольского (т. II, стр. 178—180), «Віцебскі краёвы слоўнік» (Віцебск, 1927) Н. И. Касперовича (т. II, стр. 289—290), «Донской словарь. Материалы к изучению лексики донских казаков» (Ростов-на-Дону, 1929) А. В. Миртова (т. III, стр. 89—90), «Словарь народных говоров Западной Брянщины» (Минск, 1973) П. А. Расторгуева (т. III, стр. 162—163), но аналогичные «Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны» (Мінск, 1929) Н. В. Шатерника и «Словник української мови (Екатеринослав, 1920) Д. И. Яворницкого почему-то только упоминаются. Кстати, в очерке о А. В. Миртове не отмечено, что его «Донской словарь» переиздан в ГДР (Лейпциг, 1971).

Заслуживает одобрения сравнительно большая статья о В. И. Ленине, в которой кратко, но довольно полно излагаются важнейшие ленинские высказывания, касающиеся языкознания и языка. Правда, нам кажется, что нелишним было бы подробнее рассказать о борьбе В. И. Ленина и большевистской партии с притеснениями украинского литературного языка в дореволюционное время и заботе о его развитии после победы Октября. В конце статьи (стр. 39) автор пишет, что проект усовершенствованного русского правописания «был разработан еще в предреволюционное время, а утвержден был декретом Советского правительства в 1918 г.». Отметим, что проект утверждался дважды — 23 XII 1917 г. и 13 X 1918 г.

Как положительный факт следует отметить то, что М. Г. Булахов дал довольно подробные справки о менее известных авторах, в частности, о белорусских языковедах, таких, как И. К. Белькевич, Н. Я. Бойков, И. В. Волк-Леонович, К. И. Гурский, Н. И. Касперович, С. М. Некрашевич, Б. Тарашкевич, Н. В. Шатерник и др. Но вместе с тем досадно, что в словаре М. Г. Булахова довольно большое количество пропусков: почему-то нет статей о славистах-русистах Н. С. Антощине, А. И. Белове, В. Н. Перетце, А. Л. Петрове, В. И. Срезневском, В. А. Францеве, Г. А. Шелюто и др.; об украинистах М. Ф. Болтенко, М. Гладком, П. Гладком, В. Н. Гнатюке, Г. Голоскевиче, П. И. Горецком, Е. М. Дмитровском, М. Драй-Хмаре, О. Изюмове, П. П. Кострубе, Н. М. Лелекаче, О. Е. Макарушке, Я. Д. Нагине, К. Т. Нимчинове, П. И. Приступе, Е. Рудницком, П. О. Сабалдыре, С. Смеречинском, К. И. Студинском, М. Ф. Сулиме, М. Ф. Сумцове, И. И. Тараненко, И. Шаля, И. Шаровольском, И. М. Шелудько, В. Ярошенко и мн. др. Все эти авторы представлены в библиографическом указателе «Українська мова» (Київ, 1963), который числится в списке использованных М. Г. Булаховым источников (т. II, стр. 335).

Вероятно, по недосмотру пропущены статьи об украинских писателях-академиках М. Т. Рыльском и П. Г. Тычине, много сделавших в области стилистики, теории и практики перевода, лексикографии, лексикологии, культуры речи и пр.; нет статьи и о писателе В. Самойленко, имеющем интересные языковедческие работы.

В связи со сказанным возникает вопрос, какими критериями руководствовался М. Г. Булахов при определении словника своего биобиблиографического словаря. В самом словаре об этом, к сожалению, ничего не сказано, а остановиться на этом, безусловно, следовало бы.

Думается, что справочник такого типа должен состоять из статей обо всех наших авторах, изучавших какие-либо проблемы восточнославянских языков и оставивших научные труды о результатах своих исследований. Да М. Г. Булахов собственно так и поступает; он дает очерки не только о выдающихся, но и о совсем рядовых тружениках, научное наследие которых весьма скромно. Поэтому совершенно непонятно, почему в словаре такое большое количество пропусков и среди них известных имен.

При подготовке биобиблиографического словаря существенным является вопрос об отборе информации для составления словарной статьи, т. е. сведений, которые составят содержание очерка об ученом, о размере статьи. К сожалению, об этом М. Г. Булахов также ничего не говорит.

Вполне понятно, что статьи-очерки в таком словаре не могут быть одинакового размера, но безусловно, здесь должен соблюдаться какой то критерий: назовем его условно критерием относительной соразмерности. В самой общей форме скажем, что в статье биобиблиографического словаря нужно учитывать все то важнейшее в научном наследии ученого, что внесло что-то новое в дальнейшее познание изучаемых вопросов, что способствовало развитию научных идей того времени, что сохраняет научную ценность и в наше время; конечно, следует принимать во внимание и его научно-организационную работу и пр. Необходимо иметь в виду сам размер словаря, для кого он предназначается, и т. д.

Применяя критерий относительной соразмерности, остановимся на некоторых статьях, которые, с нашей точки зрения, вызывают разные замечания.

Статью о К. Ю. Аппеле следует пополнить следующими сведениями. В 1906—1915 гг. Аппель преподавал языкознание на Высших научных курсах в Варшаве. В 1906 г. был членом и одним из организаторов научного общества в Варшаве. В 1917 г. служил инструктором польских школ Черниговской губ. В 1918—1919 гг. преподавал языкознание в Польском университетском коллегиуме в Киеве. В 1919 г. возвратился в Польшу и был профессором общего языкознания в Варшавском университете, а также чл.-корр. филологического отдела Польской АН. Умер К. Ю. Аппель 16 III 1930 г. Среди трудов ученого можно было бы еще назвать: «Несколько слов о новейшем психологическом направлении языкознания» (Варшава, 1881—1882), «Некоторые общие вопросы языкознания» (Варшава, 1886), «O mowie dziecka» (Warszawa, 1907), «Język i społeczeństwo» (Warszawa, 1908), «Rozwój mowy» (Warszawa, 1912), «Stanowisko językoznawstwa pośród innych nauk» (Warszawa, 1913). Биобиблиографическую часть статьи необходимо пополнить работами: «Polski słownik biograficzny», I, Kraków, 1935 (статья К. Нича); «Автобиография» («Rocznik PAN», 1919); (некрологи) — Prace filologiczne, XV, I (С. Шобер), JP, XV, стр. 61—62 (Я. Розвадовский).

В очерке о П. А. Бузуке следовало бы специально остановиться на его большой статье «Діалектологічний нарис Полтавщини» («Український диалектологічний збірник», кн. II, Київ, 1929, стр. 159—197), которая написана в лингвогеографическом аспекте и в которой впервые в истории украинской диалектологии даны (три) лингвистические карты. Ошибается М. Г. Булахов, когда пишет, что П. А. Бузук на I Международном конгрессе славистов в Праге (1929 г.) «выдвинул идею создания общеславянского лингвистического атласа» (т. II, стр. 55). Эту идею выдвинули и теоретически обосновали А. Мейе и Л. Теньер, которые на этом конгрессе выступали со специальным докладом «Proje d'un atlas linguistique slave» [2]. На этом же конгрессе П. А. Бузук сделал доклад «Лінгвістычная географія як дапаможны мэтод пры вывучэньні гісторыі мовы» [3]. П. А. Бузука следует считать не только белорусским языковедом, как утверждает М. Г. Булахов (стр. 55), но и украинским.

В статье о М. С. Возняке следовало бы указать следующие его языковедческие работы: «Філологічні праці Івана Могильницкого» (Українсько-руський архів, V, Львів, 1910, 240 стр.); «Розвідки Івана Вагилевича про українську мову» [У століття «Зорі» Маркіяна Шашкевича (1834—1934), II, Львів, 1936, стр. 258—324], «До історії видання Номисової збірки „Українські приказки, прислів'я і таке інше" СПб., 1864», ЗНТШ, 88, 1909, стр. 159—180; «Буквар Ос. Лозинського з 1838 р.», ЗНТШ, 91, 1909, стр. 160—164; «Український господарчий порадник з 1788 р.», ЗНТШ, 122, 1915,

[2] См.: «Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929, svazek II. Přednášky», Praha, 1932, стр. 592—593.

[3] Там же, стр. 458—475. Кстати, эта большая, интересная и богатая фактами статья П. А. Бузука почему-то вообще не упоминается М. Г. Булаховым.

стр. 37—78. Библиографическую часть статьи следует пополнить работой: «Українські письменники. Біобібліографічний словник», 4, Київ, 1965, стр. 206—210.

В статье о Д. К. Зеленине целесообразно было упомянуть его монографию «Russische (ostslavische) Volkskunde» (Berlin, 1928), которая содержит важный лингвистический материал и интересные наблюдения. В очерке о Г. А. Ильинском важна была хотя бы краткая характеристика оставшегося в рукописи его этимологического словаря славянских языков (см. ВЯ, 1957, 6, стр. 91—96).

В статье о С. М. Кульбакине важно было упомянуть его интересную работу «Праслов'янське *у(ы)*» («Філологічний збірник пам'яті К. Михальчука», Київ, 1915, стр. 46—53). По поводу рассматриваемой здесь проблемы, как известно, дискуссия продолжается и в наше время (работы З. Штибера и др.).

В статье о В. А. Погорелове не отмечаются его труды после 1916 г.: «Написание греческих слов в кирилло-мефодиевском переводе евангелия («Slavia», 1928—1929, ročn. 7, стр. 871—884)», «Формы греческих слов в кирилло-мефодиевском переводе евангелия» («Byzantinoslavica», ročn. II, 1930), «На каком языке были написаны так называемые Паннонские Жития?» («Byzantinoslavica», ročn. IV, 1932), «Употребление грамматического члена в говоре Киевской Руси домонгольского периода» («Сборник в чест на проф. Л. Милетич...», София, 1933, стр. 169—179), «Die russische Nestorchronik und Slowakei» («Carpatica Slovaca», I—II, Bratislava, 1943—1944, стр. 195—199) и др. Не упоминается книга В. А. Погорелова «Карпаторусские этюды» (Братислава, 1939), состоящая из двух отдельных работ — «Литературная деятельность Михаила Лучкая, карпаторусского писателя нач. XIX века» и «Болгаризмы в карпаторусских говорах». Последняя работа вызвала довольно оживленную дискуссию, в которой приняли участие М. Фасмер, И. Панькевич, Э. Балецкий, К. И. Галас и др.

Дополнений требует и статья о П. К. Симони. Здесь следовало бы указать его труды: «Русский язык в его наречиях и говорах. Опыт библиографического указателя трудов, касающихся русской диалектологии и истории русского языка с присоединением указаний на исследования, издания и сборники памятников народного творчества. I. Великорусское наречие. Труды по диалектологии, исследования по народному великорусскому языку, словари, программы, библиография», ИОРЯС, I, 1896, кн. 1, стр. 117—178; кн. 2, стр. 400—437 и отд. оттиск; «Мнение митрополита Евгения (Болховитинова) о русских наречиях, изложенное в частном письме к академику П. И. Кеппену (1 октября 1820 г.), ИОРЯС, I, 1896, стр. 396—399; «Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетия», сб. ОРЯС, LXVI, 1899, № 7 и отд. оттиск; «Программа для собирания русских пословиц, поговорок, острот, прозвищ, загадок и т. д.» (издана Отделением этнографии Русского географического общества, СПб., 1898, стр. 4). Важно вспомнить также его ценные дополнения к «Истории славянской филологии» И. В. Ягича (СПб., 1910, стр. 921—932) и др.

Важно было также сказать об исследовании и научном издании ученым «Слова о полку Игореве» по копии XVIII в. из бумаг Екатерины II («Древности. Труды имп. Московского археологического общества», XIII, 2, М., 1890, стр. 16—46), о его продолжении (после смерти акад. К. П. Бестужева-Рюмина) издания Онежских былин Гильфердинга и, конечно, о капитальных и оригинальных исследованиях по истории книжного дела [«Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси... с XI-го по XVIII ст.» (СПб., 1903); «Мьстиславово евангелие начала XII в. (памятник киевской письменности) в археологическом и палеографическом отношениях» (СПб., 1904)] и др.

Научное наследие А. Н. Синявского заслуживает, чтобы о нем было сказано более детально. Считаем, что следовало бы не только назвать, но и прокомментировать его обстоятельную теоретическую статью «З української діалектології (Про фонематичний принцип у діалектології)» («Український діалектологічний збірник», кн. II, Київ, 1929, стр 231—273), в которой автор призывает к изучению звукового состава украинских говоров на фонематическом уровне и настоятельно рекомендует применять инструментальные методы исследования. Книга А. Н. Синявского «Норми української літературної мови» (Харьків—Київ, 1931, 367 стр.) была переиздана в 1941 г. Важно было бы вспомнить о большой работе А. Н. Синявского по упорядочению украинского правописания в 20-х гг. Он входил в состав Президиума правительственной комиссии по подготовке проекта полного украинского правописания (комиссия создана постановлением Совета Народных Комиссаров УССР от 25 VII 1925 г.), в 1926 г. отредактировал подготовленный проект для печати; входил в состав редколлегии бюллетеня «Український правопис. Дискусійний бюлетень» (вышло пять номеров как приложение к газете «Вісті ВУЦВК»), в котором обсуждался проект нового украинского правописания в порядке подготовки его к утверждению на Общеукраинской харьковской орфографической конференции, состоявшейся в мае—июне 1927 г.

В очерке о Е. К. Тимченко следовало бы вспомнить еще его работы: «Льокатив

речівниковий в українській мові», ЗНТШ, 141—143, 1925, стр. 1—17; «Огляд наукових праць К. Михальчука», «Філологічний збірник пам'яті К. Михальчука», Київ, 1915, стр. 5—17; «К вопросу о рефлексах праслав[янского] * ę в северноукраинских говорах», в кн.: «Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского», ОРЯС, 101, Л., 1928, стр. 476—478; «Слов'янська одність і становище української мови в слов'янській родині», «Україна», 1924, 3, стр. 3—9; «Desiderata в справі нашого правопису», «Україна», 1925, 4, стр. 188—191; «Язикознавство», «Україна», 1928, 3, стр. 128—134»; «Язикознавство», «Україна», 1929, 36, стр. 130—135. (В последних статьях — обозрение изданий по вопросам украинского языкознания за 1927—1928 гг.). В разделе о переводческой деятельности ученого стоило бы сказать об осуществленном им впервые переводе на украинский язык карело-финского народного эпоса «Калевала» (Львів, 1901), а также о его переводах Метерлинка, Гюго, Мопассана и др. Важно было бы сказать о его содержательных рецензиях на труды других языковедов и о его большом рукописном наследии. Книга Е. К. Тимченко «Льокатив в українській мові» вышла не в 1924 г., как указано на стр. 229, а в 1925 г.

Значительно полнее, по нашему мнению, должны были бы быть статьи о И. Г. Голанове, Н. К. Грунском, М. Я. Калиновиче, А. И. Яцимирском, И. Г. Верхратском, И. Н. Лобойко и некот. др.

М. Г. Булахов учел наши замечания (см. ВЯ, 1977, 5, стр. 133) и пожелания других рецензентов первого тома относительно пропусков и в конце третьего тома дал дополнения, состоящие из 51 статьи-очерка. Остановимся на некоторых моментах этих дополнений.

В статье об А. С. Афанасьеве-Чужбинском нет дат рождения и смерти, отсутствуют другие биографические сведения, хотя в УРЕ (I, стр. 371), которой пользовался автор (см. т. III, стр. 369), обо всем этом довольно подробно сказано. Даты жизни и смерти 12 III 1817—18 IX 1875; украинский и русский писатель, этнограф. Родился в Лубнах Полтавской губ. в дворянской семье. Образование получил в Нежинской гимназии высших наук. Продолжение его «Словаря малорусского наречия» (*К—П*) сохраняется в рукописном фонде Библиотеки АН СССР в Ленинграде (№ 32.14.В). Полезно было бы вспомнить интересные «Воспоминания о Т. Г. Шевченко» («Русское слово», 1861, 5) и его этнографические труды: «Поездка в Южную Россию. Ч. I. Очерки Днепра; Ч. II. Очерки Днестра», СПб., 1861 (2-е изд.— СПб., 1863); «Очерки охоты в Малороссии» (СПб., 1855) и др.

В библиографической части статьи об А. С. Афанасьеве-Чужбинском необходимо указать его «Собрание сочинений в девяти томах» (СПб., 1890—1893) и пополнить работами: УРЕ, I, 371; М. М. Пилинський, Українські рукописні словникові матеріали в бібліотеках і архівах Ленінграда, «Лексикографічний бюлетень», IX, Київ, 1963, стр. 75—76; М. П. Гнатюк, Олександр Афанасьев-Чужбинський, «Радянське літературознавство», 1972, 6, стр. 38—50.

В очерке об И. Н. Вагилевиче не отмечено его работ: «Huculowé. Obywatelé wýchodního pohoří Karpatského», «Časopis Českého Muzeum», roč. XII (1838), стр. 475—498; roč. XIII (1839), стр. 45—68 и в переводе на польский язык в журнале «Przegląd naukowy literaturze, wiedzy i umnictwu poświecony» (Варшава, 1844, II, стр. 161—177; IV, стр. 73—85), на русский язык в журналах «Сын отечества» (1842, III, стр. 1—31), «Пантеон» (СПб., XXI, кн. 5, отд. III, стр. 17—56); «Bojkowe. Lid ruskoslowenský w Haličích», «Časopis Českého Muzeum», roč. XV (1841), стр. 30—72; «Wywód początków Słowian od Trako-illirów», «Biblioteka warszawska», 1852, кн. IV, стр. 528—550; «Związek dziejów polskich z morawskiemi», «Dziennik Literacki», Lwów, 1854, №№ 9, 12; [Грамоты с примечаниями И. Вагилевича], Dodatek tygodniowy przy «Gazecie Lwowskiej», Lwów, 1857, №№ 7, 8, 11—14, 16, 17, 19, 22—24, 31, 32, 34, 36, 38—42, 44—46.

Необходимо хотя бы кратко остановиться на богатом и интересном рукописном наследии И. Вагилевича, в частности, на его многоплановой монографии «Rozprawy o języku południoworuskim» (1841—1843 гг.), на рукописных словарях и пр. Важно было бы также отметить, что И. Вагилевич был одним из основных редакторов второго издания известного труда С. Б. Линде «Słownik języka polskiego» (I—VI, Lwów, 1854—1860).

Библиографическую часть статьи о И. Н. Вагилевиче следовало бы пополнить работами: Н. Попов, Письма к М. П. Погодину из славянских земель, М., 1879; М. Возняк, У століття «Зорі» Маркіяна Шашкевича (1834—1934), Нові розшуки про діятельність його гуртка, II, Львів, 1936, стр. 258—324; S. O. Semcinsky, Un dictionar românesc din prima jumatăte a secolului al XIX-lea in Ucraina, XIIe Congrès international de linguistique et philologie romanes. Rapports et communications, 1968, стр. 132—133; его же, Элементы венгерского происхождения в «Дакийском словаре» Ивана Вагилевича, «Slavica», X, Дебрецен, 1970, стр. 115—117; О. Петраш, «Руська трійця». Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Літературні портрети, Київ, 1972, стр. 82—105.

В статье о Я. Ф. Головацком следовало бы упомянуть еще и такие важные труды ученого, как книги: «Хрестоматия церков-

но-словенска и древно-русская в пользу учеников высшей гимназии в цес[арской] кор[олевской] австрийской державе», Львов, 1857, 352 стр.; «Памятники дипломатического и судебно-делового языка русского в древнем галицко-володимирском княжестве и в смежных русских областях в XIV и XV столетиях», Львов, 1867, 68 стр.; «Очерк старославянского баснословия, или мифология», Львов, 1860, 152 стр.; статьи: «Дещо о діловом язиці у нас на Русі», «Зоря галицька», 1850, 17; «Несколько слов о Библии Скорины и о рукописной русской библии из XVI стол., обретающейся в библиотеке монастыря св. Онуфрия во Львове», «Науковый сборник», изд. лит. общ-вом Галицко-русской Матицы, вып. IV, Львов, 1865, стр. 225—256 и отд. оттиск; «О костюмах, или народном убранстве русинов или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии», «Отечественные записки», CILXXVII, 1867, № 1, стр. 471—503; № 2, стр. 810—844; «Об исследовании памятников русской старины, сохраняющихся в Галичине и Буковине», «Труды первого археологического съезда в Москве 1869 г.», М., 1871, стр. 219—242 и отд. оттиск; «Sweipolt fiol und seine kyrillische Buchdruckerei in Krakau, 1491», SWAW, 1876, Juliheft, § 425—448; «О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии», «Записки имп. Русского географического общества по отделению этнографии», VII, 1877, стр. 483—565 и отд. оттиск; «Обозрение славяно-русской письменности и народного образования в Червоной Руси до занятия Галиции и Лодомерии австрийским кордоном», Литературное приложение к «Червоной Руси», Львов, 1889, №№ 1—8.

Важно было бы остановиться и на рукописном наследии Я. Ф. Головацкого, в частности, на его очень ценном украинско-русском словаре 1857—1859 гг. (буквы *А — З*), который весьма высоко оценивал А. А. Шахматов [4].

Библиографию о Я. Ф. Головацком следовало бы пополнить работами: К. Студинський, Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835—49, Львів, 1909; его же, Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850—1862, Львів, 1905; А. А. Москаленко, Нариси історії української діалектології, Одеса, 1961, стр. 10—13; О. Петраш, «Руська трійця». Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Літературні портрети, Київ, 1972, стр. 106—149. В научно-биографической части статьи о Я. Ф. Головацком можно было указать, что он был чл.-корр. Королевского чешского общества наук в Праге.

О Е. И. Калужняцком следовало еще сказать, что он исследовал влияние церковнославянского языка на румынский, изучал и издавал не только памятники древнеукраинского языка, как пишет М. Г. Булахов (т. III, стр. 338), но и древнеболгарского (произведения болгарского патриарха XIV в. Евтихия). Среди трудов Е. И. Калужняцкого, которые сохраняют научную ценность и в наше время, следовало еще указать: «Кирилловское письмо у румын», «Энциклопедия славянской филологии», 4, II, Петроград, 1915, стр. 22; «Über die Wanderungen der Rumänen in den dalmatischen Alpen und den Karpathen» (Вена, 1879) (в соавторстве с Ф. Миклошичем). Занимался Е. И. Калужняцкий и изучением украинского языка; в 1849 г. он издал работу «Die ruthenische Sprache und Literatur».

В статье о А. Л. Метлинском автор пишет: «В 1925 г. было установлено, что М[етлинский] был составителем рукописного „Словаря малороссийского наречия сравнительно с другими славянскими наречиями“» (т. III, стр. 343). Это досадная ошибка. М. Г. Булахов в библиографической части статьи о А. Л. Метлинском хотя и называет труд А. Я. Лященко 1925 г. «Украинский рукописный словарь 1835 г.», в котором в осторожной форме высказано только предположение, что упомянутый словарь, возможно, составил А. Л. Метлинский, но в действительности идет за А. А. Москаленко и П. И. Горецким, которые предположение А. Я. Лященко представляют уже как утверждение. В 1977 г. Б. К. Галас убедительно доказал, что А. Л. Метлинский к этому словарю не имеет никакого отношения [5].

Статья об И. Я. Франко слишком поверхностна. Здесь даже не упомянуты его труды по истории языка («Слово о Лазаревѣ воскресенії», монография об И. Вишенском и др.), по изучению и публикации письменных памятников (например, пятитомник «Апокріфи і легенди з українських рукописів», изданный во Львове в 1896—1910 гг. в серии «Пам'ятки українсько-руської мови і літератури» (тт. I—IV, VI), по ономастике («Причинки до української ономастики», «Науковий збірник, присвячений професорові М. Грушевському», Львів, 1906, стр. 185—218), по фразеологии (трехтомник «Галицько-руські народні приповідки», Львів, 1901—1910), палеографии. Не упоминаются его многочисленные рецен-

[4] См.: «Отчет о присуждении премии П. И. Костомарова за Словарь малорусского наречия. 29 декабря 1905 г.», СПб., 1906, стр. 15—16; см. также: М. М. Пилинський, Українські рукописні словникові матеріали в бібліотеках і архівах Ленінграда, «Лексикографічний бюлетень», IX, Київ, 1963, стр. 76—77.

[5] См.: Б. К. Галас, Рукописні словники першої половини XIX ст.— важливе джерело для вивчення української народної лексики, «XIV республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ, 1977, стр. 81.

зии на языковедческие труды других авторов, ничего не сказано о большой редакционной и научно-организаторской работе И. Я. Франко и т. д.).

В существенном пополнении нуждается биобиблиографическая часть статьи об И. Я. Франко. Отметим только некоторые работы: И. К. Белодед, З. Т. Франко, Иван Франко — борец за единый украинский литературный язык, ИАН ОЛЯ, 1956, вып. 6, стр. 485—495; В. С. Ващенко, Ів. Франко і питання української ономастики, «Наукові записки [Дніпропетровського ун-ту]», 57. Збірник праць істор.-філол. фак-ту, вып. 10, ч. 2, стр. 27—31; І. І. Ковалик, Наукова лінгвістична проблематика в працях Івана Франка, в сб.: «Іван Франко. Статті і матеріали, вып. 12, Львов, 1965; стр. 113—121; С. П. Бевзенко, «Питання української діалектології у працях Франка...; А. А. Москаленко, «І. Я. Франко — історик української літературної мови» ... и мн. др.; см. библиографические указатели «Українська мова» (Київ, 1963), стр. 205—210; «Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР» (М., 1969, стр. 27; М., 1973, стр. 27) и др.

Статья о Л. Чопее нуждается в существенном пополнении. Имя ученого не Ласлов, а Ласло (венг. László, т. е. Василий). Родился он в с. Ромочевица Мукачевского р-на Закарпатской обл. 1 X 1856, умер 23 VI 1934 г. в Будапеште. Окончил Будапештский университет в 1883 г. и получил диплом учителя средней школы; был переводчиком и педагогом. С 1876 г. работал переводчиком; с 1883 по 1925 гг. был преподавателем гимназии в Будапеште. В 1885 г. редактировал «Газету венгерской молодежи». Переводил на венгерский язык труды по естественным наукам и художественные произведения (прежде всего с русского языка — Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др.). Издал ряд учебников для школ Закарпатья.

В 1881 г. в журнале «Nyelvtudomanyi közlemények» (XVI, стр. 270—294) опубликовал содержательную статью «Magyar szók a rutén nyelvben» («Венгерские слова в рутенском языке», т. е. в украинских закарпатских говорах), в которой рассматривает 487 гунгаризмов (450 апеллятивов и 37 зоонимов). Статья эта ознаменовала начало исследований венгеро-славянских языковых связей. Труд Л. Чопея «Русько-мадярский словарь» (Будапешт, 1883) был удостоен премии Фекейхазия Венгерской АН.

Библиографию о Л. Чопее следует пополнить работами: А. А. Мокань, Из истории исследования венгерских заимствований в закарпатских украинских диалектах, «Уч. зап. [ЛГУ]», 335. Серия филол. наук, 71 (Вопросы финно-угорской филологии, вып. 2), Л., 1969; Й. Дзендзелівський, Стан і проблеми дослідження українських говорів Закарпатської області УРСР та Східної Словаччини, «Жовтень і українська культура», Пряшев, 1968; «Magyar életrajzi lexikon», I, Будапешт, стр. 323.

В статье о К. В. Шейковском не упомянуты работы: учебник для воскресных школ «Домашняя наука» (Киев, 1861), научные исследования «Славянский вопрос в русской науке» (Бобруйск, 1876), «Филологические заметки» (Казань, 1887), «О фонетических свойствах южнорусского языка», «Мовознавство», 1969, 3, стр. 53—63; Сборник народных сказок и поговорок (Бобруйск, 1871), о переводе «Слова о полку Игореве» (Казань, 1885) и др.

В рецензируемом словаре нет четкой последовательности употребления принятых сокращений используемых изданий. Например, во втором томе: ИОРЯС (стр. 230) и ИОРЯС АН (стр. 33) или Изв. имп. АН Отд. русск. яз. и слов. (стр. 64); ИОРЯС АН СССР (стр. 35) и Изв. АН СССР, ОРЯС (стр. 64); Arch. f. sl. Philol. (стр. 230, 232) и Arch. f. slav. Philol. (стр. 230) и полное название журнала Archiv für slavische Philologie (стр. 32); ZslPh (стр. 184, 189, 191) и Z. f. sl. Philol. (стр. 64, 183) или Z. für sl. Philol. (стр. 44); RÉsl (стр. 183, 190) и Rev. des Étud. slaves (стр. 44); Зап. ІФВ УАН (стр. 172) и Зап. історично-філол. УАН (стр. 234) или Зап. історично-філол. відділу ВУАН (стр. 235); ЈФ и полное написание — Јужнославенски филолог (стр. 64), УДЗ (стр. 178) и полное написание — Український діалектологічний збірник (стр. 58, 335) и т. п. Думаем, что вообще можно было применить более экономную систему сокращений, примерно такую, как в библиографическом указателе «Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР» (М., 1963, 1969, 1973).

Нет последовательности и в том, что при одних названиях упоминаемых работ автор дает указание на их размер (указывает страницы), а при других такие сведения отсутствуют, см. стр. 9, 12, 47 и др.

Словарь тщательно вычитан, но иногда (преимущественно в иностранных и украинских написаниях) встречаются недосмотры: РВФ (стр. 64, вм.: РФВ), RÉsl (стр. 235, вм.: RÉsl), Jeden z úkolú («Slovansky...») (стр. 234, вм.: Jeden z úkolů («Slovanský...»), Життєпис... Кримського (стр. 305, вм.: Життєпис) и т. д.

Ценность отраслевого биобиблиографического словаря определяется и количеством сообщаемых частностей и деталей, касающихся биографии и научной деятельности ученых — о времени и месте рождения и смерти, учебы, национальности, общественной деятельности, условий жизни и т. п. Рецензируемый труд в этом отношении дает довольно обширную информацию, но ее могло бы быть и несколько больше. Во многих статьях, к сожалению, отсутствуют точные даты

(число, месяц) рождения и смерти исследователей (см. статьи о Е. Ф. Будде, Ю. Р. Гепнере, М. Г. Долобко, С. А. Еремине, В. М. Иллич-Свитыче, Г. А. Ильинском, А. М. Иорданском, М. Д. Мальцеве, Н. Н. Соколове, П. Я. Черных и мн. др.).

Наши замечания касаются преимущественно частностей и не могут оказать серьезного влияния на общую высокую оценку рецензируемого справочника, который имеет важное и научное, и практическое значение. Словарь М. Г. Булахова выпущен небольшим тиражом, который сразу же разошелся, поэтому скорейшее его переиздание было бы весьма желательно.

Дзендзелевский И. А.

«Памятники русской письменности XV—XVI вв. Рязанский край». Издание подготовили С. И. Котков, И. С. Филиппова. Под ред. С. И. Коткова.— М., «Наука», 1978. 190 стр.

Исследователям русского языка известно большое количество источников по истории русского языка, изданных под ред. С. И. Коткова в Институте русского языка АН СССР. Это многочисленные издания разных жанров как письменного языка, так и разговорной речи, начиная с 1076 г. («Изборник 1076 г.») и кончая «Вестями-Курантами» и «Грамотками» XVII — нач. XVIII вв.

Среди всех этих изданий особое место принадлежит документам, созданным на территории южнорусского наречия. Это обстоятельство связано с тем, что в силу исторически сложившихся условий большинство памятников русской письменности до XVII в. было создано и сохранилось на территории севернорусского наречия. И поэтому изучение и описание процессов, происходивших в русском языке в ранние периоды, и следовавшие из этого выводы относительно всего русского языка базировались преимущественно только на памятниках северновеликорусской письменности. Как показали разыскания сотрудников Института русского языка АН СССР, существует много документов, созданных на территориях южнее Москвы и отражающих особенности южновеликорусского наречия. Эти документы дают возможность более точно и полно представить состояние русского языка того периода, который отражен в них. Первые южновеликорусские документы XVI—XVIII вв. были опубликованы в книге С. И. Коткова «Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII веков» (М., 1970). Затем было предпринято специальное издание «Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги» (М., 1977), которое подготовили С. И. Котков и Н. С. Коткова.

Публикация памятников письменности делового содержания, а к ним и относится рецензируемая книга, имеет большое значение для изучения истории русского языка. Особенно это важно для такой территории, как Рязанский край, говоры которого сочетают черты северно- и южновеликорусские, а русское население находится в тесном контакте с носителями неродственных языков, например, мордовского, что находит свое отражение и в языке рязанских документов.

Издатели хорошо понимали это, приступая к сбору и обработке деловых документов Рязанского края. Во «Введении» они пишут: «Решение многих важных вопросов развития русской речевой культуры органически связано с изучением старинной письменности центральных областей, в том числе и Рязанской. Источники, приуроченные к рязанским местам, могут осветить былое состояние говоров этой территории и былое взаимодействие в ее черте южно- и северновеликорусской стихий, существенно пополнить наши сведения об общем русском языке в определенный период его истории» (стр. 3).

В рецензируемую книгу вошли 50 рязанских текстов XV—XVI вв., дошедших до нас в подлинниках, и 34 текста XV—XVI вв., сохранившихся в списках XVI—XVII столетий. Публикуемые материалы находятся в самых различных хранилищах нашей страны: в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, в Центральном государственном архиве древних актов, в Отделе письменных источников Государственного исторического музея, в Ленинградском отделении Института истории АН СССР, в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Центральном государственном историческом архиве, в Государственном архиве Рязанской области. Некоторые из документов пришли в негодность (обветшали, тексты выцвели и т. п.), и для их прочтения, для восстановления утраченного текста приходилось проводить фотоанализ. Совершенно очевидно, что для выявления, собирания воедино рязанских текстов XV—XVI вв. и их издания составителям книги пришлось проделать большую и кропотливую работу.

Правомерно включены в книгу документы, относящиеся к территории бывшего Коломенского уезда, которая исторически была связана с Рязанским краем. Город Коломна впервые упоминается в

летописи под 1177 г. записи как рязанский город. В языковом отношении территория бывшего Коломенского уезда имеет больше сходства с Рязанским краем, а не с бывшим Московским княжеством. Так современные русские народные говоры населенных пунктов Коломенского района, преимущественно южнее р. Оки, имеют общие черты с рязанскими говорами. Их объединяют аканье, яканье, неразличение гласных неверхнего подъема после мягких согласных и некоторые другие фонетические черты; в области морфологии, например, наличие форм 3-го лица глаголов на *-т'* и без *-т*. В области лексики их объединяют общие слова, обозначающие, например, постройки для хранения зерна (*амбар*, не *житница*); осенние всходы хлебных злаков (*зе́лень*, *зе́лени*, *зеленя́*, не *о́зимь*, *о́зими*, *озимя́*) и др. (см.: «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», М., 1957).

Многие из вошедших в рецензируемый сборник документов были опубликованы в конце XIX в. нашими историками и архивистами (перечень предшествующих изданий текстов дается во «Введении», стр. 5). Однако, как известно, эти издания абсолютно не отвечают лингвистическим требованиям, и поэтому работа лингвистов с ними была затруднительной, а в некоторых случаях (например, при изучении историко-фонетического и морфологического строя нашего языка) и невозможной. Подготовленное собрание документов адресовано прежде всего языковедам и осуществлено на основе принципов лингвистического издания скорописных текстов, разработанных в Секторе.

Каждый документ датируется, приводится его издание, указывается место его хранения и печать, которой удостоверяется его подлинность. Затем идет сам текст; после текста дается информация о том, где и когда он публиковался, и примечания относительно сохранности текста и самого документа, например:

1506 г. декабря 1.— Данная и отводная грамота великой княгини рязанской Аграфены игуменье Аграфениной пустыни Покровского монастыря Аграфене на село Белыничи-Татариново с деревнями и землями у реки Осетра близ Зарайска.

ГБЛ, ф. 191 (Колл. Муханова), № 73, л. 1—1 об. На отгибе грамоты черновосковая печать с надписью: печать великие княгини ѡгрофѣны.

На л. 1 об.: Списана (XVIII в.); Переславль-Рѣзанской (*XVIII в.*); № 184 (*цифра зачеркнута*) (*XVIII в.*); 190 (*XVIII в.*)

Далее текст грамоты.

Публ.: *Сб. Муханова*, *№ 332*; *АСЭИ*, *т. III*, *№ 346*.

Примечания.

Издание отличает продуманная система передачи особенностей скорописного письма. Положительной чертой рецензируемой работы является проводимое в ней четкое разграничение оригиналов XV—XVI вв. и копийных текстов XVI—XVII столетий. В предшествующих изданиях памятников рязанской деловой письменности это не проводилось, а между тем лингвисту при изучении фонетического и грамматического уровней языка конкретных временных отрезков прошлого важно знать, с каким материалом он имеет дело: с подлинником или со списком, так как списки для исследования указанных языковых уровней не пригодны.

Важным и ценным разделом книги являются указатели. Их три: 1) указатель нарицательных слов, 2) указатель личных имен и 3) указатель географических названий. В приложении помещены снимки отдельных листов издаваемых рукописей. Все это облегчает пользование книгой и свидетельствует о высокой культуре издания.

Рецензируемая книга содержит богатейший материал, по которому можно изучать состояние русского языка преднационального периода, особенности его фонетического строя и грамматической системы, его лексики и фразеологии. Например, исследователи исторической фонетики и морфологии найдут в книге интересный материал по истории чередований заднеязычных со свистящими в основе некоторых имен существительных (с одной стороны, в текстах отмечаем словоформы *дорозѣ*, *рецѣ*, *березѣхъ*, *лузѣхъ*, *саадацѣхъ*, *послуси*, *казацѣх* и др., а с другой стороны — *доводчикѣх*, *приказщикехъ*, *саадакѣ*, в *долгѣх* и т. д.). Диалектологи получат новый ценный материал для изучения фонетической системы рязанских говоров прошлого. Публикуемые тексты отмечают характерные для южновеликорусских говоров случаи аканья (*адин*, *двары*, *Федар*, *прадали*, *рыбнаю*, *сорак*, *Иванав* и мн. др.), яканья (*поѣдтя*, *выляжет*, *Григорявной* и др.), встретился один пример прогрессивного смягчения задненебного *к*: *Васкя*.

Данная книга будет особенно интересной для лексикологов. Известно, что в существующих словарях русского языка И. И. Срезневского, А. Л. Дювернуа, Г. Е. Кочина лексика XV—XVI вв. представлена довольно ограниченно. Публикуемое издание в некоторой степени восполняет этот пробел. В книге широко представлены юридическая терминология, наименования лиц по специальному положению, разнообразная бытовая лексика. Крайне интересный материал содержит рецензируемое издание по местной географической лексике Рязанского края XV—XVI вв. Здесь и наименования различных земельных угодий, особенностей рельефа земельной поверхности, многочисленных водных источников. Приведем некоторые примеры: *колодезь*, *корь*, *лоск*, *вершина*, *верх*, *ржавец*, *буровина*, *погон*, *осек*, *пропастище* и мн. др.

Лексический материал, содержащийся в публикуемых рязанских документах XV—XVI вв., в отдельных случаях пополняет уникальную Картотеку ДРС. Например, в Картотеке ДРС на буквы *б* и *в* отсутствуют три слова (*бортеный*, *бугровина*, *взодрати*), зафиксированные в изданных документах.

Рязанские памятники XV—XVI вв. расширяют и уточняют наши сведения о географии некоторых слов. Например, наличие слова *колодезь* в грамоте № 12 расширяет границы бытования этого слова далеко на север (по сравнению с Орловской и южными районами Тульской обл.). Территория Рязанского края — восточная окраина раннего славянского поселения. Это отражается и в лексике; некоторые общеславянские слова (терминология рельефа и т. д.) на этой территории в XV—XVI вв. вышли из активного употребления: *дебрь*, *дол*, *лог* или еще не появились — *лощина*. Зато развились и употреблялись своеобразные «новообразования»: *враг*, *корь*, *лоск*, *осек* (*осяк*) и др.

В заключение выскажем несколько замечаний.

1. Рецензируемая книга несомненно привлечет внимание не только лингвистов, но и историков, географов, всех, кого интересует прошлое Рязанского края, поэтому считаем целесообразным в списке нарицательных имен к наиболее редким, «старинным» словам или местным локализмам указывать значения. Это в значительной степени облегчит пользование материалом. Например, составители «Воронежских актов XVII в.» (Воронеж, 1887—1891 гг.) снабжали свои сборники «Словариками старинных слов».

2. В текстах грамот имеется очень много микротопонимов — названий пашен, нив, меж, омутов и т. д., но некоторые из них почему-то даны со строчной буквы, хотя существует традиция подачи их с прописной буквы, как и всех прочих географических названий (см. предыдущие издания грамот Рязанского края): *верх кривой*, *беззубовское поле* и др. Приводя эти названия со строчной буквы, издатели берут на себя смелость не считать данные слова географическими названиями. Таким образом, практически исчезает класс слов-микротопонимов. Целесообразно было бы дать все микротопонимы с прописной буквы, как это делалось и делается в подобных изданиях.

Указанные замечания ни в коей мере не снижают самой высокой оценки рецензируемой книги, которая, несомненно, будет способствовать дальнейшему изучению русского языка и явится существенным вкладом в теорию и практику отечественного лингвистического источниковедения. Будем надеяться, что за «Памятниками русской письменности XV—XVI вв. Рязанский край» последуют публикации рязанских документов XVII—XVIII вв., а также собрания текстов других южнорусских территорий, в которых так нуждается наша лингвистическая наука.

Смолицкая Г. П., Хитрова В. И.

Т. М. Николаева. **Фразовая интонация славянских языков.** — М., «Наука», 1977. 278 стр.

Книга Т. М. Николаевой — значительное явление не только в теории интонации, не только в изучении славянских языков, но и в общем языкознании. С первой же страницы читатель вводится в круг самых существенных вопросов теории интонации, которые решаются, с одной стороны, на основе исследования автором большого фактического материала, с другой — на основе ясной общелингвистической позиции. Широкая общелингвистическая эрудиция автора дает возможность прийти к решению некоторых «вечных» проблем интонации, что существенным образом отличает эту работу от многих других как в советской, так и зарубежной фонетике.

По интонации написано огромное количество книг и статей, носящих узкий специальный характер, где авторы не связывают рассматриваемый ими материал с актуальными проблемами других областей лингвистики. Исключение составляют работы советских ученых: А. А. Реформатского, Л. Р. Зиндера, Л. В. Бондарко, М. К. Румянцева, а также работы зарубежных лингвистов: Ж. Фора, К. Пайка, Ф. Данеша, П. Леона, Д. Болинджера, М. Ромпортла.

Книга Т. М. Николаевой продолжает лучшие традиции русского языкознания, в котором всегда сочетались тщательность анализа материала с глубиной общетеоретического подхода к фактам языка. Т. М. Николаева в сжатой и наглядной форме дает систематику интонологических концепций, используя дерево признаков. В результате получается шесть основных концепций, которые одновременно отражают и историю развития теории интонации (каждая концепция проиллюстрирована соответствующей работой). Приведем их полностью.

«Итак, по концепции 1, интонация есть факт внелингвистический и в „настоящую“ лингвистику не входит. По концепции 2, интонация — факт лингвистики, но она не может быть представлена в виде

упорядоченной системы из-за недискретности исходных данных и множества переходящих друг в друга вариантов форм. По концепции 3, интонация есть факт лингвистики, упорядоченный, но это не самостоятельный уровень, а часть других языковых уровней (например, фонологии или синтаксиса). По концепции 4, интонация есть автономный упорядоченный набор лингвистических фактов, но это не знаковый уровень в том смысле, в каком под уровнем языка понимается совокупность фактов, состоящая не только из формальных средств, но из корреспондирующих им смысловых единиц, присущих только этому уровню. По концепции 5, интонационный уровень обладает своими формальными и смысловыми специфическими единицами. Он упорядочен, и задача лингвиста — найти ему место в общей иерархической языковой структуре между другими языковыми ярусами. По концепции 6, интонационный уровень упорядочен, обладает своими формальными и смысловыми единицами. Но он представляет собой явление, выпадающее из общей иерархии языковых ярусов, среди которых ему, согласно правилам лингвистической теории, не находится места» (стр. 4).

Анализ специфики интонационного уровня Т. М. Николаева начинает с рассмотрения функций фразовой интонации. Сопоставляя точки зрения разных лингвистов, автор выявляет слабые места предшествующих подходов к функциям интонации. Она совершенно справедливо указывает на неясность категории коммуникативности и как следствие — на неопределенность понятия «коммуникативный тип предложения». В результате анализа автор приходит к следующему выводу: «Таким образом, фразовая интонация обладает тремя лингвистическими функциями: функцией членения (через оформление), функцией связи и функцией передачи смысловых отношений» (стр. 9). Функции интонации являются основанием для включения ее в сферу лингвистических фактов.

Далее автор рассматривает формальную структуру интонационного уровня. Т. М. Николаева дает очень тонкий анализ взаимодействия интонационных параметров в пределах единиц интонации. Последние представлены как в синтагматическом, так и в парадигматическом планах.

Очень существенной, на наш взгляд, является проблема знакового характера интонации, поставленная В. Матезиусом еще в 1937 г. В том же году эти идеи высказывались П. Тростом, но в последующие 30 лет почти никем не разрабатывались. Только в последнее время к ним стали возвращаться после того, как были выделены единицы интонации и определен их лингвистический статус. Т. М. Николаева утверждает наличие содержательной стороны единиц интонации — интонем и показывает специфику этого содержания. В ее трактовке в содержание интонем не входят модальные и эмоциональные оттенки высказывания, и нам кажется, что с этим нельзя не согласиться.

Т. М. Николаева рассматривает соотношение интонационного уровня и других уровней языковой системы, особое внимание уделяя соотношению интонации и синтаксиса. К сожалению, всего лишь один абзац посвящен соотношению интонации и классов слов. Автор полагает, что об этом соотношении «можно говорить как о соотношении на несодержательном уровне» (стр. 24). Представляется неправомерным такое ограничение проблемы. Интонация вступает в сложное взаимодействие с семантикой слова в процессе формирования высказывания и текста, но систематические исследования на эту тему практически отсутствуют.

Важное место в концепции автора занимает раздел «Статус интонационного уровня. Интонация и построение текста». Изучение интонации текста находится в первоначальной стадии своего развития. Это объясняется, с одной стороны, тем, что обработка данных при анализе интонации текста требует необычайно большого времени, с другой стороны, в предшествующий период интонологи были заняты структурными характеристиками интонации фразы и поисками дискретных единиц интонации. Это был необходимый этап в развитии интонационных исследований, но теперь, когда эта тематика практически исчерпана, наступает период новой ориентации в изучении интонации. Этот новый этап так же, как и предыдущий, обусловлен общим направлением лингвистических исследований. Лингвистика текста, например, оказывает все большее влияние на другие области лингвистики и, в частности, на интонологию.

Изучение интонации текста началось в конце 60-х годов с анализа интонации сверхфразовых единств, диалогических единств, состоящих из двух-трех реплик, абзацев и т. д., т. е. небольших по объему отрезков текста. Это направление тесно примыкало к общей тенденции структурного анализа фразы и рассматривало модификации изолированной фразы в потоке речи. В большинстве этих работ текст как концепт не присутствует. 70-е годы характеризуются бурным развитием фоностилистики, в которой основное место заняло описание интонации различных видов текстов: ораторского, поэтического, радиопередач, сценической речи и т. п. Это направление ближе к лингвистике текста, но отличается от последней по своим задачам. В исследованиях такого рода основное внимание направлено на анализ социальной нормы языка,

свободных вариантов интонационных единиц.

В книге Т. М. Николаевой впервые корректно и на высоком теоретическом уровне поставлены вопросы интонации с точки зрения грамматики текста. Автор определяет грамматику текста как состоящую из трех компонентов: 1) содержательных текстовых категорий, 2) текстовых единиц, 3) текстовых средств.

«К *средствам текстовой грамматики* принадлежат: 1) интонация, 2) порядок слов, тектонические средства, 3) эксплицитные сегментные средства (частицы-актуализаторы, возможно, артикли и т. д.). Каждое из этих средств, как и интонация, очевидно, обладает своими формальными и содержательными единицами. Это значит, что каждый комплекс средств упорядочен и организован, однако возможно, что они могут, обслуживая одну и ту же текстовую категорию, находиться в сложных компенсаторных отношениях» (стр. 30—31).

Автор рассматривает категорию связности текста и степень выделенности отдельных смысловых точек при помощи интонации, выдвигая идею о том, что текст неоднороден по степени смысловой обязательности прочтения. Интересна, но спорна гипотеза Т. М. Николаевой о том, что в нехудожественном тексте меньше зон свободного выбора.

Если серьезных теоретических работ по интонации немного, то исследований типологического характера еще меньше. Мы не относим сюда сопоставительные работы по отдельным языкам, так как в них отсутствует собственно типологическая концепция. Можно сказать, что в этом плане книга Т. М. Николаевой уникальна. Прежде чем приступить к собственно типологическому анализу, автор дает краткую оценку современного состояния типологической теории. И, исходя из этого, определяет свои задачи: «Объект нашего исследования — замкнутая и перечислимая группа славянских языков. На этом материале естественным образом получаются все три группы данных — универсалии, типы (пусть нигде не представленные в чистом виде) и, *наконец, индивидуальные* особенности каждого языка» (стр. 37).

Т. М. Николаева приводит перечень вопросов, который является иерархией уровней типологического анализа при сопоставлении фразовой интонации. Первым типологическим уровнем, по ее мнению, является языковое различие по месту интонации в различении функциональных типов предложения. Второй уровень — «это *сопоставление интонационных* систем, рассматриваемых на содержательном уровне» (стр. 38). Здесь автор выдвигает очень существенное положение: «Выявление содержательных категорий в их неразрывной связи с выражающими их формальными единицами и есть, на наш взгляд, основная и конечная задача описания интонационной системы каждого языка» (стр. 38). Третий уровень — это уровень формальных средств, основной задачей при описании которого является определение типов интонационных фигур, не входящих в *основное ядро инвентаря славянских* просодических конструкций. «На следующем этапе сопоставления (при совпадении различаемых содержательных единиц и при общем совпадении формального инвентаря) целесообразно сравнивать языковые интонационные системы по тому, какие именно фигуры соответствуют каким именно единицам плана содержания» (стр. 42—43). Следующий уровень описания касается соотношения нормы и ненормы в разных языках. Шестой уровень — это уровень употребления, т. е. определение того, какой из нормативных вариантов в том или ином языке более употребителен. Последний уровень анализа касается выражения эмоций.

Хотелось бы заострить внимание читателя на этой проблеме. В специальной литературе по интонации имеется большое количество экспериментальных исследований, трактующих интонационные характеристики эмоциональных состояний. В этих работах часто смешиваются лингвистические и экстралингвистические моменты, содержание языковых интонационных единиц неправомерно расширяется, анализ проводится недостаточно корректно. На наш взгляд, точка зрения Т. М. Николаевой представляется единственно верной и адекватно отвечающей языковой и психической реальности.

В той части книги, которую можно назвать экспериментальной, Т. М. Николаева последовательно проводит идеи, изложенные в первых двух главах. Описание охватывает русский, белорусский, украинский, польский, чешский, словацкий, словенский, сербохорватский, македонский и болгарский языки. Все они описаны с точки зрения фразовой интонации, просодии изолированных слов и модификаций словесной просодии во фразе.

Каждый исследователь интонации знает, насколько трудоемкой и требующей огромного количества времени является обработка экспериментальных данных. Тем не менее остается возможность упрека в недостаточности материала. Думается, что оценка должна происходить не по *объему исследованного материала* (в данной книге он очень большой), а по верности его лингвистической интерпретации. *В этом отношении* книга Т. М. Николаевой является образцом для исследователей интонации. Методика анализа, представленная автором, может быть транспонирована и на другие группы языков. В частности, мы имеем в виду анкету, приводимую на стр. 247—250.

Полученные автором типологические характеристики фразовой интонации являются значительным вкладом в изучение славянских языков. Следует отметить, что общие характеристики фразовой интонации для славянской языковой семьи сформулированы впервые. Т. М. Николаевой удалось показать, что на основании этих характеристик языки классифицируются как более близкие и более далекие. Среди общих характеристик Т. М. Николаева описывает мелодику, длительность и силу давления фразы на слово.

Автором установлено, что во всех славянских языках имеется тип восходящей мелодики с высоким ударным и падающими заударными и тип с низким положением ударного слога и с восходящими заударными. Местоименный вопрос имеет два интонационных центра: ударный слог вопросительного слова и конечный ударный слог. Второй центр более продлен, чем первый, но к вопросительному слову осуществляется значительный подъем мелодики и интенсивности. Восклицательное предложение характеризуется более высоким основным тоном, повышенной интенсивностью, увеличенной длительностью и наличием некоторой дугообразной фигуры.

Существенным является утверждение автора о том, что «признание определенной просодической структурированности славянской фразы и синтагмы имеет значение не только для теории фразовой интонации как таковой, но для исследования других языковых явлений, в частности, вопросов историко-лингвистического характера» (стр. 245). Очень интересной представляется гипотеза автора, подтвержденная исследованием, о силе/слабости фразовой интонации. При сильно выраженной фразовой интонации слова как бы растворяются в последней, подчиняясь фразово-интонационным единицам. Из славянских языков ближе всего к этому типу русский язык. Это положение согласуется и с данными исторической фонетики. Кроме того, за такой общей идеей, как сила/слабость фразовой интонации, стоит мысль о большей или меньшей грамматикализованности интонационных структур. Выводы автора приобретают особую полноту и обоснованность, когда Т. М. Николаева привлекает для сопоставления интонационные данные неславянских языков.

Мы охватили далеко не весь комплекс проблем, которые ставятся и решаются в этой книге и изложение которых будет интересно широкому читателю. Специалист же по интонации найдет в ней много тонких и оригинальных наблюдений и интерпретаций языковых фактов.

Книга Т. М. Николаевой может рассматриваться в двух аспектах — она подводит серьезный итог предшествующим теоретическим исследованиям и в то же время открывает новый этап изучения интонации как текстовой категории. Эта книга, несомненно, будет встречена с большим удовлетворением как интонологами, так и общими языковедами.

Торсуева И. Г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1980

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

4—16 июня 1979 г. в Москве состоялось заседание редколлегии «Общеславянского лингвистического атласа» (ОЛА). При обсуждении книги «Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы» (М., 1979) было отмечено:

1. В предисловии на французском языке не указаны в качестве соавторов вступительной статьи, наряду с Р. И. Аванесовым, Я. Белич, Б. Видоэски и И. Кочев. Не указано также, что рукопись вступительного выпуска подготовлена к печати В. А. Пыховым.

2. В фонетической и обобщающей транскрипциях допущено большое количество опечаток, многие из которых объясняются принятой в этом издании офсетной печатью, при которой некоторые диакритические знаки не получились в напечатанных листах.

3. Текст на стр. 39 (строки 10—12 снизу) сформулирован не в соответствии с текстом, утвержденным редколлегией. Эти строки должны быть даны в следующей формулировке: «...словенских и сербохорватских в Италии, македонских в Албании и Греции, болгарских в Турции и Греции (см. сетку населенных пунктов)...».

Было признано необходимым при предполагающемся дополнительном тираже вступительного выпуска ОЛА внести все названные исправления.

Редколлегия отметила, что такой уникальный в истории славистики и языкознания в целом труд, как «Общеславянский лингвистический атлас», получивший международное признание и поддержанный ЮНЕСКО, труд, над которым работают ученые многих стран уже более двадцати лет, заслуживает более высокого полиграфического оформления.

Редколлегия ОЛА выразила надежду, что издательство «Наука» примет во внимание это пожелание при издании следующих выпусков.

Главный редактор «Общеславянского лингвистического атласа»
чл.-корр. АН СССР *Аванесов Р. И.*

CONTENTS

Articles: Klimov G. A. (Moscow). On typological reconstruction; **Discussions**: Domašnev A. I. (Leningrad). West German «language barriers» (Topical problems of sociolinguistics in the FGR); Makovskij M. M. (Moscow). Continuity and discontinuity in the development of language; Kononenko V. I. (Kiev). On the comparative study of syntax in East Slavonic languages; Asfandijarov I. U. (Tashkent). On the general methods of studying two typologically unrelated languages in contact; Maksimov V. I. (Leningrad). Once more on grammatical theory and the practice of language study; **Materials and notes**: Mur'janov M. F. (Moscow). Semantic evolution of the set phrase *насущный хлеб* «daily bread»; Magometov A. A. (Tbilisi). On the development of the class system in Daghestan languages; Vejlert A. A. (Vladimir). Measurement of correspondence of vowel-systems in the German literary standard and an insular dialect; Kostjučenko Ju. P. (Leningrad). On the «syncretism» and meanings of the dative case in Indo-European languages; Grinbaum N. S. (Leningrad). Ancient Greek literary language. The Attic period; Panfilov V. S. (Leningrad). Functional sentence perspective in Vietnamese; **Surveys**: Xušenova S. V. (Dushanbe). Contempopary status and perspectives of studies in Tadjik phraseology; **Reviews**.

SOMMAIRE

Articles: Klimov G. A. (Moscou). Sur la reconstruction typologique; **Discussions**: Domašnev A. I. (Léningrad). «Barrières linguistiques» en Allemagne occidentale (Problèmes actuels de sociolinguistique en RFA); Makovskij M. M. (Moscou). Continuité et discontinuité dans l'évolution linguistique; Kononenko V. I. (Kiev). Étude comparative dans le domaine de la syntaxe des langues slaves orientales; Asfandijarov I. U. (Tachkent). Méthodes générales de l'étude de l'interaction de deux langues de systeme diffèrent; Maksimov V. I. (Lèningrad). Une fois de plus sur la théorie grammaticale et l'enseignement des langues; **Matériaux et notices**: Mur'janov M. F. (Moscou). Évolution sémantique du syntagme *насущный хлеб* «pain quotidien»; Magometov A. A. (Tbilissi). Évolution du système de classes dans les langues du Daghestan; Vejlert A. A. (Vladimir). Évaluation du degré de correspondance des systèmes vocaliques entre l'allemand littéraire et un dialecte insulaire; Kostjučenko Ju. P. (Léningrad). Sur le soi-disant syncrétisme et les significations du datif dans les langues indo-européennes; Grinbaum N. S. (Léningrad). Le grec ancien littéraire: période attique; Panfilov V. S. (Léningrad). Perspective fonctionnelle de la proposition en vietnamien; **Revues**: Xušenova S. V. (Douchanbe). État actuel et perspectives de l'étude de la phraséologie du tadjik; **Comptes rendus**.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам высылаться не будет.

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Непринятые рукописи не возвращаются

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 29.10.79 Подписано к печати 07.01.80 Т-02406 Формат бумаги 70×108¹/₁₆.
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Уч.изд. л. 15,6 Бум. л. 5 Тираж 7020 экз. Зак 2413

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10